Без борьбы нет победы

Манфред фон Браухич

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эту книгу можно назвать романом жизни ее автора.

Жизнь Манфреда фон Браухича, известного немецкого спортсмена, неотделима от немецкой истории с двадцатых и до шестидесятых годов нашего века. И поэтому в книге Браухича читатель найдет много материала для характеристики немецкой жизни бурного, драматического пятидесятилетия, — периодов, когда в стране господствовали правительства Веймарской республики, а за ними — кровавый диктатор Гитлер, и периода, когда на Западе Германии власть надолго оказалась в руках всевозможных реакционеров.

Советский читатель подготовлен к знакомству с книгой Браухича. На голубых экранах нашей страны в свое время демонстрировался телефильм ДЕФА, созданный по мотивам этого произведения, — ленту "по Браухичу" смотрели миллионы советских людей. Можно сказать, что этот телефильм пробудил в наших людях интерес к книге Манфреда фон Браухича. И теперь они получают возможность удовлетворить свой интерес полностью, читая эту книгу.

Без борьбы нет победы... Такой афоризм Манфред Браухич избрал для заглавия своей книги. В этот заголовок он вложил двойной смысл. Книга его — о мужестве, проявленном на двух аренах: спортивной и политической.

Автор повествует о том, как он побеждал на гоночных трассах, о том, как в острой борьбе ему удалось достигнуть победы на путях общественно-политической деятельности.

Еще в двадцатых годах Манфред фон Браухич, отпрыск немецкого аристократического рода, ушел в автогонщики и достиг в области гоночного спорта немалых успехов. Во времена гитлеризма он был спортивной звездой в "третьей империи". На его пути были головокружительные удачи, были трудности и поражения, были так называемые большие призы на различных, в том числе международных, соревнованиях. Карьера его с полным успехом могла продолжаться и после крушения гитлеризма, в условиях Западной Германии. И как богатый аристократ, и как звезда на международном спортивном небосклоне, он мог и после второй мировой войны стать любимцем и баловнем неонацистских кругов в Федеративной Республике Германии.

Но к этому времени у Манфреда Браухича началось подлинное духовное прозрение. Он поставил точку на своей карьере гонщика в буржуазном мире и пошел на полный, на решительный, на принципиальный разрыв с этим миром.

Браухичу опротивел кровавый и преступный мир капитализма, мир продажности и грязных денежных отношений. И он, чье имя было занесено, вписано в "Железную книгу германского дворянства истинно немецкого духа", нашел в себе силы порвать все связи с буржуазным обществом, разорвать в том числе и все семейные узы и обрел новую, истинную родину в стране социализма — в Германской Демократической Республике.

В ГДР Манфреда Браухича, ставшего убежденным соратником борцов за демократию, окружили вниманием и почетом. Здесь он завершил и издал книгу "Борьба за метры и секунды", здесь он занялся и дальнейшей литературной работой, к которой обнаружил отличные способности. Здесь он продолжил общественную деятельность, которой грубо помешали ему в Западной Германии Конрада Аденауэра. В 1960 году он был избран президентом Олимпийского общества ГДР, действующего под благородным девизом: "Служить миру, уважать жизнь!" Свои мемуары, автобиографию, в которой он рассказывает и о себе и прежде всего о времени, о годах и десятилетиях, Манфред Браухич также посвятил борьбе за мир. Эта книга в высшей степени поучительная, учащая ненавидеть и презирать капиталистическую действительность, зиждущуюся на насилии и войнах, учащая любить действительность социалистическую, дорожить ее принципами и достижениями.

- Манфред фон Браухич

Манфред фон Браухич
Без борьбы нет победы

Предисловие. Многотрудная и поучительная жизнь Манфреда фон Браухича

1

Эту книгу можно назвать романом жизни ее автора.

Жизнь Манфреда фон Браухича, известного немецкого спортсмена, неотделима от немецкой истории с двадцатых и до шестидесятых годов нашего века. И поэтому в книге Браухича читатель найдет много материала для характеристики немецкой жизни бурного, драматического пятидесятилетия, — периодов, когда в стране господствовали правительства Веймарской республики, а за ними — кровавый диктатор Гитлер, и периода, когда на Западе Германии власть надолго оказалась в руках всевозможных реакционеров.

Советский читатель подготовлен к знакомству с книгой Браухича. На голубых экранах нашей страны в свое время демонстрировался телефильм ДЕФА, созданный по мотивам этого произведения, — ленту "по Браухичу" смотрели миллионы советских людей. Можно сказать, что этот телефильм пробудил в наших людях интерес к книге Манфреда фон Браухича. И теперь они получают возможность удовлетворить свой интерес полностью, читая эту книгу.

Без борьбы нет победы... Такой афоризм Манфред Браухич избрал для заглавия своей книги. В этот заголовок он вложил двойной смысл. Книга его — о мужестве, проявленном на двух аренах: спортивной и политической.

Автор повествует о том, как он побеждал на гоночных трассах, о том, как в острой борьбе ему удалось достигнуть победы на путях общественно-политической деятельности.

Еще в двадцатых годах Манфред фон Браухич, отпрыск немецкого аристократического рода, ушел в автогонщики и достиг в области гоночного спорта немалых успехов. Во времена гитлеризма он был спортивной звездой в "третьей империи". На его пути были головокружительные удачи, были трудности и поражения, были так называемые большие призы на различных, в том числе международных, соревнованиях. Карьера его с полным успехом могла продолжаться и после крушения гитлеризма, в условиях Западной Германии. И как богатый аристократ, и как звезда на международном спортивном небосклоне, он мог и после второй мировой войны стать любимцем и баловнем

неонацистских кругов в Федеративной Республике Германии.

Но к этому времени у Манфреда Браухича началось подлинное духовное прозрение. Он поставил точку на своей карьере гонщика в буржуазном мире и пошел на полный, на решительный, на принципиальный разрыв с этим миром. Браухичу опротивел кровавый и преступный мир капитализма, мир продажности и грязных денежных отношений. И он, чье имя было занесено, вписано в "Железную книгу германского дворянства истинно немецкого духа", нашел в себе силы порвать все связи с буржуазным обществом, разорвать в том числе и все семейные узы и обрел новую, истинную родину в стране социализма — в Германской Демократической Республике.

В ГДР Манфреда Браухича, ставшего убежденным соратником борцов за демократию, окружили вниманием и почетом. Здесь он завершил и издал книгу "Борьба за метры и секунды", здесь он занялся и дальнейшей литературной работой, к которой обнаружил отличные способности. Здесь он продолжил общественную деятельность, которой грубо помешали ему в Западной Германии Конрада Аденауэра. В 1960 году он был избран президентом Олимпийского общества ГДР, действующего под благородным девизом: "Служить миру, уважать жизнь!" Свои мемуары, автобиографию, в которой он рассказывает и о себе и прежде всего о времени, о годах и десятилетиях, Манфред Браухич также посвятил борьбе за мир. Эта книга в высшей степени поучительная, учащая ненавидеть и презирать капиталистическую действительность, зиждущуюся на насилии и войнах, учащая любить действительность социалистическую, дорожить ее принципами и достижениями.

2

Какой большой и долгий путь пришлось пройти Манфреду Браухичу, раньше чем наступило его социальное прозрение. И какие тяжкие цепи традиций, воспитания, житейского уклада нужно было сбросить с себя для того, чтобы суметь навсегда расстаться с привычной средой и обстановкой.

Манфред фон Браухич родился и вырос в аристократической семье с сугубо консервативными традициями, в семье, давшей германскому милитаризму не одно поколение привилегированных военных. Отец его был прусским полковником. Дядюшка Вальтер, бывший в середине двадцатых годов майором рейхсвера, сумел проделать стремительную карьеру до генерал-фельдмаршала, главнокомандующего гитлеровского вермахта. Кузен Берндт фон Браухич в гитлеровские времена мелькал возле Геринга в качестве его

адъютанта. Иначе говоря, семья была архиреакционная, семья военной аристократии и аристократической военщины. Ее кумиром был и оставался кайзер Вильгельм II. Крушение кайзера было воспринято в семье Браухичей и в ее ближайшем окружении как беда. В семье и в среде, окружавшей юного Манфреда, изгнание кайзера не могли простить, здесь господствовали монархически-реваншистские настроения. Даже в тридцатых годах, когда страной правил Гитлер и кайзер был основательно позабыт, в семье Браухичей праздновалось 27 января — день рождения кайзера Вилли.

В соответствии с семейными традициями Манфред Браухич получил военное образование. Он мог сделать в дальнейшем блестящую военную карьеру. Но Манфред, а с ним и его брат Гарольд, "кощунственно" нарушили семейные правила Браухичей: Манфред стал автогонщиком, Гарольд — его менеджером.

Процесс сращивания юнкерства с буржуазией развивался в Германии широко и стремительно. Отпрыск аристократического юнкерского рода, Манфред фон Браухич был все же обедневшим дворянином. Такие юнкеры охотно шли на службу к буржуазии. Чванясь своим дворянством, кичась традициями рода, они охотно и легко становились слугами реакционной буржуазии в самых разных сферах ее деятельности — в экономике, политике, технике, науке, искусствах... и в спорте. Все эти области буржуазия и юнкерство превратили в области наживы, в области финансовой и политической конкуренции.

Сын полковника Браухича, потомственный аристократ, юнкер и недавний военный, Манфред фон Браухич продался хозяевам автомобильных фирм, прежде всего фирме "Мерседес". Чтобы не оскорблять его чувства и оставлять ему иллюзии служения "чистому" спорту, буржуазные хозяева охотно рекламировали его как "национального героя", как "мастера-виртуоза", как "художника спорта", льстили его аристократическим предрассудкам, создавали стену невмешательства в его частную жизнь. Замечательный спортсмен, талантливый автогонщик чувствовал себя "золотым мальчиком", порой забывая о своей зависимости от "золотого мешка". Герой автотрасс, он стал и героем буржуазной прессы, героем буржуазного киноэкрана. Подобно многим гонщикам, нередко превращавшимся в пешки "шахматных партий", которые разыгрывали конкурирующие промышленные фирмы и предприятия, подобно этим "золотым мальчикам", которые либо наживались на спорте, либо погибали на гоночных треках, он жил в окружении буржуазных и великосветских мошенников и бездельников, предавался пустым развлечениям, служившим у гонщиков "разрядкой". Как выходец

из аристократической среды, он стремился проводить свободное время в роскошных салонах "сильных мира сего".

Первые крупные успехи Браухича, сделавшие его широко известным, даже знаменитым, пришлись на канун рокового 1933 года, года захвата власти Гитлером. К этому времени Браухич уже был лично знаком с будущим фюрером, встречался с ним и услышал от него, что тот готов кредитовать его как деятеля "национального автоспорта". Браухича покупали магнаты промышленности, покупал Гитлер, его именем и его удачами спекулировал сам сатана нацистской пропаганды Геббельс. К середине тридцатых годов Браухич стал виднейшим "рыцарем баранки", асом автоспорта. Он был кругом зависим от своих хозяев, но при этом испытывал иллюзию независимости, самому себе казался служителем "чистого спорта".

Вспоминая в своей книге об этом периоде, он ретроспективно характеризует его следующим образом: "Я служил в огнеметном подразделении добровольческого корпуса, служил в рейхсвере, был одной из звезд всемирно известной "конюшни" фирмы "Мерседес", играл главную роль в кинофильме "Борьба", устраивал мотоциклетные гонки, писал книги и пьесы для радио". Формально все действительно так: сначала военный, затем автогонщик, киногерой и даже в некотором роде литератор. Но, по сути, за всем этим — служение интересам юнкерства, буржуазии, воротилам свирепой буржуазной реакции, руководившейся Гитлером.

Манфред Браухич был самым решительным образом упоен своими успехами. Триумфы с 1932 до 1937 года. Отдельные неудачи, из которых он выходил сравнительно легко и которые ему легко прощали хозяева (он был нужен в расчете на будущие состязания). Успехи на гоночных треках ряда западных стран, отдельные неудачи на Западе, которые также ему прощались. Состязание за состязанием, и только накануне второй мировой войны явное свертывание его спортивной деятельности (уже не до того, уже "малые" репетиции большой войны, вторжения в соседние страны), в 1939 году только девять состязаний в гоночном сезоне.

В искреннем, бесхитростном своем повествовании Манфред Браухич не склонен оправдывать себя задним числом. С годами ему открылись все тайные пружины, которых он не замечал в двадцатых и тридцатых годах, — те пружины, от которых он был так зависим в своей деятельности. Со временем прошлое предстало перед его взором без грима и подмалевок, во всей своей неприглядной сущности. И Браухич никак не склонен себя оправдывать, он прямо и честно пишет о своей связи с

реакционными кругами, о своей зависимости от этих кругов, длившейся так долго и бывшей столь крепкой. Но в то же время в мемуарном рассказе Браухича можно уловить и ряд черт и черточек, которые позволяют кое в чем отделить его от тех, кто командовал и помыкал им в годы Веймарской республики и гитлеризма.

Легкомысленный, социально близорукий, опутанный предрассудками и иллюзиями самых разных свойств и качеств, невольный соучастник нечистой игры преступных политиканов, он был человеком, совесть которого дремала, но не беспробудно, — человеком, не утратившим понятий чести, честности, товарищества. Сам Браухич об этом не пишет, он не хочет искать для себя оправданий. Но мы, читая его книги, не можем не заметить, что и в то гнусное время, которое было временем его видимых взлетов и его очевидного падения, он нередко заступался за людей, приходил на помощь страдающим, угнетенным, умел по-товарищески относится к простым людям — ремесленникам, рабочим. Думается, что эти черты его характера и деятельности помогли дальнейшей его эволюции.

3

В конце главы XVI своей книги Манфред Браухич честно и сурово оценивает свою социальную вину. Он пишет: "Да, я тоже был виновен. Я не видел ничего, кроме своих автомобилей и денег, своих домов и акций..." Это мужественная самооценка. И она правдива по отношению к Браухичу двадцатых годов и большой части годов тридцатых.

Однако к концу тридцатых годов, начиная с их половины, Браухич стал замечать, что "что-то гнило" в "третьей империи". Многое проходило мимо его взоров. Но кое-что существенное он замечал и под его впечатлением начинал задумываться. Он заметил глубокое разложение в правящих кругах. Он заметил проникновение американского капитала в сферу германского большого бизнеса. После Мюнхенского пакта и вступления гитлеровских войск в Чехословакию он стал понимать, что Гитлер идет к мировой бойне. После захвата польских земель, вторжения гитлеровцев в Данию и Норвегию ему стало ясно, что война приближается к восточным границам, что война Гитлера против Советского Союза неотвратима.

Незадолго до начала второй мировой войны он уехал из Германии и вернулся домой только по настоянию родственников, прежде всего матери. К этому времени спортивные дела были отставлены, для него, в прошлом военного, выходца из среды военной аристократии, выбор казался ясным: служба в вермахте.

Но Браухпч стал банковским служащим, а когда его призвали в вермахт, он постарался запрятаться в канцеляриях военной промышленности, а не пойти на фронт. Браухич пишет, что в это время у него начался процесс прозрения и раскаяния, он начал понимать, что помогал Гитлеру и что надо уклониться от активного сотрудничества с нацистами. Этому признанию Браухича нельзя не поверить — вся дальнейшая его эволюция подтверждает эти слова.

На протяжении всего военного времени Манфред Браухич накапливал чувства омерзения и ненависти к гитлеровцам и к Гитлеру. Достаточно прочитать страницы XV и XVI глав его книги, чтобы понять, как возненавидел он банду военных преступников во главе с Гитлером. Браухич был соучеником по дрезденскому военному училищу графа Штауффеиберга, совершившего 20 июля 1944 года покушение на Гитлера. Можно не сомневаться, что Браухич сочувствовал людям 20 июля, пытавшимся уничтожить фюрера, — по происхождению и воспитанию Манфред Браухич был близок к военным деятелям этого антигитлеровского заговора. Он не был политиком и, вероятно, не разбирался в целях этого заговора, в том курсе на сговор с западными державами, ради которого многие из участников заговора хотели устранить Гитлера. Но и сам фюрер и его сатрапы были к тому времени глубоко ненавистны Браухичу.

Крушение гитлеровского райха Манфред Браухич пережил в Баварии, куда вошли американские войска. В первые послевоенные годы он с грустью наблюдал за тем, как в оккупированной американцами части Германии быстро подняли голову нацисты, как заботливо американские оккупационные власти покровительствовали бывшим гитлеровцам, в том числе и заведомым военным преступникам. Браухич стал замечать, что альянс американских реакционеров с немецкими реакционерами имел свою почву в ненависти к Советскому Союзу, в ненависти к коммунистам. Все чаще убеждался он, что этот альянс носил неофашистский характер, что его ферментом являлся антисоветизм и антикоммунизм. Но Браухич привык смотреть на себя, как на "чистого" спортсмена, как на человека вне политики. И он решился не на борьбу против реакции, а на бегство от нее.

И вот Браухич с женой — в Аргентине. Его идеал — частная жизнь: "Жить счастливо с женой". Но идеал этот иллюзорен, и в Аргентине он оказывается среди "волков" — неонацистов. И местная немецкая колония, и хлынувшие в страну аргентинского диктатора Перона "беженцы" из гитлеровской Германии увлечены культом Гитлера, проникнуты духом злейшего шовинизма. Браухич вызывает у этих господ острую неприязнь, его надежда

на "тихую жизнь" в Аргентине разбита. Не пробыв здесь и года, он на деньги старого друга — английского гражданина Руди Цента, возвращается в ФРГ и сразу же вступает в борьбу с властями Западной Германии.

Манфред Браухич все еще хочет быть неполитиком, все еще питает иллюзорные представления, согласно которым можно продержаться "над схваткой". Он все еще хочет остаться в пределах "чисто" нравственных понятий, якобы лишенных политической окраски. Однако уже та пресс-конференция, на которой Браухич объяснил, почему он оказался вынужденным покинуть Аргентину, прозвучала как политический вызов западногерманским неонацистам — субъектам той же волчьей породы, что и немецкие неонацисты в Аргентине. Так бывший корифей гоночного трека, соединяющего Берлин с Потсдамом, бывший "золотой мальчик" Браухич, слывший веселым парнем, жизнерадостным и бесшабашным, по велению своей кровоточащей совести вовлекается в социальную и политическую борьбу, которая со временем приобретет все большую остроту.

4

Итак, Манфред фон Браухич в ФРГ, в стране, где в ту пору господствуют реакционеры. Он снова пытается жить "частной жизнью", поселяется в собственном доме на берегу озера, начинает работу над книгой "Борьба за метры и секунды", над книгой воспоминаний. На гонках его постигает неудача, но имя его памятно многим и многим и его провожают овацией.

Однако "частной жизни" не получается. И сама жизнь убеждает Браухича в том, что через нее прошла глубокая трещина, что вне политики не проживешь, что совесть не позволяет пассивно относиться к коренным проблемам времени. Браухичу приносят Стокгольмское воззвание сторонников мира, он читает его и подписывает. Совесть не позволяет не присоединиться к тем, кто выступает против ядерной войны. Стокгольмское воззвание появляется в печати, опубликована и подпись Манфреда фон Браухича, становящегося в ряды сторонников мира. Неонацисты объявляют его "красным", кричат о том, что он коммунист. Сам он весьма далек от учения коммунизма, от контактов с коммунистами. Но он продумал уроки войны, он понял, что фашизм — это война, он решительный противник тех, кто готов разжечь новую войну.

По разумению Браухича, согласно его рассуждению, война окончена и для спорта, с которым связана большая часть его жизни, Не должно существовать искусственных перегородок,

мешающих одним немцам (западным) состязаться в спортивном мастерстве с другими немцами (восточными). Совсем по-иному думают властители Западной Германии, канцлер Аденауэр и иже с ним, — они против любых контактов западногерманской молодежи (а спорт — дело молодых) с молодежью в ГДР.

Браухича приглашают в ГДР, в воспетый Карлом Иммерманом старинный Оберхоф, на зимние спортивные игры. Маститый спортсмен едет в ГДР, становится участником большой и волнующей встречи юных спортсменов, включается в откровенный разговор с молодежью, посещает Бухенвальд — один из страшнейших гитлеровских концлагерей, превращенный в исторический музей, в свидетельство фашистских преступлений, и покидает его потрясенным и еще сильнее укрепленным в своей ненависти к нацизму.

Жизнь дает Браухичу все больше и больше серьезных уроков. Вернувшись домой, он пытается снова зажить тихой жизнью, получая дивиденды со своих акций, погружаясь в работу над книгой. Но общественная борьба вновь врывается в его дом. Он получает приглашение в Берлин на Третий Всемирный фестиваль молодежи. И он не только едет в столицу ГДР, но обращается с письмом к молодежи ФРГ, призывая ее участвовать в этом фестивале. Ярость властей Западной Германии нарастает, — после возвращения он сталкивается с полицейскими запретами его общественной деятельности. Его пытаются запутать американские разведчики и западногерманские полицейские. Его окружают стеной шпионажа, травят в печати, он оказывается изгоем в собственной семье, — Браухичи решительно отстраняются от него. Но Манфред Браухич непреклонен. Он создает комитет "За единство и свободу в германском спорте". Теперь задача властей — скомпрометировать комитет, упрятать Браухича за решетку.

И вот первый его арест, непродолжительный, с обвинением в "государственной измене". И затем еще один арест, с длительным пребыванием в каторжной тюрьме, с самыми нелепыми, грубо провокационными обвинениями самого невероятного свойства. Реакция шантажирует Браухича, шантажирует его жену, доводит ее до попытки самоубийства. В травлю Браухича включаются американские покровители западногерманских реакционеров. Идет постоянная кампания против него в реакционной печати. И в ответ — волна протестов, море писем в защиту человека, борющегося за мир, за то, чтобы немцы из ФРГ и немцы из ГДР сели за общий стол, искали форм взаимопонимания и сотрудничества.

После выхода из тюрьмы, после временного отступления

реакции Браухич пытается найти покой в санатории. Но и здесь его преследуют угрозы, ему сулят новое тюремное заключение. Он решается покинуть ФРГ и начать новую жизнь в ГДР. С помощью друзей он перебирается через границу, отделяющую одно немецкое государство от другого, и из мира насилия попадает в мир свободы. И здесь Манфред Браухич обретает покой, нормальные условия для общественной деятельности, для творчества. Здесь он, твердо встав на позиции демократизма и гуманизма, на почву активной борьбы за прогрессивные принципы и идеалы, находит свою настоящую немецкую отчизну.

5

Манфред Браухич уже давно занимался литературной деятельностью. Он проявлял в ней несомненное писательское дарование. Это дарование широко проявилось в его житейских воспоминаниях. "Без борьбы нет победы" — книга, написанная талантливым писателем.

Мемуарное повествование Браухича — это проза, глубоко продуманная и горячо пережитая. Автор этой книги пишет, свидетельствуя, и в то же время пишет обо всем "с соотношением". Его эмоциональный мир открыт и ясен, — мы знаем, кого он любит, кого ненавидит, над кем посмеивается и кем восхищается.

В книге много эпизодов, написанных с большим мастерством, пластично, зримо. Не буду пересказывать такого рода эпизоды, читатель сам легко обнаружит руку мастера в описаниях разного рода событий, запечатленных в мемуарах Браухича.

Манфред Браухич обладает искусством характеристик, под его пером возникает множество портретов, набросков, этюдов, посвященных различным персонажам. Отлично показаны его коллеги гонщики, их спутницы, их болельщики, их "свита". Тепло, любовно описаны люди, которые проявили свои высокие личные качества в трудных для автора обстоятельствах, — автомеханик Герман Билер, англичанин Руди Цент. В послевоенные годы мне приходилось встречать в Берлине двух деятелей, о которых пишет Манфред Браухич, — актера Ганса Альберса и издателя Эрнста Ровольта. Я узнал их в изображении Браухича именно такими, какими их видел. Ганс Альберс — актер стихийного таланта, не запятнавший себя сотрудничеством в гитлеровских пропагандистских фильмах, тяжело переживал потерю двенадцати лет, проведенных под пятой нацистов. Он любил свои роли — в "Лилиоме" Мольнара (которую ему запретили играть в "третьей империи") и в фильме "Большая Свобода № 7" (который был запрещен Геббельсом). Ровольт — могучий старик, в далеком

прошлом матрос, ставший известным издателем, делал немало ошибок, но хотел поддерживать контакты с демократическими кругами. Его попытки отстоять книгу Браухича, договор на эту книгу, от шантажа реакционеров весьма для него характерны.

По страницам книги Браухича проходит много лиц, связанных с историей "третьей империи" и с реакционными политическими кругами ФРГ. Написаны они с неотразимой точностью, с холодным спокойствием и с холодной ненавистью. Прежде всего это "сам" — Гитлер. Его Манфред Браухич наблюдал не однажды в непосредственной близости. Он знал его как истерика и демагога. Он еще в 1933 году заметил, как засверкали у него глаза при разговоре об артиллерийских залпах. Фюрер пришел к власти с расчетом разжечь войну.

Множество зловещих фигур запечатлено Браухичем. Геббельс — этот "апостол" лжи и разврата. Тупица Геринг с его любимчиком Мильхом, проделавшим путь от таксиста до генерал-фельдмаршала авиации. Фюрер "Гитлерюгенд" Бальдур фон Ширах, с которым у Браухича произошла самая вульгарная потасовка. Военный министр Гитлера фон Бломберг, женатый на профессиональной проститутке. Целая орава фашистских бандитов и садистов, военных преступников — руководитель автомотокорпуса Хюнляйн, "добродушный убийца" граф Вольф фон Хольдорф, убийца в звании профессора Брандт — лейбмедик Гитлера, уполномоченный по танковому вооружению нацист Кремер, видный нацист Вагнер, ставший прокурором при режиме Аденауэра. Не отделяет от клики военных преступников автор и своего дядюшку — генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича, соавтора гитлеровских военных планов.

Целая банда денежных тузов и магнатов промышленности, субсидировавших Гитлера и впоследствии щедро им оплаченных, выведена Браухичем в его книге. За такими фигурами, как председатель "Дойче банк" фон Штаус, директора "Дойче банк" авантюристы Абс и Гетц, директор концерна "Осрам" Бауман, выступают их грязные дела, ловкие мошенничества, хищения, скупка акций и продажных людей, коррупция.

Интересно обрисован Браухичем знаменитый ас Эрнст Удет, послуживший прототипом для героя пьесы западногерманского писателя Карла Цукмайера "Генерал Дьявола". История этого генерала, который застрелился в минуту отчаяния, а по официальной фашистской версии "разбился при испытательном полете", хорошо рассказана Браухичем.

С большим политическим чутьем изображены Манфредом Браухичем и такие типы, как журналист Ганс Леви, ставший в США Джеймсом Льюином, и светская дама фон Штенгель. Эти

немцы еврейского происхождения, пострадавшие при Гитлере, быстро американизировались и явились в Западную Германию и Западный Берлин, забыли прошлое, стали служить реакционной американской политике.

На страницах книги Браухича весьма отчетливо вырисовывается и образ ее автора. Он дан в развитии, показан на разных этапах своей эволюции. Мы видим его таким, каким он был, чувствуем его таким, каким он стал. Пройдя через многие жизненные треволнения и испытания, Браухич резко изменился, вырос идейно. И он не ищет оправданий своему прошлому, он нравственно взыскателен по отношению к себе. Именно поэтому мы верим его рассказу и его исповеди. Мы понимаем, что эту книгу написал человек честный, искренний, талантливый.

Вступление

Почему я написал эту книгу…

Мнения об автогонщиках расходятся. Одни восхищаются их отвагой и рекордами, другие осуждают их спорт как бессмысленное лихачество.

Эта книга не обвинение и не защита. Возможно, гоночные автомобили и в самом деле преступили разумные пределы скоростей. Но разговор здесь не про них.

Эта книга задумана как призыв к мужеству. Будучи гонщиком, я часто шел на риск, не раз ставил свою жизнь на карту, и долго мне казалось - только за рулем я могу проявлять истинную отвагу. И лишь тогда, когда я навсегда ушел с больших гоночных трасс, мне стало ясно, что жизнь требует мужества от каждого ежедневно, ежечасно. Я одерживал победы, казавшиеся сенсационными, ибо никто их не ожидал. Часто мне приходилось выступать не на самой быстроходной машине, но я рисковал больше других. Это и принесло мне славу. Даже когда из-за неблагоприятных обстоятельств от меня ускользали, казалось бы, вполне реальные победы, мои покровители и поклонники продолжали сплетать для меня лавровые венки в знак признания и поощрения. Общество, к которому я принадлежал, поднимало меня на щит как счастливчика, родившегося в рубашке. Я стал знаменит и богат. Долгое время мне и в голову не приходило, что моя жизнь может измениться. Но мир, вознесший меня на вершину славы, не всегда и не везде воздает хвалу мужеству своих граждан. Покуда я мчался от победы к победе, считалось, будто я это делаю во имя величия Германии, и, хоть я и был в некотором смысле аутсайдером, моя "благонадежность" не вызывала сомнений. Но когда в горький час я встал на защиту немецкой молодежи, буржуазное общество отвергло меня.

Однако я не дал себя сбить с толку. Кто уцелел в смертельно опасных схватках на труднейших гоночных трассах мира, тот, пожалуй, вправе дорожить своей жизнью.

Эта книга - книга моей жизни. Она написана не ради честолюбия. С ее страниц я призываю всех людей к мужеству, отстаивающему добро, справедливость и человечность, к мужеству, ведущему к победе.

НАЧАЛО ПУТИ

Над крышами Берлина дрожало знойное марево, хотя на календаре значилось всего лишь четвертое воскресенье мая 1932 года. Улицы миллионного города были почти пустынны, но вы напрасно стали бы искать берлинцев на берегах Мюггельзее или в Тегеле. Десятками тысяч толпились они вокруг гоночного трека АФУС[1], стояли в длинных очередях к кассам, надеясь приобрести билет. Счастливцам в конце концов удавалось получить стоячее место над северным поворотом, откуда поверх моря голов просматривался небольшой участок серой гоночной трассы. На ветвях деревьев шумела детвора. Автовладельцы, которые обычно по утрам начищали свои машины до немыслимого блеска и смахивали с них каждую пылинку, сегодня забыли об этом и стояли прямо на их крышах. А там, где тяжелые гоночные автомобили выкатывались на старт, иные болельщики, глумясь над работой плотников, срывали с забора доски и устраивали себе таким образом отличные "смотровые щели".

На почетной трибуне собралась элита. Рядом с киноартистом Гарри Лидтке и эмиром Фейсалом, вице-королем Мекки, сидели Ганс Альберс[2] и знаменитый мастер высшего пилотажа Эрнст Удет, с которым в дальнейшем мне предстояло часто встречаться. Здесь можно было увидеть прославленную кинопару Вилли Фритча и Лилиан Гарви, подтянутого, спортивного вида кронпринца Вильгельма, неистребимого героя приключенческих кинофильмов Гарри Пиля и многих других.

В этот день все именитые европейские гонщики хотели показать свое умение на быстрейшей трассе мира. Варци и Широн представляли "конюшню" фирмы "Бугатти". Великолепный Ренэ Дрейфус, удачливый итальянец Луиджи Фаджиоли и князь Лобкович стояли у своих боксов. Не говорю уже о знаменитом мировом рекордсмене англичанине Малькольме Кэмпбелле, который на специальной машине "санбим" первым в мире показал скорость свыше 400 километров в час. Свой рекорд Кэмпбелл установил в Америке, на треке высохшего соленого озера. Мой давнишний соперник Рудольф Караччиола выступал на элегантном "альфа-ромео" с рабочим объемом цилиндров 2,3

литра. Штук и я участвовали в гонках как частные лица на машинах "мерседес" типа ССКЛ, что означало "сверхспортивные, короткие, легкие". В конце сезона 1931 года фирма "Мерседес - Бенц" официально отказалась от участия в гонках, однако любезно предоставила в мое распоряжение менеджера Альфреда Нойбауэра, испытанного специалиста по части автоспорта. В 1932 году этой крупнейшей фирме, как, впрочем, и всей германской промышленности, приходилось преодолевать большие трудности. Спрос на автомобили резко упал. Безработные насчитывались миллионами. То было время беспорядков, забастовок, экономической неустойчивости. На газетных полосах мелькали жирные заголовки:

"Похитители бросили труп ребенка Линдберга!"[3]

"В Париже убит президент Франции Думэр!"

"Кровавая потасовка в зале заседаний берлинского рейхстага!"

"Военный путч в Токио!"

И хотя всемирный экономический кризис уже пошел на убыль, все же положение никак нельзя было назвать прочным и надежным.

Город кишел молодчиками из нацистских боевых отрядов, маршировавших под звуки бесчисленных гитлеровских оркестров. Серый и безликий режим Веймарской республики тонул на глазах, растворялся в мутных потоках фашистской пропаганды.

Сельские хозяева жаловались: свою продукцию им приходилось продавать по бросовым ценам. Даже мой богатый кузен и меценат-покровитель Ганс фон Циммерман и тот резко сократил свой личный бюджет. Не мудрено, что в этой обстановке такое дорогостоящее хобби, как автомобильные гонки, поневоле пришлось если и не совсем забросить, то, во всяком случае, практиковать в очень скромных масштабах. Мои дела заметно пошатнулись, ибо я ездил на машине, принадлежавшей Гансу фон Циммерману. После двухлетней тщательной тренировки, когда я уже было начал делать первые самостоятельные шаги, все внезапно омрачилось, предвещая всем моим увлекательным намерениям бесславный конец.

Но я не сдавался, хотя мои замыслы могли бы показаться любому знатоку прямо-таки фантастическими. И главное: машина моего благодетеля сулила мне не так уж много. Выступать в подобных скоростных соревнованиях на старом, вернее, конструктивно устаревшем "мерседесе" с компрессором против мастеров международного экстракласса было просто дерзостью. И все же... И все-таки я был полон надежд. Низкое число оборотов моего двигателя обеспечивало ему большую выносливость в

сравнении с мощными моторами моих соперников. Но в запасе у меня было еще кое-что: вюртембергский конструктор барон фон Кениг-Факсенфельд предложил мне специальный кузов, чья аэродинамика обещала увеличение максимальной скорости. Листовая обшивка улучшала обтекаемость машины, и я надеялся выжать из нее свыше 200 километров в час. Иными словами, я всерьез рассчитывал преодолеть с помощью этого кузова технические недостатки моего "мерседеса" и таким образом приравнять его к автомобилям лучших гонщиков Европы. Взвесив все "за" и "против", я подумал: в этом состязании ты мог бы выйти на второе или третье место и заработать достаточно денег, чтобы оплатить все издержки по следующим гонкам. Тогда кузен не только не отнимет у тебя эту машину, но, быть может, даже и продаст ее тебе.

Как частный гонщик, я должен был взять на себя все расходы, включая оплату заводскому механику. До сих пор меня финансировал мой кузен. Но в условиях экономических затруднений это продолжаться не могло.

Моя ставка на кузов была довольно рискованной. Теоретически все выглядело в розовом свете. А на трассе? Если бы у меня хоть была возможность своевременно и как следует испытать конструкцию, проверить ее качества. Но для этого не хватило времени. И все-таки я решил рискнуть. Графа фон Кениг-Факсенфельда я знал как изобретательного и добросовестного инженера и конструктора. Поэтому я и доверил ему свою машину - предмет всех моих надежд и ожиданий, друга и товарища в трудной борьбе на треке, воплощение всех моих помыслов и чаяний.

Выбранная им форма кузова отличалась полной новизной и необычностью, и все - правда, довольно скептически - глазели на диковинные "обтекатели". После первого же появления моего чудища на тренировочных заездах какой-то остряк окрестил его "сигарой", и весь Берлин подхватил это название. Но, вообще говоря, никто не принимал всерьез стремление желторотого птенца Манфреда фон Браухича потягаться силами с корифеями европейского автоспорта. Для меня же, напротив, уже одно право находиться в этом окружении было целым событием.

На стоянках гоночных машин у старта и финиша нас восхищенно приветствовали сотни людей, преимущественно журналисты, родные и друзья, причем самым вожделенным объектом всех фотокорреспондентов неизменно была моя "сигара".

Никто и не подозревал, каких мне стоило трудов добиться переброски машины из Штутгарта в Берлин. Механику,

перегнавшему ее, пришлось из собственного кармана заплатить 500 марок фирме по производству кузовов в Бад-Канштате. У меня тогда таких денег не было и в помине, но, твердо веря в свой успех, я надеялся рассчитаться с ним.

Двумя неделями раньше знаменитый тогда ясновидец Эрик Ян Гануссен укрепил меня в моих надеждах.

Этот таинственный, даже, пожалуй, чуть страшноватый человек на протяжении многих недель делал полные сборы в берлинском варьете "Скала". О нем говорили во всех гостиных, спорили, кто он - факир или фокусник, трюкач или истинный артист.

Однажды, зайдя вместе со своим другом Вернером Финком в кабаре "Катакомба", что находилось в здании варьете "Скала", я случайно оказался за одним столиком с Гануссеном и двумя иностранными артистами.

Мы разговорились, и он попросил меня написать на бумажке дату и место какого-нибудь важного для меня события. Недолго думая, я записал: 22 мая 1932 года - Берлин - АФУС. Он молча спрятал листок и сказал: "Я дам вам знать".

Несколько дней спустя я получил от него следующую записку: "Гонки на треке АФУС в конце мая. Верьте в свое счастье - оно в ваших руках. Гануссен".

Эта бумажка стала для меня талисманом, окрылявшим мои самые смелые надежды. Свою "тайну" я не открывал никому.

За три дня до гонок Гануссен сидел за своим столиком в "Рокси-бар" на Иоахимсталерштрассе. Здесь встречались всякие знаменитости: велогонщики, ведущие жокеи вроде Ганса Фремминга, сюда наведывался наш чемпион мира по боксу Макс Шмелинг с золотоволосой кинозвездой Анни Ондра. Бывала здесь и Соня Хение - мировая чемпионка по фигурному катанию на коньках. 19 мая 1932 года в "Рокси-бар" за круглым столом собрались асы автоспорта: Ганс Штук, Ренэ Дрейфус, сэр Малькольм Кэмпбелл, Рудольф Караччиола, богемский князь Лобко-вич и я. Все мы, естественно, решили попросить Гануссена предсказать исход гонок.

После недолгого колебания он согласился и написал какзе-то два имени на листке бумаги, который тщательно сложил и запечатал в конверт. Это письмецо он передал бармену с просьбой вскрыть его только после гонки.

Потом он обвел нас колючим взглядом и тихо проговорил: "Сегодня за этим столом сидит победитель, но один из вас должен умереть. Я написал оба имени".

Все верили предсказаниям Гануссена, и его мрачные слова произвели на нас тяжелое впечатление...

На старте я был возбужден сверх всякой меры, но все прошло гладко. Уже после нескольких километров впереди оставался только мой самый опасный противник Караччиола. После гонок я узнал, что князь Лобкович был извлечен мертвым из-под обломков своего автомобиля. На первом же круге при обгонном маневре он задел за бетонный парапет небольшого моста и потерял власть над машиной. На скорости 200 километров его занесло через разделительный газон на противоположную асфальтовую полосу, он несколько раз перевернулся и врезался в железнодорожную насыпь.

Но когда между мною и Караччиолой шел труднейший поединок на много кругов, я об этом ничего не знал. В конце концов мне удалось опередить его белый "альфа-ромео" на 3,6 секунды и первым пересечь черту финиша. Своей победой я был обязан именно кузову: его удачная аэродинамика позволяла развивать на прямой часовую скорость до 220 километров.

Меня переполняло никогда не изведанное счастье победителя. Все же вечером я вспомнил про записку Ганнуссена, оставленную в "Рокси-бар". Созвонившись с барменом, я попросил его вскрыть конверт. Я отчетливо услышал произнесенные им два имени: "Лобкович - Браухич" и растерянно повесил трубку. Неужели Ганнуссен в самом деле наделен даром ясновидения? Или это какая-то непонятная мне способность комбинировать плюс случайное совпадение? Впрочем, в таком опасном спорте предсказать аварию со смертельным исходом не так уж трудно, и, будучи хорошим "пророком", Ганнуссен попал в точку.

Я не придал всему этому особого значения, просто некогда было об этом думать - меня овевал вихрь славы. Поток телеграмм, цветы, пожелания счастья, брачные предложения и, разумеется, деньги. 3,6 секунды обогатили меня на 25 тысяч марок. А еще накануне я терзался мыслью - как вернуть механику 500 марок за кузов! В довершение ко всему кинокомпания "Уфа" предложила мне сыграть главную роль в художественном фильме. В течение лета в промежутке между состязаниями шли павильонные и натурные съемки. Коммерческий инстинкт директора "Уфа-фильм" не подвел его: картина "Борьба" оказалась настоящим кассовым боевиком.

Внезапно я стал знаменит, и на первых порах мне было совсем нелегко освоиться с этой ролью. Ибо до тех пор я был никому не известным молодым человеком, который, несмотря на свое "благородное происхождение", жестоко страдал от хронического недостатка денег.

Путь от дома моего отца, прусского полковника фон Браухича, чья семья проживала около площади Галлешес Тор в

Берлине, до прославленного героя автотрека АФУС был не только долгим и извилистым. Он требовал от меня мужества, причем такого мужества, которое не назовешь просто "смелостью". От "экономического чуда номер один", достигшего в 1926 году своего апогея, мне, безусому фаненюнкеру[4], не перепало ровно ничего. Тогда в одном только Берлине было немало старых и новых миллионеров. В обстановке бурной послевоенной конъюнктуры люди быстро забыли о поражении в первой мировой войне. Все добывали себе кредиты, всех охватила мания приобретательства в рассрочку. Пресловутый "маленький человек", которого, пожалуй, лучше назвать мелким буржуа, вовсю спекулировал на бирже. Курсы акций росли, все жили в каком-то угаре. Автомобильные клубы устраивали конкурсы красоты. Во вновь открытом ресторане у берлинской радиомачты расфуфыренные дамы в шляпках модели "горшок" отплясывали под звуки негритянского джаз-оркестра модный тогда танец блек-боттом.

В том году сливки общества - "верхние две тысячи" - еще ни о чем не тревожились. Они снова стали чувствовать себя "солью земли", во все горло распевали "Дойчланд, дойчланд юбер аллес" и "развертывали знамена"! Жизнь бурлила, ее темп был лихорадочным, ошеломляющим...

В Фридрихсгафене закончилась постройка гигантского дирижабля "Граф Цеппелин" - "ЛЦ 127". Макс Шмелинг стал чемпионом Германии в тяжелом весе. Король-дезертир Вильгельм II, этот "благородный изгнанник", укрывшийся в голландском городе Доорне, вручал награды трансокеанским летчикам Кёлю, Фицморису и Гю-нефельду. 15 июля на трассе Нюрбургринг был дан старт крупнейшим автогонкам на "Гран при" Германии. В состязании участвовали спортсмены из Италии, Чехословацкий, Англии, Франции и Германии. Однако в пятницу 29 октября 1929 года из-за биржевого краха на Уоллстрите в роге изобилия "экономического чуда" неожидан-но образовалась огромная трещина. Сотни тысяч, даже, пожалуй, миллионы людей свалились из заоблачных сфер роскошных иллюзий на прозаическую землю, где свирепствовала экономическая депрессия. Разваливались целые концерны, банки объявляли о своем банкротстве. У закрытых биржевых окошек выстраивались длинные очереди. Падение курсов не знало конца. В считанные дни миллионеры превращались в нищих, а настоящим нищим не подавали и пфеннига. Повсюду началась суматошная распродажа товаров. Никто не хотел угодить под лавину. Больше всего пострадали мелкие вкладчики. Предприниматели выставляли рабочих на улицу. Иски по делам о несостоятельности достигали семизначных цифр. Везде торжествовали обман и подкуп. От

"экономического чуда" осталась одна гниль.

У моих родителей не было родового замка, но они крайне дорожили своим именем, своей "высокород-ностью", традициями немецкой аристократии, передаваемыми из поколения в поколение. И хотя мы жили в самом сердце огромного города, хотя перед нашими окнами по эстакаде катились поезда метро, двадцатый век так и не вторгся в нашу жизнь.

Наш особняк, в который мои родители вселились в 1912 году после переезда в Берлин из Франкфурта-на-Одере, находился в так называемом старом западном районе, неподалеку от Галлешес Тор, у Ландверканала. Отсюда было рукой подать до Потсдамерплатц и до казарм гвардейского гренадерского полка кайзера Франца, расположенных на Блюхерштрассе. Мой брат Гаральд и я любили играть в саду за домом и на наших двух балконах. Кроме того, мы очень гордились большой газовой люстрой в столовой, откуда вели двери в две гостиные с окнами на улицу, а также в детскую и спальню, находившиеся сзади. В общем, все здесь было устроено на буржуазный лад, вполне солидно и соответствовало положению нашего сословия.

За столом мои родители разговаривали только по-французски. В аристократической среде это повелось еще со времен Фридриха II и считалось признаком хорошего тона. Когда в гости к нам приходили видные родственники, например генералландшафтсдиректор фон Грольман из Силезии, или его сиятельство фон Штокгаузен, или сказочно богатые Хаке из Хакебурга, то в присутствии прислуги или детей немецкий язык вообще не употреблялся, что считалось неоспоримым внешним признаком превосходства "стариков" во всем.

Во время первой мировой войны - когда она началась, мне было девять лет - мы только и слышали что о победах "его достославного величества". Эти слова всегда произносились шепотом, словно из опасения разгневать "его" громким словом.

Мои родители и их гости были настолько уверены в непобедимости прусско-германской армии, что ее полное поражение казалось им просто непостижимым. В нескончаемых спорах задним числом обсуждались всяческие "если бы" да "кабы". Но никакие рассуждения не могли рассеять застарелых иллюзий о блеске и нетленности кайзеровской Германии. Все разговоры неизменно приводили к выводу о том, что, собственно говоря, война "должна была быть выиграна". Никто не желал окончательно смириться с крахом, каждый по-прежнему шепотом произносил слова "его величество", ибо дворянство не сомневалось: настанет день и "он" в ослепительном блеске и сверкании славы проедет на белом коне через Бранден-бургские

ворота.

Фридрих Эберт решительно отвергался в качество главы германского государства. И все-таки именно он произнес слова, сразу "прояснившие" всю ситуацию. 11 декабря 1918 года у тех же Бранденбургских ворот, обращаясь к войскам, вернувшимся с фронта, Эберт воскликнул:

"Радостно мы приветствуем вас на родной земле! Враг вас не одолел!"

Таким образом, мнение дворянства, будто кайзеровская армия не была разгромлена на полях сражений, оказалось возведенным в государственную доктрину. Так возникла легенда об "ударе кинжалом в спину".

Потомственный гвардейский офицер, мой отец ни за что не желал признать республику. "Этот Эберт" мог еще, чего доброго, произвести его, королевско-прусского полковника, в республиканские генералы! Такая перспектива вызывала в нем полное негодование, и он предпочел уйти в отставку. Монархисты до мозга костей, мой отец, мои родные, все высшее офицерство испытывали отвращение к "красному болоту", ненавидели "политическую чернь", собственноручно подписавшую позорный Версальский договор.

Ненавидеть слово "Версаль" научили и меня. До того я ни разу не был в Версале и даже не знал в точности, в чем суть Версальского договора, но я твердо усвоил: "красные", "кинжал в спину" и "Версаль" - синонимы и отпрыск рода фон Браухичей обязан презирать все это!

Вся аристократия исходила бешенством по поводу "бесчестных условий мира", никто не чувствовал своей вины за войну, вины, возложенной на Германию 231-й статьей Версальского договора. Особенно сильное волнение вызвано сокращение численности армии до 100 тысяч человек и расформирование кайзеровского генерального штаба.

Все же генерал-полковник фон Сект, главный начальник рейхсвера, поддерживал в офицерском корпусе традиционный приоритет аристократии. Этот генерал был из-вестен своими монархическими настроениями и высоко ценился в кругах знати. Не случайно в 1921 году процент офицеров-дворян рейхсвера был больше, чем в кайзеровской армии 1913 года. Кроме того, любая армейская рота, батарея или эскадрон должны были поддерживать традиции какого-либо из расформированных кайзеровских полков. Все это воспринималось в моем отчем доме с глубоким удовлетворением и считалось заслугой генерала Секта. Но многие никак не могли ему простить, что он "с открытой душой" признал "красную" Веймарскую республику в

качестве германского государства. В этом усматривалось предательство "старых идеалов". Во всяком случае, поведение Секта считалось спорным и не вполне понятным. Вероятно, потому его и прозвали "сфинксом".

Однако "его величество" в Германию не вернулся. Помню, когда мне было уже пятнадцать лет, газеты сообщали, что кайзер все еще живет в Доорне и... рубит дрова. Ребята на улице подтрунивали над моей заветной мечтой о том, что, мол, наступит день, когда все станет снова, как встарь. Я недоумевал, почему же они смеются надо мной? Я только лишь повторял слова чопорных и достойных гостей, приходивших к нам на семейные торжества, "солидных и положительных" офицеров в отставке. По праздникам они носили какие-то редкостные ордена, подвешенные к широким планкам.

Мой брат Гаральд и я фамильярно называли своего отца "папочкой", хотя всем своим обликом он был куда респектабельнее нашей матери. На казарменном дворе он орал во все горло, но дома разговаривал нормальным голосом. Приученные к чисто солдатской дисциплине и послушанию, чувствуя себя в ежовых рукавицах, мы реагировали мгновенно на его малейший жест. Так было до первой мировой войны, так оно и осталось, когда наш тяжело раненный "папочка" вернулся на родину. В семейном кругу он пользовался непререкаемым авторитетом, и, когда после окончания войны он, уже перейдя на положение отставного полковника, высказывал свое мнение о причинах поражения или о "позорном Версальском договоре", никто не смел ему возражать. Хорошо помню, как однажды вечером в гости к нам пришли бывшие офицеры, в том числе майор фон Арденне, отец нынешнего дрезденского профессора Манфреда фон Арденне. Взрослые с желчным раздражением говорили о бесславном конце германской армии. Гости сидели за круглым столом, курили сигары и пили пиво. Гаральд и я примостились где-то рядом и боялись шелохнуться. Мать, устроившись на обитом кожей стуле с непомерно высокой спинкой, время от времени отрывалась от рукоделия и понимающе кивала в знак одобрения суровых слов, произносимых мужчинами.

"Поставив свою подпись под диктатом мира, этот предатель Эрцбергер[5] запятнал нашу общую офицерскую честь", - возбужденно вымолвил господин фон Герцке и слегка потянул отца за рукав, словно дожидаясь его одобрения.

"Мы, честные кайзеровские офицеры, собравшись за этим столом, можем смело смотреть друг другу в глаза, - проговорил "папочка", - ибо нет среди нас ни одного, кто до ухода в отставку

позволил бы красным возвести себя в более высокий чин. В будущем нам, непоколебимым воинам, следовало бы объединиться в сильный офицерский союз, дабы поддержать стремление возродить былую армию черно-бело-красных[6] традиций".

"Браво! - откликнулся полковник фон Гроте. - Это и будет первым вопросом на следующем заседании нашего полкового объединения".

"Главное и особое внимание, - добавил отец, - надлежит обратить на добровольческие корпуса, которые со временем, быть может, станут, так сказать, мостом или, точнее говоря, ядром вермахта, свободным от оков Версальского договора. Ребята, сплотившиеся вокруг Эрхардта, Росбаха и других руководителей добровольческого корпуса, стоят на верном пути. Таким образом в будущем мы избавимся от язвы гражданской распущенности, которая завелась в рядах наших фронтовых героев от удара кинжалом в спину, и тогда в Германии вновь воцарятся дисциплина и порядок".

Подобных речей я наслушался вдоволь, и слово "фрай-корпс" - добровольческий корпус - врезалось мне в память. Меня почти перестали занимать критические наскоки на последнего кайзеровского рейхсканцлера принца Макса фон Баденского, который "не сумел преодолеть нежелание тыла продолжать войну" и посему считался тряпкой. Бойцы добровольческих корпусов представлялись мне истинно отважными людьми. Было в них что-то авантюристическое, а в семнадцать лет это кажется заманчивым. Отец и мать всячески поощряли всю эту "романтику".

"Если теперь я уже не могу дать моим сыновьям приличное военное образование в кадетском корпусе, - говорил отец, - то пусть приобретут необходимую закалку в добровольческом корпусе. Там еще высоко ценятся такие понятия, как верность кайзеру и личная отвага".

Мой брат был на два года моложе меня. Маленький и тщедушный, весь в мать - от отца у него были только черные глаза и волосы, - он представлял собой во всех отношениях полную противоположность мне. Я унаследовал от "папочки" крупное телосложение и силу, от матери - голубые глаза. Мое несходство с братом было не только внешним, мы резко различались и по своим склонностям.

И вот, решительно ни в чем друг на друга не похожие, по воле нашего весьма энергичного главы семейства мы должны были пойти по одному и тому же пути прусско-милитаристского "служения долгу". Но мечтам моего отца не было суждено

осуществиться, и отнюдь не из-за его ранней смерти, последовавшей в 1925 году.

Сначала все шло в духе наших семейных традиций, меня определили в бригаду, которой командовал морской офицер капитан-лейтенант Эрхардт.

В пору моей службы в крепости Шпандау отец не упускал случая давать мне всяческие советы и наставления. Воспитанник кадетского училища, он считал прусскую военную муштру вполне разумной и целесообразной.

Теперь настал и мой черед. Ремеслом солдата я начал овладевать в Грюневальде, на первых порах еще в штатском платье. Я попал в среду отчаянных и беспутных ребят. В Берлине, в Баварии и в Рурской области отряды добровольческих корпусов выступали против вооруженных рабочих. Эти отряды были как бы незаконнорожденными детьми рейхсвера, выпестованного Сектом, и социал-демократического правительства. Содержание их финансировалось наполовину государством, наполовину частными лицами. Бойцы "фрайкорпс" принесли присягу на верность "фатерланду" и действовали согласно девизу: "Никому не давать пощады!" Я узнал людей, которые впоследствии стали убийцами. Их разыскивала, но почему-то не находила полиция...

Мое ослепление никак не проходило - я продолжал верить, что вскоре все наладится и пойдет по-старому. Но ничего подобного не случилось. Через некоторое время нам предложили сдать военное обмундирование. Командир "черного рейхсвера"[7] майор Бухрукер на собственный страх и риск мобилизовал свои части, занял три кюстрин-ских форта и поднял над ними кайзеровский флаг. Однако генерал фон Сект не дал выбить себя из седла. Он приказал распустить отряды Бухрукера, его же арестовал и предал суду. Выяснилось, что распоряжаться военными делами может один-единственный человек - фон Сект. Мы разочаровались в "богах", которым поклонялись, веря в их способность быстро и решительно разделаться с "красными" и "Версалем".

И вот вопреки всем оговоркам и предостережениям отца генерал фок Сект стал для меня новым "богом". Между прочим, он носил белую форменную шинель, положенную только кайзеровскому генералу.

Я добровольно вступил в рейхсвер, попал сперва в Грейфсвальд, потом в Штеттин и, наконец, стал курсантом дрезденского военного училища. Последнее далось мне нелегко - у меня не было аттестата зрелости. Но, горя желанием внести свой вклад в дело восстановления прежних порядков, я занялся почти круглосуточной зубрежкой, откладывал каждый лишний

пфенниг для оплаты репетиторов, упорно и настойчиво учился, пока другие веселились и устраивали попойки. Всякий офицер должен быть умным и образованным человеком, говорил я себе, а потомок фон Браухичей - и подавно.

Я сдал экзамены на аттестат зрелости и начал успешно нести службу в чине фенриха[8]. Мой отец умер 25 февраля 1925 года, твердо веря, что я пошел по его стопам. Смерть отца - он скончался от инсульта - оказалась для меня тяжелой личной утратой, но нисколько не повлияла на мою дальнейшую жизнь. Я был солдатом и остался им.

Отца похоронили на кладбище инвалидов войны. На церемонию погребения я явился в парадном мундире и каске. Рядом со мною стоял Вальтер фон Браухич, тогда еще только майор рейхсвера. Воинский этикет повелевал мне не выдавать своей печали, не проливать слез. Прощание с отцом было для меня одновременно и расставанием с "добрым старым временем", так ярко воплощенным в его личности. Мои сослуживцы-однополчане все еще мечтали о возврате прошлого, но, видимо, уже не верили в такую возможность. (Кстати, многие из них впоследствии упоминались в сводках верховного командования вермахта, а позже и в боннских военных коммюнике.)

Конечно, дисциплина - дело хорошее и необходимое. Но может ли даже самая что ни на есть железная дисциплина принести успех в дни, когда прошлое вновь становилось настоящим? Мог ли "Старый Фриц"[9] и его слепо повиновавшиеся и умиравшие солдаты служить мне прообразом в эпоху, когда люди уже переговаривались по телефону за сотни километров и, сидя в грохочущих автомобилях, покрывали огромные расстояния в считанные часы? Что еще могло быть бессмысленнее такого прообраза? Всякого рода технические новшества увлекали меня куда сильнее, нежели сентиментальные традиции.

Военная жизнь с ее аскетизмом все больше разочаровывала меня. Порой я еще вскипал при слове "Версаль", но старый кадетский дух, насаждаемый в военном училище, окончательно перестал меня вдохновлять. Повсеместно оживляемые милитаристские традиции с их окостенелыми канонами, вечным подавлением самостоятельной мысли и узколобостью с каждым днем раздражали меня все сильнее, прямо-таки выводили из себя. Все чаще я высказывал свои "крамольные" взгляды, что встречало явное неодобрение моих сослуживцев. В этом мире военщины я не видел никаких возможностей для развития своих личных качеств, а предписываемый примитивизм мышления и это вечное "руки по швам" вызывали решительнейший внутренний протест.

Нас, фаненюнкеров, приглашали в знатные дома, где

водилось немало девиц на выданье. Чопорные и благовоспитанные, мы часами просиживали в их обществе.

Повинуясь заложенному во мне духу противоречия, я иногда нарочно являлся в гости в неположенном виде, например в сапогах. Хозяева краснели от негодования, но не показывали вида и продолжали болтать, словно ничего не замечая.

Я обязался прослужить в этой армии двадцать пять лет и довольно скоро уразумел, что не выдержу этого. Вечеринки в казино - либо строго протокольные, либо, наоборот, разнузданные, почти что оргии, муштра утром, муштра вечером... Все это было не по мне!..

Наконец я распростился со своими друзьями тех лет, но впоследствии не раз поневоле думал о них, когда пресса называла их имена: граф Штауффенберг, фон Гроль-ман, фон Кильмансэгг, Энгель и так далее...

Грезы моей юности постепенно развеялись в прах. Кайзер жил где-то в Голландии. Его возвращение исключалось. Монотонные будни казармы разрушили все мои красочные иллюзии о военной жизни, будто бы полной романтических приключений. Старые идеалы потускнели. Но я был еще слишком молод, чтобы жить без желаний. Мне явно не хотелось окостенеть в рутине, в условности... Замкнуться в себе? Об этом я и не помышлял. Я твердо понимал, что земля не перестанет вертеться, что будут рождаться и умирать люди, что, несмотря на Версаль, все-таки можно быть и довольным и счастливым. Я искал новый идеал...

Уйти с воинской службы мне помогла тяжелая мотоциклетная авария.

Однажды мой кузен пригласил меня погостить в его владении Нишвиц близ Вурцена. Большинство помещений огромного замка пустовало. В конце каждого месяца из всех имений и прочих хозяйств в замок поступали отчеты управляющих, а вместе с ними и банковские чеки. В Нишвице я не терпел недостатка ни в чем и мог спокойно подумать, как жить дальше.

В гараже моего кузена я обнаружил два автомобиля, которые необычайно сильно взбудоражили меня; через день-два я увидел в кино хроникальные кадры об автогонках и решил во что бы то ни стало получить права шофера. Фактически я уже мог управлять автомашиной, но официального документа еще не имел. К экзаменам на право вождения я готовился с той же энергией, что и к аттестату зрелости. Еще не успела просохнуть печать на выданных мне водительских правах, а одна из машин моего кузена уже была подготовлена к соревнованиям.

В гонках близ Гайсберга я занял первое место по классу

туристских автомобилей и проникся твердой уверенностью, что железное упорство и трудолюбие со временем приведут меня на ступень высшего триумфа.

Почему я так думал? Не из тщеславия ли? Безусловно, нет. Я ценил мужество и риск, и мне захотелось попытать свое счастье именно в автоспорте. Чем не заманчивая цель для отставного фенриха рейхсвера? Во всяком случае, я видел в ней больше смысла, чем в опостылевшей казарменной рутине.

В моей семье эти планы никакого восторга не вызвали. Потомок Браухичей за рулем гоночного автомобиля! Близкое знакомство с механиками и другими людьми, которые по нашим дворянским представлениям имели лишь незначительное право на жизнь, выглядело почти предательством моего "благородного" круга и его привилегий. Меня усиленно призывали подумать о репутации достославного рода Браухичей, напоминали, что мой прадед некогда был флигель-адъютантом кайзера Германии, и давали тысячи "хороших советов". Но я не изменил своей мечте, и отнюдь не ради выгоды, которая, кстати говоря, поначалу и не предвиделась. Мне потребовалось немало смелости, чтобы перебороть сопротивление своей семьи, чья честь обязывала ее поставлять кайзеру, а при необходимости и его преемникам гордых и умных офицеров. Но гонщиков?! Какой в них толк, какая от них польза Германии и ее величию? Ведь мои родичи все еще верили, что вот-вот это величие удастся восстановить, скорее всего с помощью силы.

Некий "господин" из Мюнхена хочет мне помочь

Первая же моя гонка открыла мне интересную подробность: я попал в самое "изысканное" общество. Следовательно, лишались всякого смысла все возражения семьи против моей новой деятельности! В гонках участвовали граф фон Циннеберг, князь фон Гогенлоэ, граф Хардегг, Ганс Иоахим фон Морген, принц цу Лайнинген-Аморбах, принц Макс цу Шаумбург-Липпе и князь Лобкович. Все они жили за счет продажи своих владений или имели богатых покровителей. К слову сказать, это новомодное аристократическое хобби обходилось очень дорого - автопромышленники продавали гоночные автомобили за огромные деньги: например, завод "Бугатти" брал по 35 тысяч марок за машину, "Мерседес", за спортивную модель с компрессором - 40 с лишним тысяч марок.

Но 13 июля 1931 года экономический кризис со всеми его опустошительными последствиями ворвался и в Германию. Тысячи вкладчиков кинулись спасать свои сбережения. Закрылись двери банков, некоторые из них навсегда. Опустели кино, кафе,

театры и увеселительные заведения. Казалось, все остались без денег. Тяжким бременем навалились на людей заботы о хлебе насущном. Те, кому удалось нажиться на этом гигантском банкротстве, разъехались по фешенебельным курортам. Там богачи развлекались вовсю: посещали состязания по зимним видам спорта, среди которых особенным успехом пользовались опасные гонки на бобслеях[10], флиртовали с дамами в барах и превращали ночь в день.

В ту пору я находился в крайне неприятном положении. Всякий раз, участвуя в очередном состязании на правах "частного гонщика", я констатировал, что на фоне такой сильной международной конкуренции моя машина слишком тихоходна. У фирмы "Даймлер - Бенц", придавленной тяжелой конъюнктурой, не было средств на создание новых гоночных машин. Но я был молод и вопреки всем невзгодам полон оптимизма. Убедившись, что фирма недостаточно заинтересована в разработке таких конструкций, я хотел найти кого-то, кто подбросил бы ей денег для этой цели.

Мне явно помогало мое имя. Куда бы я ни являлся, везде передо мной широко распахивались двери кабинетов. Мне даже удалось проникнуть к министру транспорта Эльцу фон Рюбенаху, однако, услышав о моем проекте, он лишь сочувственно улыбнулся и отпустил меня ни с чем.

Наконец кто-то посоветовал мне обратиться к известному своими широкими связями директору Берлину - руководителю верхнебаварского представительства фирмы "Даймлер - Бенц". Его чисто деловая сноровка, видимо, была не так уже велика - большую часть рабочего времени он проводил не у себя в конторе, а торчал в кафе. И все-таки фирма не увольняла его, и это по причине его хороших отношений с неким "г-ном Гитлером". Пренебрегать этими отношениями фирма определенно не желала.

Я пришел к Берлину, и он предложил устроить мне встречу с Гитлером, о котором я тогда мало что знал. Его телохранители щеголяли в черных галифе и коричневых рубашках с черным галстуком, а его штурмовые отряды - их называли СА - норовили вести себя как можно шумнее. Как правило, они жестоко расправлялись со своими противниками, что я, впрочем, не особенно осуждал, ибо этими противниками были те самые "красные", которых мне с детства расписывали как злейших врагов Германии. Ну а то, что коричневорубашечники носили нарукавные повязки со свастикой и с каким-то наивным усердием употребляли "старогерманские" выражения, не столько раздражало, сколько забавляло меня.

Сам Гитлер неистово поносил Версальский мир, и это напоминало мне мое собственное недовольство этим договором. Но для меня было полнейшей загадкой, где Гитлер мог бы раздобыть деньги для гоночных машин.

От моих родственников фон Хаке фон дер Хакебург я не раз слышал об Адольфе Гитлере. В Мюнхене старые офицеры дружно посещали небольшие собрания, устраиваемые этим человеком. Он обещал изменить в интересах Германии лицо всей Европы. Сразу после его досрочного освобождения из крепости Ландсберг - после мюнхенского путча 1923 года его приговорили к пяти годам заключения по обвинению в государственной измене, но уже через шесть месяцев выпустили на свободу - аристократы начали проявлять все больший интерес к его реваншистским призывам. Если Гинденбург не придавал особого значения этому "богемскому ефрейтору", то Людендорф - этот идеал всех нацистов и милитаристов, - напротив, стал союзником Гитлера. Наблюдая растущую агрессивность гитлеровской национал-социалистской рабочей партии и предвкушая "падение оков Версальского договора", кое-кто стал надеяться на создание нового мощного вермахта, который будет кормить старых офицеров и вернет им былой престиж. Генералы рейхсвера уже тогда во всех подробностях знали программу и планы Гитлера, восхищались открывающимися перспективами. Так почему же, рассуждал я, Гитлер, который, решил завоевать для Германии "место под солнцем", не может заодно вывести захиревший германский автоспорт на светлый путь побед?..

Точно в назначенное время я явился в условленное место. Это было в Мюнхене, на Принц-Регентенплатц, № 16, на первом этаже, где жила сестра Адольфа Гитлера. На дверной табличке значилась фамилия Раубаль. Меня ввели в старомодно обставленную комнату. Немного спустя пришел и он. Первое впечатление разочаровало меня - в этом человеке среднего роста я не обнаружил ничего примечательного. На нем был поношенный темно-синий костюм. Узкие плечи и усики над верхней губой придавали ему какой-то бюргерский, филистерский вид. То и дело он торопливым движением руки откидывал со лба прядь волос. Потом я заметил на его плечах перхоть.

Предельно кратко я изложил ему свои соображения, сказал, что для разработки и производства современной гоночной машины моей фирме потребуются примерно два миллиона марок. Я выразил надежду, что при его возможностях и в интересах национального спорта он, видимо, смог бы собрать такую сумму. Гитлер очень внимательно выслушал меня. Затем встал, сунул

руки в карманы брюк и несколько раз прошелся из угла в угол. Наконец он начал говорить. Обещал позаботиться о том, чтобы германская автопромышленность вновь стала конкурентоспособной на международном рынке. Внезапно, вытащив руки из карманов, он начал сопровождать свои слова какими-то дикими жестами. Забыв про гоночные автомобили, он с восторгом и фанатизмом, словно обращаясь к огромной аудитории, принялся толковать о своих грандиозных планах создания великогерманской нации.

Я слушал его не без некоторого удивления. Он показался мне фантастом, который никогда не достигнет своей цели. Но чем-то он меня увлек, и я почувствовал какую-то гипнотическую силу его взгляда. Мне пришло на ум, что многие из этих мыслей уже не раз обсуждались за нашим семейным столом, когда Гитлера никто еще знать не знал. Тогда речь шла только о "его величестве". Теперь же передо мной стоял человек, говоривший о себе самом так, как мои родные говорили о кайзере, чье имя произносилось только шепотом.

В заключение своих политических выкладок о предстоящем взлете немецкой нации под его водительством он не забыл упомянуть и про гоночные автомобили.

Сделав любезный жест в его сторону и вежливо кивнув, я пробормотал какие-то слова одобрения его планов, хотя считал их бесперспективными и ничуть не более реальными, чем прожекты, вынашиваемые в моем доме.

Гитлер обещал мне немедленно связаться с Берлином.

Полгода спустя я случайно узнал, что Гитлер находится в своей горной вилле близ Оберзальцберга. Я решил навестить его там, ибо от Берлина не получил ничего, что могло бы укрепить мои надежды на появление новых, более быстроходных спортивных машин. Я позвонил у садовой калитки, и передо мной вырос здоровенный детина. Впоследствии мне сказали, что это обергруппенфюрер СА Брюкнер. Он доложил обо мне своему шефу, и тот сразу вышел ко мне. С полчаса мы с ним прогуливались перед домом, беседуя почти исключительно о гоночных автомобилях.

Суть соображений Гитлера по поводу их производства можно было свести к одной фразе: "Ваша фирма получит деньги, как только власть будет в моих руках!"

После этого делового разговора он пригласил меня в дом. Там я познакомился с его ближайшими друзьями, рассевшимися вокруг изразцовой печки в баварском стиле. Все они были в приподнятом настроении. Их развлекал небольшого роста толстый мужчина по имени Генрих Гофман. Он распевал песенки

и сам себе аккомпанировал на бандонионе[1]Было очевидно, что в этом кругу он занимал привилегированное положение. Весело и умело рассказывал анекдоты, сыпля шутками и прибаутками, он потешал это общество, как заправский придворный шут. Я увидел Геринга, Геббельса, Брюкнера, Штрайхера, Рема, Гесса, Гиммлера. Функции дворецкого я псаря - у Гитлера было четыре немецких овчарки - выполнял будущий обергруппенфюрер СС Шауб. Как известно, через несколько лет Гофман был возведен в ранг лейбфотографа Гитлера с титулом профессора. Времени у меня было достаточно, и я не спеша приглядывался к своему окружению, особенно к хозяину дома. Как уже однажды в Мюнхене, я вновь обратил внимание на его бегающие глаза, колючие взгляды. Он много говорил, пожалуй, слишком много и очень громко. Присутствующие благоговейно смотрели ему в рот. Было совершенно ясно: здесь он господствует, не терпит никаких возражений и навязывает всем свое мнение.

Они, конечно, не могли угадать моих мыслей, но я поневоле задавался вопросом: как же эти, мягко говоря, не слишком образованные мужчины, одержимые мечтой о захвате власти, собираются управлять государством и откуда берутся деньги для финансирования их дерзких планов? Но так как они изъявили готовность раскошелиться и на автомобильный спорт, я не стал долго ломать себе голову над проблемой их капиталов.

Когда вечером 30 января 1933 года Гитлер пришел к власти, первая моя мысль была об обещанном им гоночном автомобиле.

В моей семье брезгливо морщились при упоминании имени этого "канцлера с улицы", но все же он был симпатичнее "красных".

Что только не происходило в эти дни! В Атлантике затонул американский дирижабль "Акрон". Все пассажиры погибли. После тринадцати лет "сухого закона" США отменили запрет на распитие спиртного, и, упиваясь тысячами гектолитров виски, бренди и джина, американцы торжественно отпраздновали "первую влажную ночь". Элли Байнхорн без посадки перелетела из Берлина в Стамбул. Со стапеля был спущен крейсер "Адмирал Шеер".

Но люди узнавали и о другом: в Германии ввели смертную казнь через повешение; в какой-то роще к югу от Берлина нашли труп Ганнуссена; в Ораниенбурге начал "работать" первый концентрационный лагерь, а Иозеф Геббельс призвал "арийцев" бойкотировать еврейские магазины.

Эти вести тревожили. Но на меня они не производили большого впечатления. Мною владело одно-единственное желание - быть гонщиком, участвовать в автомобильных

состязаниях. На фоне этой мечты все казалось второстепенным. Все мои помыслы сосредоточились на фирме "Даймлер - Бенц". На ее заводах, расположенных в Унтертюркхайме - пригороде Штутгарта, - первоклассные инженеры, конструкторы и механики трудились над созданием новых гоночных машин. Решением Всеобщей международной автомобильной комиссии от 12 октября 1932 года были установлены единые положения об автомобильных гонках.

Прежде к участию в них допускались почти любые машины: например "альфа-ромео" с рабочим объемом цилиндров 2,3 литра при весе 900 килограммов, 7-литровый "мерседес" весом 1,5-1,8 тонны, а итальянская фирма "Бугатти" выставляла машины с литражом 4,9.

На следующие три года была установлена "формула", которая строго предписывала максимальный вес 750 килограммов без горючего, баллонов и воды для охлаждения.

Что и говорить - нелегкая задача для конструкторов. Но эти волшебники все-таки ухитрились "втиснуть" под капот первой же модели целых 300 лошадиных сил! Профессор доктор Фердинанд Порше, один из гениальнейших немецких автоконструкторов и "отец" "фольксвагена", разработал в строгом соответствии с "гоночной формулой" 16-цилиндровый 280-сильный двигатель с рабочим объемом 4,4 литра.

Особенность его конструкции состояла в том, что двигатель монтировался в кормовом отсеке машины. Эта блестящая идея была реализована на заводах концерна "Ауто-унион". Так возник одноименный гоночный автомобиль, получивший международную известность.

Обещанную дотацию на развитие автоспорта Гитлер действительно дал. Сумму в размере полмиллиона пришлось поделить поровну между обеими фирмами. Каждая получила по 250 тысяч марок. Но при огромных расходах на "автоконюшни" - от трех до четырех миллионов в год - эта подачка выглядела довольно скромной.

Своими "наездниками" компания "Ауто-унион" назначила Ганса Штука, Вильгельма Себастиана - талантливого механика и бывшего напарника Караччиолы, принца цу Ляйнингена и Момбергера. "Мерседес - Бенц" пригласила известного итальянца Луиджи Фаджиоли. Рудольф Караччиола еще не оправился от аварии в Монте-Карло. Что же до меня, то этой осенью 1933 года, после долгих лет борьбы и тяжелых лишений, я тоже воспрянул духом: фирма "Мерседес" пригласила меня в Штутгарт для подписания договора.

Меня ввели в "святилище" - отдел гоночных машин, строго

охраняемый и закрытый для посторонних, усадили в полуготовый кузов, и механики с помощью портновского сантиметра сняли с меня мерку: ширину седалища, спины и бедер, длину рук. Форма сиденья выполняется в точном соответствии с очертаниями тела. Сиденье должно быть Удобным и все же настолько узким, чтобы водитель не мог сдвинуться ни на миллиметр. Педали акселератора, торможения и сцепления устанавливаются индивидуально для каждого. То же относится к высоте рулевого колеса и его расстояния от груди. Впоследствии на некоторые машины ставились "фонари" - обтекатели из плексигласа. И они "выкраивались" точно по мерке. Водителю оставлялась свобода движений в пределах считанных сантиметров.

В такой машине сидишь, точно в тесной клетке. Используется буквально каждый миллиметр, а ради экономии в весе высверливаются отверстия, где только можно.

Для посадки или выхода из машины необходимо снять рулевое колесо, соединенное с рулевой колонкой штыковым затвором. Горе, если такой затвор не защелкнется, или, чего доброго, погнется, или заклинится! Тогда твоя машина - смертельный капкан, что через несколько лет подтвердилось гибелью молодого англичанина Ричарда Симэна.

Мои финансовые претензии на первых порах были довольно скромными - да и чего мог требовать заводской гонщик. Но со мной подписали контракт, и уже одно это переполнило меня чувством полного счастья. Бывший "король горных гонок" Ганс Штук получал от концерна "Ауто-унион" гарантированный годовой гонорар в размере 80 тысяч марок, не считая командировочных и иных надбавок.

Независимо от договорных обязательств перед своей автокомпанией мы, гонщики, могли получать немалые деньги и от фабрикантов запасных частей. Стремясь использовать победы на гонках для рекламирования своих изделий, они заключали с нами особые контракты и выплачивали так называемые стартовые и финишные премии. После затяжных и детальных переговоров устанавливались премии за первое, второе и третье места по шинам, маслу, горючему, тормозным накладкам, передней подвеске, свечам для зажигания и т. д. Кроме того, предусматривались различные премиальные ставки за гонки в горах и на кольцевых трассах.

Стартовые премии этих фирм нередко достигали весьма значительных сумм, позволявших частным гонщикам самостоятельно покрывать все расходы, связанные с участием в гонках.

Впоследствии нацисты запретили эти сделки, обязав фирмы,

причастные к автоспорту, перечислять денежные премии на счета автокомпаний, чьи машины занимали лучшие места. Гитлеровцы использовали даже автомобильный спорт в своих пропагандистских целях как в Германии, так и за границей.

Мне, конечно, было не бог весть как приятно разъезжать в зимние месяцы по промышленным городам и выторговывать у фирм рекламные деньги на предстоящий сезон. Пришлось попросить моего брата Гаральда стать моим менеджером.

Он выезжал со мной на все гонки, заботился о жилье и питании, следил за моим гардеробом, короче, был, как говорится, на все руки.

Он вырезал статьи и фотографии из газет и журналов, наклеивал их в альбомы, составил единственный в своем роде архив - почти неисчерпаемый источник при работе над этой книгой. В конце-концов мой брат стал известным человеком на всех международных гоночных трассах. Все необходимые мне атрибуты он доставлял в коричневой картонке прямо к боксу. Здесь были гоночные и тренировочные перчатки, различные очки (от солнца и дождя), "оропакс"[12] и всякие другие мелочи, которые должны быть под рукой. Брат всегда ожидал меня у финиша с горячим чаем, вермутом и зажженной сигаретой. О нем действительно можно было сказать: "Наш пострел везде поспел". Специально для меня он разыскал "индустриального менеджера", некоего Франк-Арнау - владельца посреднического бюро для разного рода знаменитостей. Этот делец оптом и в розницу "продавал" в рекламных целях имена известных художников, наездников, боксеров, велогонщиков, актеров, а заодно и автомобилистов. Он вел переговоры с руководителями отделов рекламы заинтересованных фирм и в зависимости от "рыночной стоимости" своих подопечных классифицировал их по разрядам. Его хорошо знали в мире рекламного бизнеса, ценили за быстрые и решительные действия, приносившие ему баснословные барыши. После долгих переговоров брату удалось уговорить его умерить свой аппетит и довольствоваться не 50-, а только 40-долевыми процентами.

Не удивительно, что довольно скоро мой портрет появился в виде приложения к упаковке какого-то маргарина и в огромных размерах, больше натуральной величины, - на плакате рекламы сигарет.

Не веря глазам своим, я читал:

"Чтобы успокоиться, Манфред фон Браухич перед стартом жует "Энерголь";

или в каком-то иллюстрированном журнале:

"...он не признает никакого освежающего средства, кроме

наших мятных лепешек".

Опасный повар

Моя новая профессия расцветила мою жизнь всеми красками. Я зарабатывал много денег, был знаменит и популярен.

Гаральд, став моим секретарем, ежедневно просиживал по нескольку часов над грудами присылаемых мне писем. Ему приходилось отвечать на брачные предложения, различные просьбы и всевозможные призывы вкладывать капитал в якобы выгодные предприятия, жульнический характер которых сквозил между строк.

Со временем я подыскал и отделал новую квартиру для матери и начал давать ей прибавку к скудной пенсии.

Преисполненный гордости, телом и душой отдавшись опьяняющей страсти к большим скоростям, я запросто якшался с "великими" международного автоспорта. Достаточно серьезное знание особенностей этой нелегкой профессии оберегало меня от легкомыслия, и вопреки всем трудностям я довольно твердо стоял обеими ногами на земле.

Надо ли говорить, как мне не терпелось усесться наконец за руль моей "скроенной по мерке" машины. Произошло это в начале марта 1934 года на автодроме близ Монцы, где проводились пробные заезды.

Бетонная трасса, построенная в 1922 году на территории бывшего королевского парка, представляла собой десятикилометровый эллипс с двумя длинными прямыми участками и несколькими поворотами, которые приходилось проезжать довольно быстро. При проектировании этого трека максимальные скорости машин держались на уровне 150 километров в час, но к 1934 году двухсоткилометровый рубеж остался далеко позади, так что наклон поворотов уже был недостаточен для езды "на всех парах". 10 сентября 1933 года на этом треке случилась тяжелая катастрофа. При первом заезде на "Большой приз Монцы", который выиграл польский граф Чайковский, у его соперника, итальянского графа Тросси, ехавшего на американской машине "дюзенберг", сломался маслопровод. Вдоль верхнего края южного поворота протянулось длинное жирное пятно. Автомобилисты обратились к устроителям гонок с требованием удалить масло с бетона.

На масло посыпали песок. Сделано это было второпях, потому что публика уже начала волноваться. Но масло в песок не впиталось. Образовался еще более опасный слой, скользкий, как ледяная горка. И это на повороте, в который машины, пройдя по прямой вдоль трибун, буквально влетали со скоростью порядка

250 километров в час...

По взмаху стартового флажка группа итальянских машин помчалась к южному повороту. Их вели опытнейший Джузеппе Кампари, Марио Борцакини, Кастельбарко, Барбиери, еще кто-то. И вдруг... тысячеголосый вопль ужаса проносится вдоль всей трассы. В самой высокой точке поворота машину Кампари занесло. Оторвавшись от асфальта и крутясь, она пролетела около пятидесяти метров по воздуху и грохнулась о барьер.

Шедшие следом Борцакини и Кастельбарко перевернулись. Барбиери направил свою машину внутрь поворота, налетел на барьер, тоже перевернулся и остался под обломками. Из-за проклятого масляного пятна погибли три лучших гонщика. Остальные участники остановились, все потребовали отменить гонки. Но публика запротестовала. Она желала досмотреть финальный заезд или получить свои деньги обратно.

Главный организатор соревнования, боясь лишиться дохода, распорядился дать старт последнему заезду.

На десятом круге зрители вновь сорвались с мест. На сей раз несчастье обрушилось на графа Чайковского. Из-за того же масляного пятна! Задние колеса заскользили, машина перевернулась, врезалась в дерево у обочины и мгновенно вспыхнула ярким пламенем. Случившиеся поблизости болельщики попытались вытащить водителя из горящей машины. Слишком поздно: на них смотрели застывшие, стеклянные глаза...

Только после этого гонку прекратили. В знак траура были приспущены флаги.

За несколько лет до того в Монце уже однажды был "черный день" в том же духе. Устроители гонок не позаботились о самых примитивных мерах безопасности перед главной трибуной. Люди сгрудились у обочины маршрута. И когда машина итальянца Матерасси врезалась в толпу, 24 человека погибли и 98 получили ранения. Этот страшный урок показал, что вместо строительства новых трибун для привлечения зрителей и их денег необходимо взяться за реконструкцию поворотов.

Когда я делал "первые шаги" на своей новой машине, изготовленной по "формуле" и вскоре названной "Серебряная стрела" — так ее окрестили болельщики, — я, как и мои коллеги, обходил эти трагические события почтительным молчанием. Автогонщик всегда и во всем должен быть мужественным!

Мы никогда не знали: повезет нам на следующем повороте или в нем притаилась смерть?

Хорошо натренированные физически, мы должны были выдерживать многочасовую нервную нагрузку за рулем, сотни раз переключать скорости, выжимать педали сцепления и

торможения, в каждую данную секунду — на поворотах, на подъемах или спусках — уверенно владеть своей машиной, несущейся вперед, точно снаряд. Для этого необходимы крепкие нервы, нервы, подобные стальным тросам, но вместе с тем предельно чувствительные и мгновенно реагирующие.

Поведение того или иного гонщика после соревнования, когда наступала разрядка, позволяло судить о его темпераменте и душевном состоянии. Отчаянно смелые мужчины, способные смотреть смерти в лицо, после трудных перипетий сложной гонки, закончившейся для них поражением, внезапно разражались рыданиями. А однажды кто-то, окончательно потеряв контроль над собой, схватил молоток и едва не размозжил голову тому, кого считал виновником своей неудачи...

Наши испытания новой "формульной" машины нарушились неожиданным появлением в Монце команды фирмы "Ауто-унион", доставившей сюда "серебряную рыбку" — гоночный автомобиль с 16-цилиндровым кормовым мотором.

Все мы старались держать в строжайшей тайне даже самые незначительные подробности своих конструкций. Подготовка машин велась за натянутым брезентом или одеялами, выставлялись "часовые", все враждебно разглядывали друг друга в бинокли.

На трассу высылались разведчики с задачей установить, на какой передаче и приблизительно с каким числом оборотов двигателя конкуренты преодолевают повороты. С течением лет развилась система форменного шпионажа и всяческой слежки, позволявшая заблаговременно узнавать намечаемые соперниками улучшения конструкций двигателей или шасси. С утра до вечера мы находились на трассе или торчали в своих боксах, где инженеры и механики возились с машинами. В нашей мастерской-передвижке, оборудованной на грузовике, стояла крохотная кухонька, снабжавшая нас кофе. Нередко у нас разгорался волчий аппетит, и мы искали повара, который мог бы приготовить нам хотя бы одно горячее блюдо. Миланский представитель концерна "Ауто-унион", синьор Рикорди, порекомендовал моему менеджеру Нойбауэру какого-то виртуоза по части приготовления спагетти. Специальностью нашего повара были равиоли[13] и итальянские спагетти под острым соусом. Поэтому Нойбауэр без колебаний нанял этого человека, который к тому же, по словам Рикорди, не знал ни слова по-немецки.

За обедом мы в его присутствии, не подозревая ничего дурного, обсуждали события дня, говорили о наших маленьких секретах — дефектах и слабых сторонах своих машин. Молодой повар не покидал нас ни на секунду и отлично все понимал, что мы, однако, узнали позже.

Таким образом, руководители "Ауто-унион" в Цвиккау получали подробнейшую информацию о нашей повседневной работе в Монце. Наш повар, который в действительности был искушенным автомехаником и шофером, обвел нас вокруг пальца.

На сей раз "Мерседес" потерпел поражение, но впоследствии взял великолепный реванш.

Без лакировки, но зато с победой

Первая проба сил новых гоночных машин, построенных по "формуле", состоялась 27 мая 1934 года на берлинском треке АФУС. Кроме автомобилей "ауто-унион" и "мерседес", на участие были заявлены красные "альфа-ромео" и "мазерати" и синие

"бугатти".

Любители автоспорта ожидали поистине драматической борьбы. Газеты сообщали о тренировочных заездах с какими-то рекордными показателями скорости. Но в последнюю минуту произошла сенсация: из-за неисправностей в бензоподаче, которые нельзя было немедленно устранить, фирма "Мерседес" от участия в гонках отказалась, вызвав огромное разочарование десятков тысяч зрителей, собравшихся вокруг маршрута.

Но уже спустя неделю наши инженеры решили выпустить свою новую модель, начиненную несколькими сотнями лошадиных сил, на кольцевую трассу Нюрбургринг и добиться там убедительного успеха. Эти так называемые "эйфельские гонки"[14] были суровой проверкой для водителей и машин. 172 поворота на одном круге! Такое "испытание на разрыв" мог выдержать только человек, обладающий выносливостью бегуна на марафонскую дистанцию.

Караччиола еще не выздоровел окончательно и не мог подвергать себя такой опасности. Поэтому фирма "Мерседес" возложила всю ответственность на итальянца Фаджиоли и на меня.

Накануне гонок, находясь в гостинице, мы узнали роковую новость: наши машины не подходили под весовой лимит "формулы". Вес "серебряной стрелы" без воды, бензина, масла и резины не должен был превышать 750 килограммов, весы же зарегистрировали 751 килограмм!

Так как все уже было взвешено и рассчитано до последнего грамма, а о демонтаже какой-то части не могло быть и речи, мы буквально впали в отчаяние и ломали себе головы, не зная, что придумать. Поглядев на сверкающее лаковое покрытие машины, я растерянно пробормотал: "Вот и остались в дураках... Даром что навели такую лакировку..." Нойбауэра молниеносно осенило: "Послушайте, Манфред, да вы же молодчина! Именно лакировка... Лак, только в нем наше спасение!"

Всю ночь механики соскребали лак с наших машин. Утром мы вкатили их на весы для контрольного взвешивания... ровнехонько 750 килограммов!

Мы просияли!

Множество специальных поездов доставили зрителей в маленький эйфельский городок Аденау. Тысячи мотоциклов, автобусов и грузовиков двигались со всех концов к кольцевой трассе Нюрбургринг. Толпы болельщиков стекались из Франкфурта, Дюссельдорфа, Кёльна, из Рурской области, Мюнхена, Гамбурга и Берлина. Все горели нетерпением стать свидетелями этой битвы моторов.

Вдоль трассы выстроились 200 тысяч зрителей. Близ поворотов у Хатценбаха, у Карусели, у Лисьей Трубы, у Верзайфенской долины и около Ласточкина Хвоста многие еще накануне разбили палатки и захватили выгодные наблюдательные пункты.

В то время автомобильные гонки становились все более популярными, и миллионы граждан, не сумевшие прибыть к месту состязания, устраивались около радиоприемников, чтобы, слушая захватывающий репортаж комментаторов Лавена и Эрнста, внимательно следить за каждым этапом гонок.

Стартовый флажок резко опустился, и трибуны сразу охватило лихорадочное волнение. С оглушительным ревом и грохотом машины плотным косяком рванулись вдаль. Когда их свора скрылась, все перевели дух и каждый стал с напряжением ожидать вторичного появления первой машины.

В этой гонке, состоявшейся в июне 1934 года, я с первого же круга вырвался вперед и до самого конца не уступил своего места никому. То была огромная удача для фирмы "Мерседес" и для меня — первый же старт новой "серебряной стрелы" увенчался победой!

Кстати сказать, эту гонку я выиграл без смены баллонов на маршруте, что впоследствии, когда скорости начали неудержимо расти, стало просто немыслимым. С годами вопрос о шинах вырос в целую проблему, и выигрыш или проигрыш той или иной гонки полностью определялся рекордно быстрой заменой колес, что зависело от сноровки механиков. В этом смысле они добивались какого-то подлинного артистизма, научившись заменять два колеса всего за 23,9 секунды — результат бесконечных тренировок, тщательной отработки каждого приема. По этому поводу одна газета писала: "При смене баллонов механики работают, как секунданты призового боксера перед ударом гонга к последнему раунду".

Все дело в том, что с нарастанием скорости увеличивается нагрев покрышки, отделяется слой, связывающий корд с протектором, и под действием центробежных сил резиновое покрытие разрывается в клочья. И это при скоростях свыше 300 километров в час!

За многообещающим успехом на Нюрбургринге 1 июля последовал позорный провал при розыгрыше "Грае при Франции" на Монлерийском шоссе под Парижем.

Повторная встреча автомобилей новых конструкций окончилась "массовой гибелью" немецких машин. Наши новинки, видимо, еще не вполне созрели. В каждой машине обнаруживался какой-нибудь небольшой дефект, сразу же исключавший

продолжение ее участия в состязании. То выходило из строя сцепление, то давал течь бензопровод, то ломалась подвеска колеса, то заедало водяную помпу и многое другое в таком же роде.

Только три автомобиля "альфа-ромео" и один "бугатти" полностью преодолели дистанцию 500 километров. Широн финишировал перед Варци и алжирцем Ги Молле, вскоре погибшим в Италии на гонках под Пескарой. Но прошло совсем немного времени, и нам удалось заставить публику забыть о наших неприятностях: на той же трассе мы добились поистине блестящего успеха. Под немилосердно палящими лучами солнца Караччиола прошел 500 километров за 4 часа 54 секунды. Отстав от него на пятнадцать десятых секунды, я занял второе место. Этот разрыв в полторы секунды был для меня тем обиднее, что руководитель нашей "автоконюшни" просто-напросто приказал мне на последних кругах этой убийственной гонки ни в коем случае не обгонять Караччиолу. Она прошла в точном соответствии с двумя почти "священными" для всех автогонщиков главными правилами:

Каждый, хорошо зная свою машину и свои возможности, снимается со старта так быстро, как только может, но не форсируя двигатель до предельных оборотов и не растрачивая сил уже на первых кругах.

2. Водитель, вырвавшийся таким образом вперед и имеющий перед соперником выигрыш в одну минуту, не должен подвергаться атакам со стороны своих товарищей по "конюшне". Он завоевал себе право на победу.

Караччиола превозмог всех своих конкурентов и, несомненно, вынес на себе главную тяжесть этой трудной борьбы: в течение нескольких часов он выжимал из своей машины и из самого себя все до последнего. Половину дистанции я держался "в тылах"; лишь на последней трети маршрута я сделал рывок и обогнал Караччиолу, но, когда поравнялся с нашими боксами, получил сигнал поотстать от него.

Луиджи Фаджиоли принципиально придерживался тактики "выжидания", предоставляя остальным бороться впереди. Но перед самым концом заезда он пулей проносился мимо измотанного ведущего "наездника" и таким образом часто вырывал у него победу, в которой тот уже нисколько не сомневался. Поэтому с Фаджиоли то и дело крупно спорили и даже скандалили. В конце концов, фирма "Мерседес" рассталась с ним.

Однажды нашему шефу Альфреду Нойбауэру пришло в голову с помощью особого языка знаков избавить нас от чувства

одиночества во время гонок.

Когда часами сидишь за рулем, не имея никакого понятия, кто впереди тебя и какое до него расстояние, не зная, кто мчится сзади и настигает тебя, нередко теряешь всякое представление относительно общей ситуации гонки. При таком сверхнапряжении сил ты не в состоянии считать даже собственные круги и уж никак не можешь судить, слишком ли ты торопишься или, напротив, слишком отстаешь. Поэтому ты, конечно, крайне благодарен, когда, проносясь мимо своих боксов, вдруг что-то узнаешь. На первых порах сигнализация флажками и таблицами давала лишь общую информацию о положении участников. Но в дальнейшем Нойбауэру удалось усовершенствовать эту систему, и, находясь в своем боксе, он с помощью весьма хитроумных приемов действительно руководил своей командой. Подобно фельдмаршалу, он решал вопросы побед или поражений. Правда, с течением лет он становился все более властолюбивым, что, к сожалению, не прибавляло ему справедливости. Вне гоночной трассы Нойбауэр был одинаково внимателен ко всем, особенно за завтраком, обедом или ужином. Однако в его "конюшне" были "любимые лошадки", которым он отдавал предпочтение. Много лет одной из них был Руди Караччиола, его близкий друг, затем его сменили иностранные мастера, а с 1938 года Нойбауэр всеми средствами продвигал Германа Ланга.

Я лично так и не попал в число этих любимчиков. Ни разу мне не поручалось "испытать" специальные, особо надежные шины, как, например, Караччиоле — единственному из всей команды — на гонках по треку АФУС в 1931 году. Ни разу в ночь перед стартом мне не заменяли потрепанный тренировочный мотор на новый, как это сделали Герману Лангу перед состязанием на "Большой приз Швейцарии" в 1939 году. Ни разу я не увидел на своем двигателе дополнительный карбюратор, какой был поставлен в Реймсе тому же Лангу незадолго перед розыгрышем "Большого приза Франции" в том же году.

Даже непосвященный легко поймет: при равных возможностях лучших водителей именно такие мелочи и определяли успех или неуспех. К тому же чувство ущемленности в сравнении с кем-то другим угнетало морально.

Нойбауэр отлично умел "угощать" нас подобными горькими пилюлями, которые не скоро удавалось проглотить. Чтобы помочь Лангу победить Караччиолу в дождь — а Караччиола славился как "всепогодный ездок", — он применил чисто психологический прием: в период испытательных заездов, когда лило как из ведра, Лангу снова и снова поручалось выезжать на трассу, чтобы дать

ему привыкнуть к особенностям мокрой и скользкой дороги. Нойбауэр намеренно называл ему неверное, меньшее, чем в действительности, время прохождения кругов, чтобы повысить его уверенность в себе, в своем мастерстве. И ему в самом деле удалось сделать своего протеже истинным "дождевым гонщиком". Что же до нас, "стариков", меня и Караччиолы, то мы, естественно, возмущались всем этим, делались угрюмыми и злыми.

Во время довольно бурных совещаний перед гонками, когда шло теоретическое обсуждение всех мельчайших подробностей, толстяк Нойбауэр, словно восседая на троне, по-королевски требовал от своих "вассалов" безоговорочного выполнения его приказаний. Однако он был не только нашим "регентом", но и умел толково позаботиться о насущных нуждах семьи гонщиков и механиков, вникал во все их горести и затруднения. Он подыскивал всем кров, обеспечивал размещение и ремонт машин, недреманным оком следил за "нравственностью" своих "овечек", по возможности удовлетворял все особые пожелания, касающиеся еды и питья. Так он завоевал себе доверие и авторитет. Он мастерски приготовлял смесь из малаги, черного кофе, сахара, яичного желтка и некоторых пряностей, которую мы прозвали "Альфредо-коктейль". А когда по вечерам, после изнурительного дня, Нойбауэр, блаженно потягивая виски, рассказывал нам: какие-то уморительные истории, мы забывали про все его недостатки.

В общем, мы глубоко уважали его...

Уж если не повезло…

Перед началом официальной тренировки на Нюрбургрииге к "Большому призу Германии", розыгрыш которого был назначен на 15 июля 1934 года, я на особой тренировочной машине много раз "прокрутился" по трассе, проверяя маленькие усовершенствования двигателя и шасси. Еще утром мне посчастливилось показать прямо-таки сказочное время, а после обеда даже улучшить его. И уже на закате, на заключительном круге, стряслась беда: на участке близ Хатценбаха, где шоссе выходит из лесу, изгибаясь влево, и дальше устремляется круто вверх, я был ослеплен лучами заходящего солнца. Непроизвольно я дернул руль, тут же заметил свою ошибку, мгновенно скорректировал ее - но поздно! Машину несколько раз крутануло, занесло в канаву, она перевернулась и вновь встала на колеса.

К счастью, во время штопора и пике я не выпал из машины и "приземлился" вместе с ней. Иначе от меня не осталось бы и мокрого места, уж это точно. Меня нашли перегнувшимся вперед,

с головой, прижатой к рулевому колесу.

Сутки я провел без сознания, потом очнулся. Где я, что со мной произошло? Неуверенной памятью я мысленно пытался воспроизвести случившееся. Вспоминая, я, видимо, невольно пошевельнулся. Медицинская сестра, дежурившая около меня, сейчас же встала и осторожно прикоснулась ладонью к неперевязанной части моей головы.

"Ну, вот вы и в порядке", - радостно сказала она.

Нажав на кнопку звонка, она сообщила о моем пробуждении кому-то еще. Вскоре появился главный врач со своей свитой. Это было скорее приветствием и поздравлением с возвратом к жизни, нежели визитом лекарей.

Первый диагноз врача больницы местечка Аденау гласил: перелом четырех ребер, ключицы и предплечья, разрыв лопатки, тяжелая контузия всего тела. Позже в довершение ко всему у меня признали еще и сотрясение мозга и перелом костей черепа.

В первые дни я страдал от сильных болей. Но множество знаков сочувствия и симпатии, зачастую исходивших от совершенно незнакомых людей, облегчили мне этот тяжелый период. Снова и снова распахивалась дверь, и медсестры приносили в палату свежие цветы. Тихонько смеясь, они обсуждали, где бы еще найти вазы для них.

Почта доставляла мне целые ворохи писем, многие от детей и подростков. Они от всего сердца желали мне скорейшего выздоровления.

Все это придавало мне сил и бодрости, укрепляло мысль, владевшую мною днем и ночью: поскорее поправиться и вернуться к любимому делу.

Однажды я уже доказал свою "живучесть" и волю, способную, как говорят, горы своротить: в 1931 году во время гонок в горах, на участке, покрытом щебенкой, зад моего тяжелого ССК[15] внезапно скользнул вбок, налетел на кучу камней, и машина перевернулась колесами кверху скорее, чем я успел испугаться. Я повис на привязных ремнях головой вниз, и вместе с машиной меня протащило еще несколько метров вдоль кювета.

Но тогда мне все-таки повезло: я отделался тяжелым повреждением челюсти, сотрясением мозга и переломом нескольких ребер...

И вот я опять лежал в гипсе и не знал, смогу ли после поправки снова как ни в чем не бывало сесть за руль.

Надо было привести в порядок мысли, ясно обдумать свое положение. В одном я ни минуты не сомневался: узнав про мою аварию, мои соперники втихомолку радовались. Они просто радовались тому, что на трассе стало одним конкурентом

меньше.

А если, мол, его долбануло так, что он уже вообще не сможет соперничать с нами, что ж, тем лучше. Именно так они и рассуждали. "Они" - это, по сути, все скоростники.

Да, таковы были нравы. Впрочем, я и сам, честно говоря, не рассуждал бы иначе. Конечно, такая позиция может показаться бессердечной и даже крайне жестокой человеку, который каждое утро идет на службу, проводит там полжизни рядом с каким-нибудь коллегой, о котором знает все, с которым делит радость и горе и лишь редко желает ему зла.

Однако все это объясняется отнюдь не каким-то особенным характером автогонщиков, а единственно обстановкой и условиями их тяжелого и опасного труда.

Но так я говорю сегодня. Тогда же я не понимал этого даже в отдаленной степени. Тогда я хотел побеждать, как и всякий другой. А ради победы на карту ставилось очень много, порой сама жизнь.

Разумеется, никто никому не желал смерти. Но если соперник попадет в больницу и задержится в ней подольше - очень приятно! Тут и совесть твоя чиста и больше надежд на исполнение твоих честолюбивых замыслов.

На сей раз не повезло мне. Я отлично понял, что стою в начале тернистого пути, в конце которого я должен вновь "присутствовать", так же как, скажем, боксер, празднующий свое возвращение на ринг.

Многие знаменитые автогонщики прошли через это испытание задолго до меня. И каждому из них пришлось показать, из какого он теста сделан. Больше всего мучила неизвестность: сяду ли я вновь за руль или должен буду навсегда оставить свой спорт? Но я был тверд, и никакие переломанные конечности, никакие контузии и искромсанные части тела, никакая мигрень не могли умалить мое горячее стремление в кратчайший срок вернуться в строй.

Ясно было и другое: авария обязывала меня с первых же пробных заездов показывать хорошее время и тем самым доказать, что я преодолел последствия моих увечий. Горе тому, кому это не удается сразу! Такому немедленно выносится приговор: "Конец! Больше он ездить не может!" И тогда резко сузится круг твоих "друзей", думал я. Уже никто не захочет вспоминать дни твоих больших успехов, твоей славы и почета. Потонешь, точно камень, брошенный в болото. Всплывут на поверхность и лопнут несколько пузырей - и все! И от былого твоего "величия" не останется ничего.

"Нет уж! - твердо сказал себе я. - Злорадствовать не дам

никому. Наоборот, поправлюсь и с новыми силами сяду за руль. У фирмы не будет никаких оснований вычеркнуть меня из списка команды. Я опять войду в прежнюю форму, и тогда пусть мои дорогие коллеги трепещут!"

В сущности, все содержание моей тогдашней жизни сводилось к борьбе за секунды. Я охотно шел на жертвы и лишения, лишь бы научиться ездить, и не вообще ездить, а ездить быстро, а затем все быстрее и быстрее!

В утешение себе я во всех подробностях припоминал спортивное воскрешение моего друга, Руди Караччиолы после его аварии на набережной в Монте-Карло.

21 апреля 1933 года Руди, тренируясь на своем "альфа-ромео", проходя длинный изгиб приморской набережной и приблизясь к газгольдеру, не сбавил скорость. Машину занесло поперек зеркально гладкой клинкерной брусчатки, и она ударилась правым боком о каменную лестницу.

На первый взгляд авария казалась совсем пустячной. Люди подбежали к слегка поврежденной машине, вытащили из нее Караччиолу, находившегося в полном сознании, положили его на носилки и доставили в больницу.

Но после первых же рентгеновских снимков врачи сошлись на том, что ему никогда уже не участвовать в автогонках. Помимо перелома шейки бедра, у него обнаружили еще и перелом тазобедренного сустава и разрыв суставной сумки. Близкий друг Караччиолы из Лугано предоставил в его распоряжение свой дом. Целых восемь месяцев Руди пролежал в гипсе, не зная, обойдется ли все благополучно или он останется калекой навсегда.

Но Караччиола добился своего! Ничто не могло сломить его воли. Он отлично знал, что соперника было бы приятнее видеть на трибуне, чем на маршруте. Знал, что на заводе о нем говорили как о гонщике, который "свое отъездил", что его бывший друг и антрепренер Нойбауэр уже списал его со счетов и присматривался к новым спортсменам.

Для этого истинного бойца день 2 апреля 1934 года оказался знаменательным. После годового перерыва он вновь сидел за рулем гоночного автомобиля на том же самом роковом для него маршруте в Монте-Карло и перед стартом на "Гран при Монако" совершил круг почета под ликующие возгласы толпы.

В конце мая, хорошенько потренировавшись на АФУС в сверхскоростных заездах, он вновь убедился в своем мастерстве, вновь поверил в свою счастливую звезду. Первый шаг был сделан: он отстоял и утвердил себя в глазах соперников и фирмы.

Находясь с ним рядом, я мог по достоинству оценить железную волю этого человека. Целеустремленный и напористый,

он преодолевал любые препятствия и, несмотря на тяжелый физический недостаток - его правая нога осталась на пятнадцать сантиметров короче левой, - снова сумел подняться на высшую ступень славы.

Мне глубоко врезались в память отдельные этапы его борьбы за "место под солнцем".

Его многолетний ближайший друг Луи Широн, вместе с которым он некогда выступал на гонках в частном порядке, в то время не подозревал, что и его, беднягу, ожидает тяжелейший удар.

Он попал в серьезную аварию, промучился несколько месяцев в больнице, но свою прежнюю форму так и не восстановил.

В 1936 году фирма "Мерседес", чтобы укрепить свою команду, ангажировала, помимо итальянца Фаджиоли, французского мастера Широна. В том году никак не удавалось справиться с дефектами конструкции шасси, из-за которых наши машины не могли "прочно стоять на земле". Они были очень неустойчивы на ходу, особенно на поворотах, и нам стоило огромных усилий удерживать их в повиновении.

Широн медленно и плохо осваивал технику притормаживания, чувствовал себя неуверенно на максимальных скоростях. А ему все время твердили два слова: "Давай быстрее! Давай быстрее!" Нойбауэр посадил в его машину другого гонщика, чтобы показать французу, что дело, мол, не в технике, а в нем самом. Наконец у него отняли хорошего механика, с которым он сработался, и дали двигатель послабее. Вдобавок Широна третировали прозрачными намеками на его "старость" и неспособность владеть машиной на предельных режимах. Он отчаянно, до полного безрассудства старался реабилитировать себя и любой ценой улучшить свое время.

Итог: разбитая вдребезги машина и искалеченный человек, которого пришлось отвезти в больницу. Это произошло на Нюрбургринге в конце прямого участка, за Антониусбухе. На двухсоткилометровой скорости машина завертелась, сошла с дороги и перевернулась.

В больнице, сидя у постели прославленного Луи Широна, я подумал: тебе уже не подписать новый контракт. Звезда "мерседеса"[16] светит только счастливчикам. Если ты все-таки останешься с нами, тебя начнут подстрекать к еще более рискованной езде, а для нее у тебя не хватит ни сил, ни выучки. Так что тебе лучше вообще бросить это дело.

Реальность нашей жизни была неумолимо жестокой: автомобильный концерн ангажировал нас только и исключительно ради быстрой езды. Это мы давно и прочно

усвоили. Суровая профессия, суровые люди, непреклонные твердокаменные шефы. Дело обстояло именно так. Если мы были хороши, то есть ездили достаточно быстро, нам платили, как звездам, и мы купались в лучах славы. Но лучи эти могли мгновенно погаснуть, и тогда так же мгновенно иссякал источник наших доходов...

В первые и самые тяжелые недели после моей аварии врач не допускал ко мне никаких визитеров. Мой брат, словно сторожевой пес, охранял мою дверь. Горестно вздыхая и всхлипывая, он отгонял от нее множество людей, движимых искренним состраданием ко мне шли те простым любопытством.

Наконец моему английскому другу Руди Центу все-таки удалось ко мне прорваться. Какое же это было для меня событие! Одно только появление этого молодого и веселого человека, бывалого путешественника, любившего пожить в свое удовольствие, сразу заставило меня забыть затхлую, удручающую атмосферу моего больничного бытия.

Он передал мне сердечный привет от моих товарищей по команде, уехавших тем временем на какие-то соревнования, и в мельчайших подробностях описал мне ход последней гонки.

"Кто знает, - говорил он, - быть может, именно тебя там и не хватало. Тогда Штук едва ли завоевал бы первое место для "Ауто-унион". Караччиола молодец: девять кругов подряд преследовал Штука по пятам. Но его подвел мотор, и пришлось сдаться. Иначе Штуку ни за что бы не победить!"

Этот тощий англичанин присутствовал почти на всех гонках, хорошо разбирался в них, очень точно оценивал работу водителей. Он был один из немногих фотографов, умеющих снимать отдельные эпизоды гонок на подлинно художественном уровне. Находя какие-то совершенно невероятные ракурсы, он фиксировал своим аппаратом самые сенсационные моменты состязаний. В нашем узком кругу все хорошо знали этого долговязого фоторепортера с тонкой щеточкой усов над верхней губой и в маленькой оригинальной шляпе. Мы любили его.

Из года в год он все увереннее и чище объяснялся по-немецки, и мне казалось, что ему совсем не улыбается перспектива стать преемником своего отца - владельца крупной экспортно-импортной фирмы в Ливерпуле. Наряду с его главным занятием, фотографией, - она кормила его - была у него еще одна великая страсть: автомобили.

Мы отлично понимали друг друга. Порой своим трезвым и деловым взглядом на жизнь он как бы "притормаживал" мои необдуманные порывы.

"Я должен сфотографировать тебя в этом виде, со временем

пригодится", - сказал он и, достав из футляра аппарат, увековечил своего "Манфредо", чей изуродованный облик едва проглядывал из-под бинтов. Руди Цент решил спасти от забвения этот мой весьма непрезентабельный вид, а заодно заработать несколько лишних марок.

"Тебя ругают за твой промах лишь потому, что из-за него ты разбил в пух и прах свой призовой автомобиль", - промолвил он с печальной гримасой, Я виновато прикрыл ладонью мой неперевязанный глаз и невольно подумал о 45 тысячах марок, которых стоил один только мотор. Ведь, по сути дела, эти чрезвычайно дорогие аппараты предназначались главным образом для рекламы продукции фирмы "Мерседес", их победы повышали и облегчали сбыт ее легковых и грузовых автомобилей. И в рекламном бюджете фирмы возникшая по моей вине груда металлолома была отнесена к графе убытков. Ну а мои собственные увечья? Кто их зарегистрировал? Конечно, никто...

Руди Цент склонился над моей постелью и утешительно зашептал:

"Тебе, конечно, знакома старая истина: страх перед конкурентом и зависть к конкуренту! Можешь быть уверен: Нойбауэр крепко запомнил твои рекордные круги.

На последнем из них он наверняка ожидал еще более сенсационное время, такое, от которого у водителей "Ауто-унион" зашлось бы дыхание еще задолго до гонки. Но теперь, дорогой мой, все разговоры бесполезны. Надо смириться с положением. А по правде говоря, твое сальто-мортале пошло тебе только на пользу. Ты крепкий орешек и придешь в себя. Скоро ты это сам поймешь, и тогда дело пойдет на лад!"

Так и получилось - дело и вправду пошло на лад!

Снова на трассе!

Прошло немало времени, прежде чем мой лечащий врач наконец решился отправить меня на дальнейшее исцеление и отдых в Верхнюю Баварию. Было трогательное прощание с больничным персоналом, и я так расчувствовался, что едва не разревелся.

Я проследовал в спальном вагоне до Мюнхена, где меня встретил брат, чтобы вместе проехать на машине последние 80 километров, отделявшие нас от Вальхензее — цели нашего пути. Выйдя из вагона, я почувствовал, что еще очень слаб: руки и ноги дрожали так, что я даже испугался. Небольшое автомобильное путешествие по Баварии доставило мне огромное наслаждение. Я прямо ожил и с жадностью всматривался во все, что открывалось моим глазам, словно умирающий от жажды, которому поднесли

студеной ключевой воды. Но главной, прекраснейшей вещью на свете было находившееся слева от меня рулевое колесо автомобиля. Я ликовал!

В полдень мы прибыли в горную деревушку Урфельд на берегу озера Вальхензее, где меня шумно приветствовали супруги Бракенхоферы, хозяева небольшого отеля. Они были рады встрече со своим старым постояльцем, но мой вид встревожил их: большие мешки под раскрасневшимися глазами, бледное лицо... От меня — "героя" гоночных автотрасс и киноэкрана — осталось действительно немного. В прежние времена в этом отеле меня принимали как человека, весьма ценного для рекламных целей, теперь же меня прятали подальше от гостей. Хозяин, слывший вралем и выдумщиком, оборудовал в углу одной из комнат особый закуток — так называемую "обезьянью клетку" размером два на два метра. Две половинки скамьи, скрепленные под прямым углом, окаймляли привинченный к полу деревянный стол, над которым висел убогий светильник. Обычно здесь питались кухарка, батрак и кучер.

Теперь же в этом укромном уголке, куда не заглядывал никто из гостей, столовался я. Мой непоседливый трактирщик частенько наведывался сюда, чтобы тайком от жены осушить очередную кружку пива.

На второй вечер этот "брехун из Вальхензее" явился в наш "отдельный кабинет" с бутылкой крепкой малиновой настойки, которую он с богобоязненным выражением на лице осторожно достал из кармана. Из другого кармана были извлечены стопки и толстая свеча. Все это он любовно расставил на столе и наконец разлил свое зелье по стопкам. Пламя свечи, по его словам, не давало испаряться градусам, усиливало крепость и целебные свойства напитка. Ссылаясь на мое состояние, я хотел было отказаться, но он, осклабясь во весь рот, решительно осудил мое тяготение к трезвенности. Мы быстро расправились с бутылкой, я здорово охмелел и вцепился в стул, чтобы не упасть. В поздний час мои заботливые друзья бережно уложили меня в постель.

Результатом этого "верхнебаварского курса лечения" явилось тяжелое воспаление надкостницы моих сломанных ребер. Но в остальном все было отлично!

Трудно было придумать лучшее место для моего выздоровления, чем это озеро, окруженное идиллическим горным пейзажем. Терпкий горный воздух и спартанская простота быта помогли мне быстро встать на ноги. Немало способствовала этому окружавшая атмосфера сердечности, юмора и беззаботности. По-моему, наш трактирщик-враль был каким-то колдуном: даже в ненастье в его доме сияло солнце, и каждый

чувствовал себя здесь просто и непринужденно.

В моем распорядке дня очень важную роль играла силовая гимнастика, которой я регулярно занимался по утрам и во второй половине дня под наблюдением моего массажиста Джо Хаммера, в прошлом многолетнего тренера боксера Ганса Брайтенштреттера, бывшего чемпиона Германии в тяжелом весе. Хаммер в совершенстве владел искусством спортивной подготовки. С момента его прибытия в Урфельд я быстро начал приходить в форму. По своей особой методе он обучал меня спортивной гребле и плаванию. Кроме того, он играл со мной и моим братом в скат. Приятный собеседник, он неизменно сопровождал нас на прогулках.

Как-то вечером в нашей "обезьяньей клетке" появился заметно подвыпивший друг хозяина Алоис Пфунд, трактирщик из Яхенау, что в шести километрах от Урфельда. Он прикатил на своем допотопном "форде" в надежде произвести "дозаправку" — разумеется, не машины, а своей собственной персоны.

Обликом, характером и деловыми качествами оба баварца походили друг на друга, как сиамские близнецы. Наш хозяин от души обрадовался этому визиту и всячески старался угодить своему позднему гостю, что, однако, не помешало ему сыграть с ним злую шутку. Зачернив руки копотью и приблизившись к своему приятелю с тыла, он с невинной улыбочкой вымазал ему лицо и шею. Мы хохотали до слез, а ничего не подозревавший Пфунд усердно пил за здоровье своего друга-насмешника. Наконец мы помогли гостю добраться до "форда" и сесть за руль. Громко тарахтя и покачиваясь, машина увезла его восвояси.

Наутро к нам в трактир явился сельский полицейский и сообщил, что на рассвете произошло "ужасное происшествие". Он ехал лесом на мотоцикле, направляясь в окружной центр, как вдруг на повороте дороги увидел в кювете автомобиль, а в нем — обуглившегося человека! Он остановился, чтобы опознать "труп". Однако его испуг сменился чувством гнева и даже бешенства, когда он выяснил, что водитель съехал с дороги, чтобы поспать, а его ужасающий облик — не более чем результат "гримировки".

Вскоре мы съездили в ресторацию Пфунда в Яхенау, где за пивом и сосисками состоялось полное примирение.

Подобные незатейливые забавы, простота и безыскусственность сельского бытия доставляли мне столько радости, что я почти физически ощущал быстрый темп моего выздоровления, и, когда однажды жарким августовским утром почтальон, как обычно, принес мне почту, я не подозревал, что моя безмятежная и приятная жизнь подошла к концу.

Руководство отдела гоночных автомобилей фирмы "Даймлер

— Бенц" в коротком и вежливом послании осведомлялось, достаточно ли я здоров, чтобы через две недели принять в Берне старт на "Гран при Швейцарии". Примечание гласило: "Просим дать телеграфный ответ".

Как же я обрадовался! Значит, я все-таки нужен, значит, без меня команда не укомплектована!

Не без гордости я передал это письмо моему брату и, обратившись к Джо Хаммеру, сказал:

"Отныне, дорогой мой, тренировочная нагрузка увеличивается вдвое! Меня снова приглашают на старт! Вот, читай!"

Новость распространилась с быстротой молнии. Через минуту к нашему столу подошел Бракенхофер, хозяин отеля.

"Мне доложили, что господин гонщик снова собирается сесть на коня", — величественно вымолвил он. И, сложив руки на животе, с притворной серьезностью, словно произнося молитву, добавил:

"Для дальнейшего увеличения оборота моего отеля и вообще для поддержания моих деловых интересов вам придется оставить здесь Гаральда и Джо. Пусть они нашептывают моим гостям на ушко, какие здесь останавливаются знаменитости!"

В это утро по указанию Джо я много поработал веслами и у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить о дальнейшем. Все-таки странно устроен человек: только что я, как говорится, едва собрал кости, а теперь я словно обезумел от радости, получив возможность вновь, и притом добровольно, подвергать себя той же опасности. Да и нервы вроде бы пришли в полный порядок. Ты ничего не боишься, твердил я себе, а если при воспоминании об аварии опять испугаешься, подави страх, задуши его в себе!

С несколько наигранной самоуверенностью я откидывал голову при каждом гребке. Весла резко и почти бесшумно двигались в прозрачной, как стекло, воде. Все будет отлично, думал я, ты вновь начнешь бороться со временем, хотя часы чертовски быстро тикают и не так-то легко отвоевывать у них секунды! А главное — ты опять помчишься по трассе!

Гонки в Бремгартенском лесу под Берном оказались для меня трудным испытанием. Правда, на тренировках я показывал требуемое время, но уже после нескольких кругов выдохся. Обливаясь потом, с трудом, при поддержке механиков я выбрался из машины.

В день гонки испортилась погода. Шел проливной дождь, а я никогда не был особенным любителем мокрого асфальта. К тому же на этом сравнительно ровном маршруте длиной всего 7,2

километра было несколько довольно каверзных поворотов.

Несмотря на физическое недомогание, я все-таки держался в группе ведущих. Правда, на тридцать шестом из пятидесяти обязательных кругов я выбыл из-за неисправности в радиаторе. Но я доказал своей фирме "Мерседес" и себе самому, что мои нервы в порядке и я полностью оправился от последней аварии.

Письменное приглашение дирекции прибыть в Штутгарт для подписания нового контракта было для меня бальзамом на раны, утешением за двухмесячное лечение. После ставшего уже непривычным напряжения на гонках под Берном здоровье мое опять ухудшилось, что помешало мне участвовать в соревновании на "Приз Монцы" в Италии.

Когда, прибыв на место, я поднимался по лестнице заводоуправления, где меня ожидал технический директор Ганс Зайлер, я волновался больше, чем волнуется ребенок за пять минут до раздачи рождественских подарков.

Для храбрости я прихватил с собой брата — ведь речь шла об определении моих доходов на целый год. Я себя, конечно, не чувствовал в роли просителя, но прежней самоуверенности как не бывало.

Правда, я неплохо показал себя и одержал знаменательную победу. Но потом я попал в аварию, и тут всегда получается одно и то же: проходит немного времени, и уже никому нет дела до ее причин. Остается голый факт: ты разбил дорогой автомобиль и сам вышел из строя.

Поэтому я и не удивился, когда в самом начале разговора технический директор недвусмысленно указал на это черное пятно, подпортившее мою репутацию. Сделал он это, разумеется, только ради того, чтобы заранее поколебать мои финансовые претензии и настроить меня на самые скромные требования.

Моя звезда на небосклоне автоспорта потускнела и уже не ослепляла нашего собеседника. Он настаивал на необходимости "экономить капиталовложения фирмы" и предложил мне довольствоваться только призовыми деньгами, да и то за вычетом определенной доли в пользу механиков и руководителя гонок.

Но я по-прежнему верил в себя, верил в свое счастье и дал согласие. Если буду стараться, подумал я, то заработаю немало даже на одних премиях. Мой прежний месячный оклад в размере двух тысяч марок все равно никак не соответствовал огромному риску, которому я себя подвергал. После недолгого и уже чисто формального разговора о размерах командировочных наш хитрый директор попросил секретаршу принести коньяк и мы чокнулись за успехи в новом сезоне.

В последующие годы я не раз вспоминал эти, казалось бы,

незначительные переговоры, от которых, как выяснилось, зависело очень много. Опасность моей профессии постепенно приучила меня ко все большей деловой неуступчивости, мне удалось приспособиться к безликому, холодному стилю разговора крупного промышленника, озабоченного только своими интересами.

Ясно, что после подобных переговоров не остается и намека на спортивный энтузиазм. Вечером того же дня в отеле я дал первые интервью журналистам. Газетная заметка под заголовком "Мерседес — Бенц" вновь ангажировала Манфреда фон Браухича" доставила мне несомненное удовольствие, и по этому случаю была распита бутылка шампанского. Кроме меня, контракт с этой фирмой подписал также Широн. Я не сразу понял смысл этой сделки. Но потом до меня дошло, что шансы на сбыт легковых и грузовых "мерседесов" во Франции возрастут, если Широн завоюет на машине этой марки первый приз, а вместе с ним — и бурные симпатии своих темпераментных соотечественников. Заветной мечтой хозяев фирмы была победа Широна в гонках на "Гран при Франции" и соответственно победа Фаджиоли в состязаниях на "Гранде премио ди Рома".

Правда, вся эта закулисная стратегия битвы моторов зачастую не выходила за пределы чистого теоретизирования, ибо она предполагала железную дисциплину в "автоконюшне", которая далеко не всегда действовала. Но как бы то ни было, во многих случаях гонщикам приходилось подчинять свои личные желания и надежды экономическим целям фирм.

Однако тогда я относился ко всему этому не особенно серьезно. Мне, "молодому человеку", несмотря на мою неудачу, все-таки удалось еще на целый год остаться за "большим столом". С нетерпением я ждал прихода весны, когда мне вновь предстояло испробовать свои силы на автодроме близ Монцы.

Перспектива сесть за руль моей 600-сильной машины и снова попытать на ней счастье была буквально всем содержанием моей жизни. Деньги, которые я мог бы попутно заработать, представлялись мне просто приятным дополнением к остальному; лишь с большим опозданием я понял, что в моей стране только солидный банковский счет — первая и главная предпосылка для всеобщего признания. Впоследствии это обстоятельство подчас производило на меня довольно сильное впечатление и я сам стал придавать ему все большее значение. Но пока я не знал этого, я чувствовал себя как-то счастливее. Ибо наивность почти всегда таит в себе известную степень счастливости.

Только этим можно объяснить мое почти полное равнодушие к нацистской свистопляске. Парад национал-социалистского

автомотокорпуса, устроенный в 1934 году на Нюрбургринге, не вызвал во мне ничего, кроме презрительной усмешки. Этот собранный с бору да с сосенки сброд в кожаных пожарных шлемах составил ядро будущего национал-социалистского автомотокорпуса, возглавляемого отставным майором саперных войск Гюнляйном, над чьими огромными шпорами и кавалерийскими сапогами потешались все гонщики и зрители.

В дальнейшем мы не раз узнавали от Нойбауэра о многих случаях нежелательного вмешательства нацистов в наши гоночные дела. Особенно куражился обергруппен-фюрер Краус, "правая рука" Гюнляйна, которому нравилось играть на конкурентной борьбе между "Мерседесом" и "Ауто-унион". Так, в 1935 году, после розыгрыша "Большого приза Германии" на Нюрбургринге, неудачное выступление Штука на машине "ауто-унион" он объяснил тем, что тому якобы нарочно мешал наш начинающий гонщик Ганс Гайер. А Гюнляйн, который вообще ничего не смыслил в автоспорте, во время подготовки к швейцарскому "Гран при" задним числом позволил себе грубо оскорбить Гайера, сделав ему грозное предупреждение. И главное — когда! Через час после того, как этот безупречно честный спортсмен перенес тяжелую аварию, едва не стоившую ему жизни. Нам, гонщикам, этот эпизод воочию показал не знающую пределов бесцеремонность нацистских бонз. До сих пор они нам не мешали, но теперь мы решили сплотиться. Вечером в отеле "Бельвю" предстояло торжество по случаю победы. Узнав, что Гюнляйн намеревается туда прийти, мы заявили: "Если он только появится, мы немедленно покинем зал!" Весть о нашем глубоком возмущении докатилась до холла, где уже ждал "Хайни со шпорами", как мы насмешливо называли Гюнляйна. В конце концов он уразумел, что к чему, и почел за благо незаметно удалиться.

Захватив власть, нацисты очень скоро взяли под свой контроль оформление так называемых гоночных лицензий. Все, кто не вступил в национал-социалистский автомотокорпус, лишались права участия в гонках и иных подобных мероприятиях. Поскольку фирма "Даймлер — Бенц" уплатила за нас вступительные взносы, мы автоматически стали членами этой организации. После каждой победы в зависимости от настроения корпсфюрера того или иного гонщика "повышали". Нам предложили носить изображение орла — государственную эмблему. Пришлось покориться и нацепить на грудь птичку, вытканную на лоскутке сукна. Правда, мы ее не пришивали, а прикалывали английской булавкой.

Однажды Караччиола и я получили от Гитлера приглашение

прибыть в Байрейт, где как раз проходил очередной вагнеровский фестиваль. Участвуя в гонках на "Большой приз Германии" — все на том же Нюрбургринге, — мы одержали двойную победу. Специальный самолет доставил нас из Кёльна в Байрейт. Гитлер хотел продемонстрировать общественности свою "заботу" об автомобильном спорте.

После собеседования и обычных поздравлений по поводу нашего "успеха во славу Германии" последовало неизбежное фотографирование с Гитлером для международной прессы. Все это организовал, а затем широко использовал Геббельс — этот мастер демагогической пропаганды.

Я хорошо помню свой разговор с Караччиолой, когда мы летели домой. Покачав головой, он сказал:

"Ведь мы с тобой уже не раз общались с нашим фюрером, и мои прежние впечатления сегодня подтвердились полностью: обычный смертный и не более того!"

"Да, если отвлечься от его своеобразного голоса, колючих глаз и какой-то жестокой воли навязывать всем свои концепции, — заметил я. — Только этим можно объяснить, что этому человеку удалось сосредоточить в своих руках такую власть! То, что он восхищается нами, Руди, вполне понятно. Вспомни испуг на его лице, когда мимо него на большой скорости промчался его же "мерседес" с компрессором!"

Особенно богатым и знатным покупателям новые машины обычно демонстрировали опытные гонщики. Со своей клиентурой директора компании "Мерседес" обращались не менее ловко, чем с нами. Кто бы решился отказаться от автомобиля, за рулем которого сидел сам Рудольф Караччиса! Такого бы, пожалуй, засмеяли.

Когда благодаря знакомствам с промышленными магнатами у Гитлера завелись деньги и он заказал себе у "Мерседес" свою первую шикарную машину с компрессором, Караччиоле поручили продемонстрировать ее. Вся наша бражка с любопытством ожидала, как понравится Гитлеру этот могучий, стремительный аппарат. Ко всеобщему удивлению, он не поинтересовался ни его мотором, ни устойчивостью. Прежде всего он осведомился, за что ему держаться, когда он будет ехать стоя. Больше он ни о чем не спрашивал и потребовал, чтобы при пробной поездке скорость ни в коем случае не превышала 60 километров в час.

Нацисты научились превосходно маскировать свою террористическую систему этаким флером буржуазной добропорядочности и строго следили за соблюдением декорума "правового государства". Нас — горстку автогонщиков — можно было сравнить с тонкой нитью в пестрой ткани. Все наши

публичные выступления, так же как выступления художников, писателей, артистов и спортсменов, ловко использовались в интересах международного престижа национал-социализма.

Летчица Элли Байнхорн на немецком спортивном самолете совершала тщательно подготовленные пропагандистские полеты. Всемирно известного дирижера Фуртвенглера нацисты всячески рекламировали как "истинно арийского" мастера. То же относится и к знаменитому музыкальному клоуну Гроку, к слову сказать дружившему с хозяевами фирмы "Мерседес". Геббельсовская пропаганда поднимала его на щит как образец "национал-социалистской культуры". Нельзя не упомянуть и Олимпиаду, проведенную в 1936 году в Гармише и Берлине с единственной целью — "убедить мир" в незыблемой прочности "нового порядка" в Германии.

Между прочим, в связи с открытием первой автомобильной выставки у меня была еще одна особая встреча с Гитлером.

Во время моего очередного зимнего отдыха в Баварии, когда я нанялся к одному крестьянину на лесоповал, пришла телеграмма Нойбауэра с просьбой срочно вызвать его по телефону. Почуяв неладное, я дал ответную телеграмму: "Браухич выехал с неизвестной целью" и отправился в Мюнхен, где, как всегда, остановился в отеле "Четыре времени года". Тишина и покой горного селения сменились шумом и суетой большого города. Но в конце второго дня, около конторки портье меня поймал посланец компании "Мерседес". В крайнем возбуждении он сообщил мне, что Нойбауэр по поручению дирекции вот ужо двое суток разыскивает меня по всей Германии и израсходовал на одни телефонные разговоры не менее 180 марок. Так почему же я прячусь, спросил он, когда речь идет о чрезвычайно важном деле. "Сегодня же вечером вы должны выехать. Я заказал вам спальное место. Утром вас ждут в Берлине на открытии автомобильной выставки".

Первый международный автосалон был устроен со всяческой помпой. Его организаторы решили выпустить меня с небольшой речью от имени промышленности и гонщиков. Мне надлежало... благодарить фюрера.

Я решил, что меня хватит удар. Публичные выступления подобного рода были мне в высшей степени неприятны, но у меня не было выбора.

Когда утром следующего дня я прибыл в Берлин, меня на особой машине немедленно доставили в выставочный павильон и усадили в отдельном кабинете. Здесь я не торопясь ознакомился с врученным мне текстом "моей" речи. Примерно через час я уже сидел во втором ряду президиума, совсем недалеко от Гитлера.

Впереди меня стояла трибуна для ораторов, а за ней, перед ней, около нее, над ней и даже под ней громоздилось множество динамиков и прожекторов. Теперь все это в порядке вещей, но тогда казалось весьма импозантным и производило впечатление. Мысль о необходимости выступить среди этого нагромождения аппаратуры внушала мне ужас. С сильно бьющимся сердцем я ждал условного знака, по которому должен был встать и пройти к трибуне. Примерно такое же волнение я испытывал перед гонкой: когда же наконец начнется! Но сразу после старта, после первого переключения скорости я становился абсолютно спокоен.

То же повторилось и в этот день. Я вышел под слепящий свет прожекторов и перед невидимой многомиллионной аудиторией радиослушателей поблагодарил за щедрое финансирование промышленности, доверявшей нам, водителям-гонщикам, отличные машины, на которых мы могли достойно представлять Германию на международных соревнованиях.

Эти слова я произнес, пожалуй, от чистого сердца, ибо все мои мысли вертелись вокруг гоночных автомобилей, и, по совести говоря, мне было совершенно безразлично за кого, для кого и благодаря кому я еду, я считал для себя честью выступать от имени всех гонщиков.

Ежегодно министерство пропаганды приглашало нас участвовать в автомобильном параде перед зданием имперской канцелярии на Вильгельмштрассе. Машины заводов "Ауто-унион" и "Мерседес" выстраивались по три в ряд. Около них стояли самые известные автогонщики, а руководители обеих команд, точно фельдфебели, застывали по стойке "смирно" впереди справа. Точно в назначенное время появлялся Гитлер в сопровождении большой свиты. Он здоровался с каждым из нас за руку, расспрашивал о здоровье и планах на предстоящий сезон.

Затем, приветствуемые бурными возгласами десятков тысяч зрителей, оглашая весь район ревом могучих моторов, мы проезжали по перекрытым полицией улицам к "функтурму" — знаменитой радиомачте около выставочных павильонов, где предстояло открытие автосалона. А чтобы никто из нас не устраивал на маршруте фокусов, впереди следовали две "белые мышки" — полицейские машины. Они задавали скорость движения и тем самым "притормаживали" нас. Но, едва выехав на асфальтовый простор у Браденбургских ворот, мы резко давали газ, вырывались вперед и, поднимая огромное облако пыли, в считанные секунды скрывались за горизонтом.

Немного позже, одетые в белые гоночные комбинезоны, мы, словно "пай-мальчики", чинно сидели на первых скамьях, с гордостью сознавая, что находимся среди "сильных мира сего", а

те с благожелательным изумлением разглядывают нас. Гитлер осматривал выставочные павильоны, как правило, не менее двух часов. Мы всегда уклонялись от "почетной обязанности" сопровождать его. Сбросив свои белые робы, мы смешивались с толпой штатских.

Однако протокол обязывал нас присутствовать на обеде, который Гитлер давал в своих личных покоях в Имперской канцелярии. Вспоминая эти обеды, я ничего не могу добавить к тому, что уже говорил о фюрере. Гитлер и его окружение казались нам порой несколько примитивными, но над этим мы себе голову не ломали.

Впрочем, в некоторых отношениях трапезы в Имперской канцелярии оказались довольно интересными. Гитлер был вегетарианцем. Я никогда не знал, что существуют на свете повара, умеющие приготовлять такие роскошные, такие поразительно вкусные вегетарианские блюда, какие сервировались здесь. Однако к столу подавали не только овощные салаты, но и мясные блюда, и гости, сидевшие за круглым столом, ели их без всяких стеснений.

Обед проходил в довольно официальной атмосфере. Застольных бесед почти не было. Лишь потом, за кофе, который пили стоя, натянутость постепенно рассеивалась. Гитлер переходил от одной группы гостей к другой и — на свой особый лад — везде заводил оживленный разговор.

Гюнляйн и его штаб пользовались благоприятным случаем, чтобы выпросить согласие Гитлера на осуществление тех или иных планов.

Беседуя с гонщиками, Гитлер вел себя непринужденно. Мы же в своем кругу откровенно отмечали, что почти все его гости ведут себя с каждым годом все более подобострастно.

В сущности, всегда говорил один "он" — остальные только одобряли его взглядами и жестами. Нам, достаточно искушенным, побывавшим во многих странах, эти приглашения на обеды к фюреру были в тягость, хоть они и считались весьма лестными для наших фирм, да и для нас самих.

Но, полные любопытства, мы интересовались всем, приглядывались и прислушивались ко всему и охотно разрешали коротышу Генриху Гофману, этому вечно потному, суетливому, но, безусловно, оригинальному лейб-фотографу, снимать нас отдельно или группами, с Гитлером или без него. Это нас всегда забавляло. А на другой день наши фотографии красовались на первых полосах газет с подписью: "Гонщики, недавно принесшие Германии столько славы, вчера были гостями фюрера".

Но, ничуть не кривя душой, прямо скажу, что каждая рюмка

коньяку или бокал вина, выпитые на собственные деньги в какой-нибудь берлинской пивнушке, доставляли нам несравненно большее удовольствие, чем самые изысканные напитки в резиденции фюрера.

Спасительная кружка пива

Настала зима, и как естественное следствие всех этих "государственных почестей" на нас посыпался град приглашений на приемы, празднества, балы и тому подобное. Это свидетельствовало о нашей популярности, но если бы мы стали принимать все приглашения подряд, то нам почти ежедневно пришлось бы совершать дальние доездки, и поэтому мы решили ограничиваться наиболее важными.

Так нам представилась возможность знакомиться с самыми разнообразными представителями "верхних десяти тысяч". Я начал понимать, что на свете существует бесконечное множество представлений о смысле жизни.

Многие из богачей были удивительно самоуверенны, собирались только в узком кругу "своих" и выказывали откровенное пренебрежение к людям скромного достатка. Такое презрение к "малым сим" было мне не внове — видел я его и в отчем доме, хотя, к чести своих родителей, должен сказать, что их холодок к людям недворянского происхождения нельзя было даже в отдаленной мере сравнить с отношением хозяев концернов к беднякам. Дома мы иной раз ели вместо масла маргарин, потому что не желали отказаться от кучера и лакея. Пожертвовать ими было никак нельзя — таковы уж были порядки нашего сословия. Но финансовая аристократия соразмеряла степень своего уважения или презрения к людям только и единственно с их банковскими счетами. А коли нет у тебя такого счета, так ты и вовсе не человек.

Довольно скоро я усвоил, что хотя мое дворянское имя и ценится в этих кругах, оно само по себе не привлекало бы особого внимания, если бы не сочеталось с блестящей славой удачливого автогонщика.

В нашем доме людей встречали по высокородности, здесь же — только по деньгам. Это вынуждало меня к какой-то внутренней перестройке, которая, впрочем, ввиду моих успехов далась мне не так уж трудно.

С особой симпатией относился ко мне председатель правления акционерного общества "Даймлер — Бенц" доктор фон Штаус. Для меня это было вдвойне существенно, ибо, занимая этот пост, он являлся начальником моего генерального директора д-ра Кисселя, а вдобавок возглавлял "Дойче банк" в Берлине. Мой

престиж заметно вырос. При переговорах с штутгартскими заводчиками ссылка на мое знакомство с Штаусом срабатывала, как первоклассная визитная карточка.

В моем представлении образы банкира и мясника сливались воедино: мне виделся кряжистый мужчина с сильными длинными руками и угловатым жестким лицом. Однако председатель "Дойче банк" — этого могущественного финансового предприятия — выглядел совсем иначе. Эмиль фон Штаус был среднего роста, круглолиц и полноват, широкоплеч и с короткой шеей. Звучание его голоса выражало стремление властвовать, нетерпимость и безоговорочное желание всегда быть в центре общего внимания. Его облик и манера держаться свидетельствовали о спокойном самообладании и чувстве превосходства, но нисколько не выдавали в нем хладнокровного и расчетливого денежного туза. Этот не лишенный некоторого обаяния господин, пользующийся успехом у женщин, скорее походил на какого-нибудь состоятельного помещика или фабриканта из-под Магдебурга.

Благорасположение д-ра фон Штауса ко мне проявлялось в удивительно частых приглашениях на его в высшей степени шикарную виллу в Грюневальде. Там я был желанным гостем не только по причине симпатий со стороны хозяина дома, но и благодаря известной сенсационности, которой овеяно имя любого знаменитого спортсмена.

Сообразно своему положению этот на редкость бойкий человек вел себя как бесстрастный делец, но в частных разговорах я все же обнаружил в нем и дружелюбие и даже какую-то теплоту во взгляде. Весьма искусный в переговорах, он слыл за делового партнера, прошедшего сквозь все огни и воды большого бизнеса. Его рослая, всегда элегантно одетая жена отличалась от своего по-светски приветливого супруга не только внешне. В зависимости от настроения она относилась к гостям то с легким небрежением, то откровенно свысока. Всякий раз я преподносил этой даме огромный букет цветов, надеясь заставить ее если не улыбнуться, то хотя бы подарить мне дружеский взгляд. Но это мне так и не удалось. К моему полному огорчению, она всегда коротким движением руки передавала мои дорогие цветы ближайшему к ней слуге, который так же равнодушно совал их в одну из многочисленных ваз, расставленных вокруг.

Как я узнал впоследствии, фрау фон Штаус происходила из крупной династии стальных королей. Не знаю, может быть, владельцы сталелитейных заводов становятся сами как бы стальными. С плохо наигранным приличием она неизменно давала мне почувствовать, что я только лишь "бедный дворянин". Всем своим видом она показывала, что смотрит на эти приемы

только как на деловую обязанность своего мужа.

Ледяная атмосфера дома фон Штаусов ощущалась даже в выражении лица лакея, открывавшего дверцы подъезжающих автомобилей. Как сейчас, помню ужас в его глазах, когда он увидел, что я приехал без шофера и, следовательно, должен был сам поставить машину на стоянку и затем пешком пройти мимо него в дом.

Физиономия этого лакея просто изумила меня. "Неужели человек по долгу службы обязан так брезгливо морщить лицо?" — спросил я себя.

Наглаженный и раздушенный, как и полагается при посещении подобных бастионов роскоши, я вошел в гардероб. Две чистенькие горничные в наколках и с каменно-серьезными лицами стояли наготове, чтобы принимать у гостей верхнюю одежду. Отсюда слуга в белых перчатках провел меня в гостиную, где десять или двенадцать дам и мужчин уже вели оживленные разговоры.

Хозяин дома двинулся мне навстречу. Внимание, паркет, как каток, невольно подумал я. Одна необдуманная фраза, одно неловкое движение, и грохнешься на пол. Тут не отделаешься безобидным переломом бедра — шею сломаешь!

Хозяин представлял друг другу гостей, которые двигались, точно марионетки. Мое внимание привлекли три имени. Абс и Гетц — два директора "Дойче банк", и Фриц Тодт — тогда генеральный инспектор германских автомобильных дорог.

В доме моих родителей я не раз наблюдал чванную церемонность, свойственную прусской знати. Но там бывали оттенки. Аристократы — как мне помнится — в подобных случаях довольно скоро освобождались от этого противоестественного состояния какого-то полуоцепенения. Но господа финансисты, лишенные всяких традиций, в этом отношении, по-видимому, старались перещеголять даже аристократов...

Вошел пожилой лакей с массивным серебряным подносом и начал обносить гостей аперитивами для возбуждения аппетита. Таков официальный ритуал начала трапезы.

Со скучающими постными лицами гости проследовали к столу — никто из них не пришел сюда в предвкушении каких-то особенных кулинарных изысков, и все меню, состоявшее из всевозможных закусок, супов, лягушечьих лапок, цесарки, сыра и мороженого, не вызывало заметного восторга. Разговор за обедом шел почти исключительно об изобретениях.

Бауман, директор концерна "Осрам", то и дело прерываемый смехом и аплодисментами, рассказывал о совместных усилиях воротил электропромышленности присвоить одну "опасную вещь".

"Этот изобретатель, по правде говоря, законченный идиот, — сказал он. — Вздумал, видите ли, взять патент на свою бредовую выдумку. Нам пришлось крупно раскошелиться, чтобы избавиться от этой напасти. Вы просто не поверите, о чем шла речь. Маленькая, но, как говорят, удаленькая вещичка. Крохотная, но преотличная — для него, конечно, не для нас! Короче говоря, лампа накаливания, выдерживающая прямо-таки огромные нагрузки. Нам эта скверная шутка совершенно ни к чему, господа, сами понимаете! Пусть люди продолжают покупать наши милые, маленькие лампочки, которые время от времени перегорают и, так сказать, испускают дух!"

После обеда хозяин увел меня в тихий уголок своей библиотеки и спросил, не испытываю ли я затруднений по поводу выгодного помещения моего капитала.

"Деньги надо заставить работать, надо заставить их приумножаться, — заметил он. — Я достану для вас новейшие акции компании "Даймлер — Бенц". Сколько вы хотите вложить — 10 000 или 30 000 марок или больше? Эти акции еще не поступили на рынок, с их помощью вы сможете в короткий срок утроить ваш вклад".

Руководитель "Дойче банк", он, конечно, знал, что говорил!

Вот, значит, как "делают" деньги, вот как их зарабатывают, не шевельнув пальцем, подумал я. Да, связи действительно необходимы!

Предложение показалось мне блестящим! Я внимательно выслушал и тут же записал эти и другие интересные указания относительно промышленных облигаций и вдруг почувствовал себя в каком-то таинственном мире...

Господин фон Штаус был в превосходном расположении духа и, видимо, поэтому и соблаговолил подсказать мне столь многообещающие биржевые ходы. Мне показалось, что мой энтузиазм слегка удивил моего собеседника, этого крупного промышленного и банковского босса, полновластно распоряжавшегося судьбой сотен тысяч рабочих. Биржевые операции были для него чем-то вроде хлеба насущного, и этими пустяковыми инструкциями он просто хотел показать мне свою благосклонность.

Во мне он особенно ценил напористость и смелость, не сломленные рядом несчастных случаев. Смеясь, он с какой-то гордостью представлял меня иногда как "артиста", который всегда ухитряется в последний миг "выскользнуть из объятий костлявой смерти".

Вдобавок я был аристократ и подходил к его кругу, а впоследствии имя Браухич стало еще более притягательным, ибо

член нашей семьи, Вальтер фон Браухич, стал главнокомандующим сухопутных сил. Возможно, тщеславный финансист подозревал меня в тайном благоговении перед его персоной и наслаждался терпеливым вниманием, с которым я выслушивал его затяжные монологи. Как и многие другие люди его ранга, Штауе пристально следил за опасными маневрами нацистской системы. Ему были знакомы зловещие порядки этой партии, именовавшей себя "рабочей". Совесть этого банкира, и без того огрубевшая от тысяч финансовых махинаций, теперь окончательно покрылась твердой коростой, и он закрывал глаза на все, что творили СА и СС. Хоть он и осуждал жестокие нацистские методы, однако, по всему судя, считал нужным, несмотря ни на что, вверить нацистам судьбы немецкого народа. Гитлеру так непостижимо, так ошеломляюще везло, что, казалось, все пойдет на лад. В это бурное время стоило подумать и о собственных шансах на удачу. Едва почуяв приближение крупного военного бизнеса, ведущие концерны без промедлений, с развевающимися знаменами перешли на сторону Гитлера. Промышленный магнат Эмиль Кирсдорф еще с 1927 года помогал ему заводить знакомства с первыми капиталистами Германии, капитанами тяжелой промышленности. Своей щедрой поддержкой частной промышленности и грандиозной программой перевооружения Гитлер заручился симпатиями стальных королей. Тяжелая промышленность без колебаний последовала за человеком, гарантирующим ей сбыт продукции и расширение сферы ее могущества.

Австрийский ефрейтор обещал этим истинным хозяевам Германии баснословные прибыли, и обещания его сбылись. Трижды на монополии пролился золотой дождь: при вооружении армии в процессе подготовки к войне, в годы массового истребления народов в связи с необходимостью компенсации неимоверных материальных потерь и, наконец, после войны, когда началось восстановление разрушенных предприятий.

Тогда я обо всем этом не знал ровно ничего. Я был желторотым птенцом, не разбирался даже в, казалось бы, безопасной и очень удобной игре на бирже. До тех пор мне удалось только лишь заложить фундамент моего состояния. Теперь же я стал помышлять о "наивыгоднейшем" помещении моих доходов от гонок, причем на мою долю выпала редкостная удача: кто-то давал мне честные, доброжелательные и бескорыстные советы.

Конечно, я знал, что существуют акции, но никогда не думал всерьез об их приобретении, не говоря уже о перепродаже. И вдруг — утроить свой вклад! Я подсчитывал: верные, надежные

акции дадут мне капитал, равный вознаграждению за две победы. Правда, я действительно гонялся за победами, во что бы то ни стало хотел "остаться на трассе", но в этот вечер мне впервые пришла в голову поразительная мысль: можно зарабатывать деньги и при этом не сидеть за рулем. Я даже разозлился: другие в качестве зрителей на гонках зарабатывают в это время больше, чем я, вкладывающий в состязание все свои силы и нервы, да еще вдобавок ежесекундно рискуя жизнью.

Как же я мог не завидовать этим людям, которые без всякого риска так здорово наживались? Правда, они не были знамениты, но долго ли смог бы я поддерживать свою славу, когда опасности, одна страшнее другой, подстерегали меня со всех сторон? И что же меня ожидало дальше? Разве мог я рассчитывать на безбедную жизнь, отказавшись от опасной игры с сотнями лошадиных сил?.. Я старался отогнать от себя эти невеселые мысли.

После такого "доходного" разговора с д-ром фон Штаусом я подсел к Вольнеру, остроумнейшему начальнику отдела рекламы фирмы "Катрайыер". Он мастерски рассказывал всякие истории насчет обмана покупателей, причем я так и не понял, выдуманы они или правдивы. Затем он стал выдавать тайны торговой пропаганды. Его внимательно слушали все, в частности известная танцовщица Марика Рокк, звезда очередной программы варьете "Скала", и Майер, крупный коммерсант в области продовольственных товаров, владелец сорока процветающих филиалов. Возможно, слушая Вольнера, они прикидывали, нельзя ли использовать какую-нибудь из его рекламных идей в собственных интересах. Впрочем, свои самоновейшие и лучшие задумки Вольнер, несомненно, "придерживал". В этих кругах искусство умолчания ценилось не менее высоко, чем соблюдение этикета. А Вольнер был безупречен и в том и в другом.

Я внимательно приглядывался и к прислуге. Особенно мне запомнился старший слуга. Наблюдая этого пожилого седовласого человека, который походил на чистокровного герцога и держался как истый лорд, я поневоле начал сравнивать себя с ним. И он и я служили одному и тому же хозяину. У нас, правда, были различные задачи, но сущность нашей деятельности была вполне однородна. Он и его коллеги заботились о неизменно приятном каждодневном быте их шефа. А я, ставя на карту свою жизнь, помогал ему содержать эту виллу со всей ее челядью. Это сравнение не понравилось мне, и я попытался поскорее о нем забыть.

Совсем близко от меня за столиком из красного дерева сидела хозяйка дома в обществе нескольких почтенного возраста господ крайне благопристойного вида. Когда к ним подсел

главный начальник имперских автострад, мы тоже присоединились к этому кружку.

Респектабельный и чванливый Гетц с редкостным цинизмом рассказывал о крупнейшей афере, успешно проведенной его кредитным банком в разгар инфляции 1923 года. "Схваченные за горло нуждой, люди соглашались на любую процентную ставку, которую мы требовали, а ставки эти были для них более чем неприятны!" — заявил он и, повернув голову к фрау фон Штаус, добавил: "Милостивая государыня, вы ведь знаете мой дом, мою обстановку. Так вот — все это я приобрел во время инфляции за кусок хлеба с маслом. Тогда одни теряли миллионы, а другие приобретали их!"

"Для населения это были, конечно, тяжелые времена, — проговорил Абс, одна из главных фигур "Дойче банк". — Но такое кровопускание и этот своеобразный подрыв народного благосостояния оказались просто необходимы. Они помогли нам сбалансировать немало военных убытков, вызванных нашим поражением в 1918 году. В таком деле главное — чутье и дар предвидения".

"Дорогой господин Абс, — вмешался фон Штаус. — Мы здесь не станем рассматривать в лупу ваши военные убытки. Как мне известно, в войну 1914—1918 годов его величество великий король Вильгельм дал вам неплохо заработать, а ваши связи с англичанами, которые вы с присущим вам благоразумием сумели сохранить даже в разгар военных действий, оказались для вас великолепной перестраховкой, и они заранее обеспечили вам все, что нужно, независимо от исхода событий".

Все расхохотались, мы подняли рюмки с коньяком и выпили за общее благополучие.

"Для полноты картины позволю себе добавить, — сказал хозяин дома, многозначительно посмотрев на сидевшего рядом с ним Фрица Тодта, — что и сегодня можно делать неплохие дела".

Банковский директор д-р Гонтерд одобрительно кивнул.

"Достаточно вспомнить об автострадах", — поддержал он мнение своего коллеги.

"Предварительное финансирование их строительства и связанные с этим компенсации — немалый куш для каждого из нас. Поэтому мы охотно прощаем вам вашу хитрость, господин Тодт. Очень хорошо, что вы сделали из Гитлера "изобретателя" автострад, а сами наживаете на этом проекте очень неплохой политический капитал",— добавил Штаус, улыбаясь Тодту.

Последний патетически всплеснул руками и зашумел:

"Нет, нет, господа! Сказка о том, будто фюреру пришла в голову мысль о строительстве автострад, выдумана не мною. Но не будем разрушать легенду имперского министра пропаганды д-ра Геббельса. Люди охотно слушают подобные вещи. Однако в действительности все было несколько иначе".

Эти слова не вызвали особых эмоций среди гостей, и Тодт решил высказаться подробнее:

"6 ноября 1926 года, когда я еще был техническим руководителем одной немецкой дорожно-строительной: фирмы, во Франкфурте-на-Майне была основана ХАФРАБА. Первый проект этого объединения, членами которого были провинции, города, промышленные и торговые союзы, фирмы и частные лица, предусматривал строительство крупной автомобильной дороги между Франкфуртом и Базелем. Уже были определены технические подробности, например ширина шоссе и мостов, устройство путепроводов и съездов. Для обозначения новой дороги кто-то уже предложил слово "автострада". С 1931 года газета нашего объединения так и стала называться "Аутобан" — "Автострада". Однако имперское министерство путей сообщения не признавало преимущества подобных магистралей и опасалось, что их эксплуатация нанесет финансовый урон железным дорогам.

Рейхсвер также забраковал проект автострад, заявив, что в случае войны они облегчат вражеской авиации: ориентировку. В 1930 году, в день, когда в рейхстаге предстояло голосование по законопроекту относительно планов ХАФРАБА, наш парламент был распущен. И если бы не это злополучное обстоятельство, мы бы еще до 1933 года сдали в эксплуатацию сотни километров автострад.

Вскоре после своего прихода к власти Гитлер решил развернуть огромное дорожное строительство, чтобы хоть частично смягчить ужасающую безработицу.

27 июня 1933 года он издал закон о создании предприятия "Имперские автострады", а осенью, точнее, 23 сентября вынул первую лопату на участке Франкфурт — Мангейм.

Будучи генеральным директором германских автомобильных дорог, я нес полную ответственность за эти работы, но ни сегодня, ни в будущем не должно создаться впечатление, что именно я строил автострады. Все они должны называться "дорогами фюрера". Сотням тысяч рабочих, которые с киркой и лопатой вышли на бой с миллионами кубометров грунта, наша национал-социалистская пропаганда будет внушать легенду о том, как Адольф Гитлер "изобрел" автострады.

Но все мы охотно подчиняемся желаниям фюрера, ибо гордимся возглавляемым им движением".

По дороге домой я перебирал в памяти встречи и разговоры в доме фон Штауса. Кто бы подумал, что я вдруг попаду в такое именитое общество? Но что же, в сущности, отличало этих людей от прочих смертных? Банковские счета — больше ничего. Но именно они решали все. А все их мелкие ухищрения, их старания любой ценой импонировать друг другу могли вызвать только улыбку. В общем, люди, самые что ни на есть обычные люди! Рассказ про автострады заинтересовал меня как гонщика. Прежде я не знал, что речь шла о старом проекте и что рейхсвер был против него. Рейхсвер? А при чем тут он? Впрочем, конечно! Стратегические соображения! Ими определялось все...

После аристократического обеда меня вдруг неудержимо потянуло на "пиво с прицепом" — хотелось "смыть" все неприятные ощущения, навеянные этим "высшим обществом". Поэтому я направился в артистический кабачок матушки Хопман на Кантштрассе. Хозяйка потчевала своих гостей банальными, но невыразимо вкусными свиными ножками с квашеной капустой, а то просто сардельками. К еде автоматически подавалась первосортная пшеничная водка и пиво. Выдающимся посетителям, например поэту Рингельнатцу или профессору художнику Касбергу, известному анималисту, полагалось пильзенское в бутылках. Увидев Макса Шмелинга и знаменитого тогда теннисиста Готфрида фон Крама, я подсел к их столику. Все вокруг тонуло в густых клубах табачного дыма. На эстраду вышла Цара Леандер и запела что-то своим низким грудным голосом. Какое же это было наслаждение слушать ее!

В общем, здесь все было далеко не так "благородно", как у Штауса, но зато очень здорово!

Мы решили развлечься занятными историями. Жребий пал на меня. Я вспомнил несколько веселых эпизодов из моей спортивной жизни — их было бесконечно много. Так, например, среди гонщиков концерна "Ауто-унион" установился такой обычай: в конце сезона, после подписания контрактов на будущий год, устраивать грандиозные пирушки в ресторане. Каждый из четырех главных гонщиков поочередно приглашал своих коллег, которым разрешалось есть и пить все, что вздумается и сколько захочется. Как правило, эти кутежи происходили в Северной Италии, в период опробования новых машин. Местом действия был ресторан высшего разряда, где собирались Руди Хассе, некогда широко известный гонщик-мотоциклист Г. П. Мюллер, швейцарец Кристиан Кауц и итальянская автозвезда Тацио Нуволари.

Не считаясь с ценами, все заказывали одно блюдо за другим, и через несколько минут столик ломился от устриц, черной икры и других закусок. Основное меню составляли изысканнейшие кушанья. Бойкие официанты как угорелые сновали менаду нами, буфетом и кухней, приносили на огромных подносах самые дорогие яства и вина. При этом гонщики придумали такую шутку: когда было съедено и выпито на 500 марок, угощающий получал право вдеть в бутоньерку красную гвоздику. Однажды в Милане Тацио Нуволари украсил себя целыми тремя гвоздиками — счет перевалил за 1500 марок. Он сидел с гордо поднятой головой и счастливой улыбкой на лице, а его товарищи уже почти не подавали признаков жизни. Но это более чем расточительное пиршество ничуть не смутило щедрого Тацио. Он знал — премия за победу на будущих состязаниях с лихвой перекроет этот расход.

Однажды после проигранной гонки Караччиола, Ланг, англичанин Симэн и я лихо разыграли нашего шефа толстяка Нойбауэра. Недовольный неудачным выступлением своей команды, он не пожелал явиться на традиционный товарищеский ужин. Тогда в свою очередь разозлились и мы. Нам удалось разведать, в каком ресторане он намеревался провести вечер, и мы поехали туда. Нойбауэр еще не успел покончить с закуской, как я подсел к его столику и заказал себе какое-то особенно дорогое фирменное блюдо. Вскоре к нам присоединился улыбающийся Герман Ланг со своей супругой Лидией. Затем Караччиола с женой, которую мы ласково называли Бэби, наш инженер Уленхаут и, наконец, Дик Симэн со своей Эрикой. Короче, подобрался "полный комплект". Все удивлялись "случайности" этой встречи, без конца пили за нее и предавались откровенному обжорству.

С наслаждением мы наблюдали, как все больше вытягивалось лицо Нойбауэра, почуявшего подвох, как он все сильнее нервничал. Вскоре после полуночи Караччиола как ни в чем не бывало объявил ему от нашего имени: "Альфред, платить по счету будете вы!" Бедный Нойбауэр! Никакие протесты ему не помогли, с тяжким вздохом он достал свой бумажник...

Постоянная опасность, грозившая нам па тренировках и гонках, порождала необычно сильную потребность веселиться в свободное время. Все хотели вести себя как бог на душу положит.

Бернд Роземайер и руководитель команды "Ауто-унион" Вильгельм Себастиан придумали себе особую забаву: пользуясь небольшим электромагнитом, они частенько вызывали среди друзей и знакомых страшный переполох.

Ганс Штук и его жена Паула никогда не разлучались со своим

жесткошерстым терьером Крэком. В отеле они устроили ему удобное ложе на небольшом матраце. Перед вечером Себастиан и Майер, прокравшись в номер Штуков, намочили матрац водой и подключили к нему свой электроаппарат, перебросив тонкий провод через перила балкона. Ночью, когда супруги Штук спали сном праведников, злоумышленники крутанули сбою машинку и бедная собачонка подверглась мгновенному и довольно сильному электрошоку. Терьер дернулся как ужаленный, с пронзительным воем пронесся по комнате и забился в угол. Разбуженные муж и жена вскочили с постели, кинулись к любимому псу и спросонья стали его успокаивать. Но едва дрожащий от испуга Крэк был водворен на прежнее место, как повторилось то же самое. Только теперь Ганс Штук обнаружил два провода и понял, "где зарыта собака"...

Широн, уроженец Монако, один из лучших гонщиков Франции, редкостный ценитель тонкой кухни, придумал другой способ пугать мирных граждан: он затыкал выхлопные трубы автомобилей самыми неожиданными предметами и, по его словам, всякий раз добивался "огромного успеха". Однажды, когда я включил зажигание, сзади взорвалась дымовая шашка. В машину какой-то любовной парочки, собравшейся на прогулку в Булонский лес, он ухитрился втиснуть — между мотором и выхлопом — жирную малосольную сельдь.

"В условиях предполагаемого зловония эти молодые люди сегодня наверняка не станут предаваться любви",— заявил он с радостной ухмылкой...

Так мы и развлекались в эту ночь, без конца рассказывая друг другу глупые и смешные истории. Лишь на рассвете я добрался домой, думая о напыщенной фрау фон Штаус, но больше об акциях, предложенных мне ее супругом...

Кулак против кнута

Как ни приятно купаться в лучах славы, она чревата также и немалыми огорчениями. Именно это мне и пришлось обнаружить.

Свой зимний отпуск в январе 1936 года я вновь провел вместе с братом в отеле Бракенхофера в Урфельде, у озера Вальхензее. Накануне нашего отъезда хозяин устроил прощальный ужин. Надвигался новый гоночный сезон с его новыми опасностями, и никто не мог с уверенностью сказать, доведется ли мне в будущем году снова увидеть любимое горное озерко.

За столом царило всеобщее веселье, разговоры почти сплошь вертелись вокруг деревенских сплетен. Так мы заговорили про охотничий домик руководителя "Гитлерюгенд" Бальдура фон Шираха. Домик этот стоял на горном склоне, всего в нескольких

сотнях метров от отеля Бракенхофера. Обычно там жили только жена и дети фон Шираха. По всей округе шли толки о любовных похождениях этой вельможной дамы. Стали беседовать о ней и мы, не обращая внимания на ее горничную, сидевшую за нашим столом.

Утром, когда мы завтракали в последний раз, собираясь тотчас же двинуться в путь, в трактир ворвалась разъяренная как фурия и красная как рак фрау фон Ширах. Она подбежала ко мне и принялась угощать меня пощечинами, приговаривая, что вот, мол, горничная доложила ей о моих непочтительных замечаниях по ее адресу. Я в ярости вскочил с места и попытался ухватить ее за руку, но, словно взбесившись, она вырвалась и так же внезапно исчезла, оставив всех нас в состоянии необыкновенного возбуждения...

В тот же день я прибыл в Берлин. Утром, когда я выходил из своего дома, к нему подкатила служебная машина молодежной организации "Гитлерюгенд", из нее вышел адъютант и попросил меня принять рейхеюгендфюрера для короткого разговора. Мне очень хотелось внести ясность в это неприятное дело, и я сказал, что буду ждать его у себя. Немного спустя в коридоре раздался громкий топот, дверь распахнулась, и в комнату вошел Ширах, сопровождаемый пятью эсэсовцами. Он подошел ко мне вплотную и рявкнул: "Вы подлая сволочь!"

Мгновенно, с присущей автогонщику молниеносной реакцией я влепил ему пощечину. Тогда он вытащил из кармана пальто собачью плетку и принялся меня стегать.

Одновременно его спутники потянулись за пистолетами. Тут мой брат, стоявший за моей спиной, резко рванул меня на себя и выволок из комнаты. Вся эта сценка разыгралась в несколько секунд. Точно привидения, незваные гости быстро покинули мою квартиру. Брат уложил меня на постель и начал прикладывать примочки на кровоподтеки. Потом мы услышали крики и сильный стук. Это была наша мать. Ошарашенные всей этой кутерьмой, мы совершенно забыли про нее. Оказалось, что, прежде чем напасть на меня, эсэсовцы заперли ее в одной из комнат и забрали ключ. Мы нашли его в конверте, который налетчики, уходя из дома, бросили у парадной двери.

Мы освободили нашу переволновавшуюся маму и стали советоваться, как быть дальше. Как вообще вести себя в подобном случае? Обратиться в полицию? Или ответить тем же — напасть на Шираха и избить его? Было нелегко решиться на что-нибудь.

Я отправился к старому знакомому нашей семьи, бывшему генералу. Узнав о происшедшем, он нахмурился. Его представления о чести подсказывали один-единственный выход:

стреляться на пистолетах! Мне это показалось довольно старомодным, особенно ввиду откровенно бандитского характера нападения. Да и кто бы осмелился вызвать на дуэль столь важное лицо? После долгих раздумий я обратился к одному из своих друзей по службе в рейхсвере, адвокату д-ру фон Биркхану с просьбой передать фон Шираху мой вызов. Немного подумав, Биркхан согласился. Каково же было мое удивление, когда, вернувшись, он заявил, что вызов отклонен. Бальдур фон Ширах струсил!

Это мне придало храбрости, и я подал в суд жалобу, требуя компенсации за телесные повреждения, нарушение домашнего покоя и коварное нападение. Суд принял мой иск и назначил дату его рассмотрения.

Но прежде чем дело дошло до публичного процесса, меня внезапно вызвали в Имперскую канцелярию, где обергруппенфюрер СА Брюкнер, один из адъютантов Адольфа Гитлера, предложил мне пойти на прием к имперскому министру юстиции д-ру Гюртнеру. Мы беседовали с ним около часа, и мне пришлось пойти на компромисс. Министр заверил меня, что я получу от Шираха письменное извинение. Гестапо расследовало эту историю: по словам горничной и других участников разговора в трактире, речь шла о замечании, сделанном не мною, а моим братом. Министр попросил меня никого не информировать об этой истории, но слухи о ней уже давно и широко распространились. Меня отнюдь не обрадовала полученная из Парижа газета с поистине сенсационным заголовком: "Автогонщик дал пощечину руководителю имперской молодежи".

В немецких газетах я ничего об этом инциденте не прочитал. Пресса не сообщила о нем ни слова. Никому не хотелось портить отношения с Ширахом. Представители "хорошего общества" сочли благоразумным временно не приглашать меня в свой круг. Я со своей стороны был совершенно бессилен, даже не мог никому объяснить, что причиной всему — недоразумение: министр юстиции приговорил меня к молчанию. Но хоть я и чувствовал себя ущемленным, мое беспокойство по этому поводу быстро улеглось. Я твердо знал — еще несколько побед на международных гоночных трассах, и приглашения в роскошные салоны вновь посыплются в мой почтовый ящик.

Все мои мысли опять сосредоточились на предстоявшем спортивном сезоне.

Когда замирает рулетка

Козырь для почетного возвращения в "общество" я вытянул в Монте-Карло — знаменитом городе азартных игр на Лазурном

берегу.

До сих пор на Ривьере фортуна была ко мне немилостива, если не считать того, что годом раньше мне там фантастически повезло при групповом столкновении. На повороте за тоннелем следовавшие передо мной четыре машины занесло на масляной луже. Я тоже пошел боком и с огромной силой врезался в борт итальянца Фарина. Тот в свою очередь намертво вклинился в автомобиль, находившийся перед ним. Буквально за мгновение до того, как мчавшийся следом за мной гонщик ударился в мою машину, я чудом ухитрился выброситься "ласточкой" и очутился в безопасности. Через долю секунды кормовая часть моего аппарата, включая кабину с сиденьем, оказалась сплющенной, как гармошка. Шесть совершеннейших, очень дорогих гоночных машин с двигателями общей мощностью в несколько тысяч лошадиных сил приказали долго жить. Они причудливо смешались в массу искореженного металла, образовав маленькое автомобильное кладбище.

Конечно, везение или неудачу не запланируешь, но на сей раз я настроил себя только на успех. Я решил покорить счастье.

Монте-Карло был празднично разукрашен, повсюду на больших табло и транспарантах рекламировались имена гонщиков и марки их машин, отобранных для "дьявольской карусели" в сто кругов.

Невольно я вспоминал, каким жалким и никому не нужным я казался самому себе еще только несколько лет назад, когда я впервые затормозил у подъезда монтекарловского "Отель де Пари" и высоченный швейцар-негр в пестрой ливрее открыл дверцу моего "мерседеса" с компрессором. Тогда мир денег представлялся мне страшноватым и таинственным.

Но за годы общения с богатыми людьми, непрерывных разъездов по различным странам, остановок в роскошных отелях я постепенно привык к этой атмосфере.

Уже входя в отель, расположенный прямо напротив шикарного казино, вы как бы начинаете вдыхать какой-то особый "светский" воздух. Везде дорогие ковры, хрустальные люстры, плюшевые гардины — атрибуты "изящной" жизни и великосветского авантюризма. В общем, никакого сравнения с отелями того же класса в Германии.

Из окон люкса, заказанного для меня фирмой, открывался великолепный вид на порт и часть гоночной трассы. Здесь я чувствовал себя как нельзя лучше.

Словно маленькие обезьянки, во все стороны деловито сновали грумы в ярких цветных мундирах. Мельком взглянув на чемоданы, наметанным глазом определив их марку и стоимость,

носильщики прикидывали возможные размеры чаевых.

В этом богато обставленном отеле находятся "охотничьи угодья" игроков. Порой кто-то из них, очутившись в обществе "породистых дам", просаживает огромные деньги, "заработанные" накануне в рулетку. Упиваясь кратковременной роскошью своего бытия, картежники, точно какие-то князья, "небрежно и величественно" ступают по персидским коврам. Но, проигравшись дотла, они одалживают деньги у кого только удастся, впрочем, опять-таки "соблюдая вид". И никому не придет в голову, что, если перевернуть их вниз головой, из их карманов не выпадет ни пфеннига. Проходимцы такого сорта весьма типичны для этого мира игры и легкомыслия, а их взгляды и привычки роднят их с уголовниками.

Иным жизнь за массивными вращающимися дверьми дорогого отеля представляется сказкой, но это далеко не так. Смуглый бармен за стойкой такой же человек, как и всякий другой. Персонал отеля — директор, портье, швейцар и все остальные — день и ночь напряженно трудится. Они обязаны предупреждать малейшие желания гостей, которые, как правило, разговаривают с ними свысока...

Совсем по-иному жили здесь мы, гонщики, люди изнуряющей, очень тяжелой профессии. Уже на второй день начались тренировочные заезды и снова надо было обуздывать сотни "лошадей".

Сумасшедший треск и грохот наших высокооборотных моторов вырвал залежавшихся ночных гуляк из объятий сна. Выйдя на свои балконы, они с ленивым любопытством глядели на проносившихся мимо них "рыцарей баранки". Но нам не было никакого дела до "цариц ночи" и их кавалеров. Очень сложный, очень опасный маршрут требовал от нас предельной внимательности. Во время тренировки мне удалось побить рекорд и показать лучшее время дня, и это придало мне уверенности. Но я едва не поскользнулся на масляных пятнах, оставшихся от автобусов. Вообще эти масляные "катки" на горном участке доставили нам немало хлопот. Именно здесь скорость достигала 190 километров в час, и войти в первый поворот у казино можно было только после самого резкого торможения.

Итак, результаты тренировки меня обрадовали. Приняв ванну, я не спеша завтракал в своем просторном светлом номере. Раздался стук в дверь. Вошел отельный грум, держа поднос, на котором лежала визитная карточка Гайнца фон Зигеля, моего обер-лейтенанта — наставника из дрезденского военного училища. Он просил назначить ему встречу. Я удивился. Что могло привести этого старого офицера рейхсвера в Монте-Карло?

Я велел передать ему: "Не позднее 17 часов", чтобы не нарушить свой режим, который предусматривал вечернюю прогулку и ранний отход ко сну. Неужели он ушел в отставку? — подумал я. Казалось, солдатская жизнь вошла в его плоть и кровь, и я просто не мог себе представить, как этот элегантный фон Зигель может утвердиться в положении штатского человека. С каким восторгом рассказывал он мне когда-то, еще в конце первой мировой войны, о своем производстве в офицеры. Неоперившимся птенцом он пережил отступление разбитой германской армии. Дезертирство обожаемого монарха глубоко огорчило его. С гордостью он подчеркивал, что офицеры его полка не уронили своей чести и достоинства вплоть до возвращения в родной гарнизон. Впоследствии он одним из первых вступил в союз своих бывших однополчан. После кратковременного пребывания в добровольческом корпусе его зачислили в рейхсвер и назначили офицером-наставником военного училища в Дрезден-Нойштадте, где мы и познакомились. Мне понравилась его вежливость и приветливость, выгодно отличавшиеся от чопорной, типично прусской корректности остальных офицеров. Теперь читателю понятно, почему мне было так любопытно увидеть его здесь, у "златых врат" игорного казино. Мой бывший наставник явился ко мне в "Отель де Пари" с чисто военной пунктуальностью. Увидев его, я вдруг ощутил нечто вроде гордости за то, что сумел завоевать себе доброе имя собственными силами и без всякой военной карьеры. Я не удержался и сказал ему: "Тогда, будучи офицером, ты опережал меня во всем, теперь же я — на свой лад — обогнал тебя".

Зигель отлично выглядел в своем щегольском, пожалуй, чересчур модном костюме. Самоуверенно поздоровавшись со мной, он поздравил меня с "заметными переменами и улучшением моей жизни".

Завязалась дружеская беседа, каждый рассказывал о годах, в течение которых в связи с моим уходом из рейхсвера мы потеряли друг друга из виду.

Через два года он тоже оставил военную службу. "Ты ведь знаешь, — сказал он, — вся эта лавочка стала бесперспективной, а если говорить о продвижении, то я дослужился бы до майора в лучшем случае в возрасте сорока восьми лет. Конечно, перестроиться было нелегко, особенно на первых порах. Приходилось отказывать себе во всем уж хотя бы ради приличного внешнего вида — в армии у меня был только один штатский костюм. Сначала я работал в винодельческой фирме и чувствовал себя вполне свободным человеком. Однако вскоре я

понял, что зарабатывать деньги — это все-таки чертовски тяжелое занятие. И вот однажды у меня появился шанс: генеральный директор одного металлургического концерна искал себе компаньона, о чем оповестило объявление в "Франкфуртер цайтунг". Движимый любопытством, я послал ему свою автобиографию и фотоснимок. Прошла неделя, и вдруг меня просят прибыть на завод и обратиться к полномочному представителю администрации. Я привел себя в полный порядок, надраил ботинки, явился к указанному сотруднику и по-военному щелкнул каблуками, — продолжал он смеясь. — Обменявшись со мной несколькими словами, он повел меня в "святая святых", то есть в дирекцию. Я очутился в огромном кабинете. Метрах в десяти от массивной двери с двойной звуковой изоляцией, за солиднейшим дипломатическим письменным столом, самодовольно, словно монарх на троне, восседал сам шеф. Расстояние от двери до стола позволяло ему внимательно осмотреть и оценить каждого посетителя, что с первых же секунд давало ему известное преимущество над входящим. Искусно задавая мне вопросы, касавшиеся самых различных сторон жизни, он, видимо, пытался составить себе какое-то представление обо мне. И должен тебе сказать, Манфред, что, когда этот "господин доктор" назвал сумму предлагаемого мне жалованья, я едва не свалился со стула. А работенка такая, что о лучшей и мечтать нельзя!.. Через две недели вместе с шефом я взошел на палубу двадцатишестиметровой роскошной яхты и поплыл на ней по зыбучим голубым просторам Средиземного моря. С первых же дней я стал завоевывать себе авторитет умелого компаньона и организатора. Обязательно приходи на наш корабль! Эта посудина выглядит совсем неплохо, увидишь! Уже полтора месяца мы бороздим прибрежные воды французской Ривьеры и только четыре дня назад бросили здесь якорь. Это не первый наш заход сюда, и тут мне все знакомо".

"Похоже, что ты занят весьма приятным и совершенно безопасным делом", — осторожно заметил я, не зная толком, каковы обязанности подобного "компаньона".

Зигелю явно не хотелось входить в подробности своей деятельности. Он ограничился неясными намеками и пригласил меня в один из ближайших вечеров прийти к нему на корабль с ответным визитом. Мы распили с ним бутылку вина, и я уже как-то не решался отказаться. Посмотрю эту таинственную яхту и сам разберусь во всем, подумал я.

"Мы живем здесь как затравленные, — сказал я Зигелю. — На развлечения не остается ни минуты".

"Я вообще не понимаю, как это ты выбрал себе такую

профессию, — ответил он. — Даже если она и дает много денег и приносит славу".

Прощаясь, Зигель пообещал сделать мне какой-то сюрприз. Сказал, что придумал кое-что и хочет со мной посоветоваться.

На другой день он явился в назначенное время, но не один, а в сопровождении молодого человека по имени Марко Сорент. Незнакомец кое-как изъяснялся по-немецки. Уже через несколько минут он мне заявил: "Вы... должен победить... гонка..."

"Сердечно благодарю за доброе пожелание", — буркнул я.

"Да, да, майн герр... я делал пари на номер ваш автомобиль. Поэтому я... интересован ваша победа".

"Вон оно что! — воскликнул я. — Выходит, наши с вами интересы совпадают с той лишь разницей, что вы, надеясь на мое искусство, намерены хорошенько заработать на мне. По-моему, это не вполне справедливо. Я рискую головой, а вы, стоя на трибуне и покуривая сигару, кладете в карман несколько миллионов".

"Нет, что вы! — запротестовал он. — Вы получить тридцать пять процентов от мой выигрыш. Только... только нам надо говорить с другие гонщики или... — Он сделал паузу. — Или... дать им долю".

В то время подобного рода пари широко практиковались, так же как, например, на бегах или скачках. Да и было бы странно, если бы в Монте-Карло, этом игорном аду на Ривьере, автогонки проходили без тотализатора. Но тут установился особый обычай: перед гонкой по жребию определялся тот участник пари, кому полагался весь выигрыш за такого-то гонщика. Вот почему удача синьора Сорента всецело зависела от моего успеха. Из любопытства я спросил его, чем же он гарантирует мне выполнение своего обещания. Ибо, как известно, люди всегда охотно соглашаются делиться деньгами, которыми пока еще не владеют. Но потом, когда они уже держат их в своих руках, дело обычно принимает несколько иной оборот.

Сорент немедленно достал из бумажника сложенный вчетверо листок и протянул его мне через стол. Это было нотариально заверенное обязательство выплатить мне в случае выигрыша тридцать пять процентов соответствующей суммы.

Я спрятал бумажку и сказал, что дам ответ завтра. Сорент встал и весьма темпераментно, со всей пылкостью южанина простился со мной.

"Уж ты не обижайся на меня за этого типа, — сказал фон Зигель. — Я ему кое-чем обязан и решил, что его предложение придется тебе по вкусу. Люди моего круга любят делать деньги чужими руками. Но разумеется, не в ущерб посредникам!

Напротив. Каждый получает свою реально обоснованную долю. Имея нюх на такие дела, можно находить деньги прямо на дороге. В данном случае, дорогой Манфред, это почти буквально так".

Он выразительно посмотрел на меня. Видимо, Сорент посулил ему комиссионные. Только этим я мог объяснить его настойчивое желание склонить меня к сделке.

"Что ж, — ответил я. — Каждому хочется чего-то добиться. Для приятной жизни, естественно, нужны деньги! Но знаешь, Гайнц, намерения твоего молодого друга совсем не оригинальны. Мне вспоминается история, происшедшая несколько лет назад в Триполи и едва не окончившаяся скандалом. Вот как это было: Муссолини назначил на пост губернатора Ливии маршала Бальбо, которому однажды взбрело в голову провести по всей Италии лотерею в пользу предстоявших в Триполи автомобильных гонок. Билет стоил только семь лир, и оборот этой лотереи достиг многих миллионов. И тогда было тоже ровно столько "выигрывателей", сколько гонщиков боролось за "Гран премио ди Триполи". То есть тридцать гонщиков и тридцать "выигрывателей", заранее определенных жребием.

Этих потенциальных счастливчиков перебросили на самолетах в Ливию, где они были гостями автомобильного клуба. Затем, уже на месте гонок, устроили дополнительную лотерею, где опять-таки по жребию каждый из предположительных "выигрывателей" получал стартовый номер "своего" гонщика. Жил тогда в Триполи лесопромышленник из Пизы; он вытянул билет с номером машины Акилле Варци, которого считали главным фаворитом этой гонки. И вот пизанский фабрикант предложил итальянцу Варци то же самое, что только что предложил мне Сорент, — выиграть гонку. Варци не без труда сумел заинтересовать в этой афере своих соперников: Кампари, Борцакини, Широна и Нуволари. Лесопромышленник предложил Варци три миллиона, которые тот обязан был разделить со своими коллегами, разумеется, при том условии, что они дадут ему выиграть.

Машины приняли старт при почти сорокаградусной жаре. Не желая форсировать мотор, Варци держался в середине, уступив ведущие места своим компаньонам по сделке. На первой половине маршрута всем им блестяще удалось соблюдать согласованную тактику. Кампари шел перед Широном и Нуволари, за ними следовал Борцакини. Варци нарочно поотстал. После пятнадцати кругов машина Кампари выбыла из строя, Борцакини тоже почему-то сошел с маршрута, Широн заметно сбавил скорость. Вскоре после этого фавориту Варци из-за неисправности в зажигании пришлось подъехать к механикам.

На трибуне сидел потный от возбуждения лесоторговец и непрестанно теребил лоб дрожащей рукой. С перекошенным лицом он ерзал на стуле, чувствуя, как вожделенные миллионы уплывают. Но Варци вновь включился в гонку. На последнем круге Нуволари, замедливший темп, все еще опережал его на тридцать секунд, а фавориту из-за перебоев в двигателе, который не переставал чихать, никак не удавалось преодолеть разрыв. Словно прихрамывающая утка, двигался он по трассе. Когда до финиша оставалось несколько сотен метров, Нуволари снова остановился. Дико размахивая руками, он потребовал бензина. К нему подбежали механики с канистрами, заправили его бак. И только в эту минуту его нагнал Варци. Он ехал почти "ползком". Вот как была "выиграна" эта довольно своеобразная гонка в пустыне.

Во время чествования победителя никто не обратил внимания на одного обезумевшего от радости болельщика, снова и снова хлопавшего обессиленного Варци по плечу. Примерно через два часа трое хорошо одетых мужчин сидели в прохладном номере отеля и торжественно распивали шампанское. Это были Варци, Нуволари и Борцакини. Они предвкушали сладостное отягощение своих бумажников миллионами — миллионами, которые они в порядке исключения приобрели не ценой сумасшедшей, захватывающей дух гонки, а просто благодаря медленной езде.

Руководители гонок насторожились, они заподозрили крупное мошенничество. Но так как в этой истории было замешано слишком много мастеров высшего класса, то до официального расследования дело не дошло. Парням просто указали на недопустимость таких штучек, и тем все и окончилось. Было решено в будущем проводить розыгрыш дополнительной лотереи ровно за десять минут перед стартом, то есть в момент, когда все гонщики уже сидят в машинах, готовые сорваться с места. В этих условиях уже никак нельзя было договориться со "своим" гонщиком, и никто из нас не мог знать, кого он облагодетельствует своей победой...".

"Вот что, Гайнц, — сказал я в заключение. — У меня нет никакого желания инсценировать новое издание триполитанского скандала".

"Жаль, очень жаль, — сокрушенно заметил фон Зигель. — И это в самом деле твое последнее слово? Да ты только подумай — такие огромные, такие шальные деньги! Давай вернемся к этому разговору завтра".

"Напрасные старания, Гайнц. Мое решение твердо".

Зигель, видимо, понял, что со мной ему не спеться. Но он не подал виду и перевел разговор на другую тему.

"Ладно, Манфред, — сказал он, — перевернем пластинку".

"Слушаю", — сдержанно ответил я.

"На нашей яхте часто бывают представители крупных фирм, с которыми шеф заключает контракты. Для оживления вечерних бесед господ фабрикантов нам постоянно требуются девушки, и мне, естественно, приходится менять их время от времени".

Чистосердечно и без тени смущения бывший офицер-наставник военного училища рассказал мне подробности своей новой профессии.

"Пребывание этих юных фей на борту ограничивается временем перехода из порта в порт. Их обязанности: ходить с нашими клиентами в театр, затем ужинать с ними и возвращаться на корабль. Видел бы ты, что творится с этими бонзами! Они прямо обалдевают... Ты, вероятно, не поверишь, как быстро самые порядочные девушки из хороших семейств превращаются в девиц легкого поведения. Очевидно, мое предложение неотразимо: элегантная яхта, деньги в руки, красивые новые платья, танцы, флирт, каюты люкс, плавательный бассейн на палубе, бесплатный стол".

Он ошеломил меня, этот обер-лейтенант рейхсвера, превратившийся в торговца живым товаром, в организатора "сладкой жизни". Его былая "офицерская честь", незыблемая и словно зашнурованная в корсет, при первом же случае растопилась, как масло на солнце. Нет уж, подумал я. Останусь-ка я лучше при своей аскетической и полной опасностей жизни. Мое любопытство к его плавучему дворцу сразу исчезло.

"Ну, теперь-то ты, надеюсь, сообразил, что к чему", — сказал Зигель.

"Нет, не сообразил. Я все никак не пойму, чего ты от меня добиваешься! У меня в голове совсем другое, и незачем мне увиваться за шикарными девочками в твоем греховном Вавилоне. Короче, ты обратился не по адресу".

Непринужденность нашего разговора безнадежно пропала. Гайнц фон Зигель уразумел, что не заманит меня в свое гнездо, и мы оба, хотя и по-разному, окончательно разочаровались друг в друге.

А ведь когда-то я восхищался этим человеком как образцом неподкупного, по-рыцарски честного офицера. И вот что осталось от моего идеала. Это казалось непостижимым.

Мы расстались куда холоднее, чем встретились накануне, и я искренне радовался, что в последующие дни моего пребывания в Монте-Карло он мне больше ни разу не попался на глаза. Тогда я, конечно, не знал, что через несколько лет встречу его в совсем иной обстановке.

...Ближайшее воскресенье оказалось для меня тяжелым рабочим днем. В час пополудни, незадолго до старта, механики выкатили машины на "исходные позиции". Стоял знойный безветренный августовский день, нещадно палило солнце, и пот стекал с нас ручьями. Тридцать семь градусов в тени! А нам предстояло три с лишним часа гонять по улицам этого маленького города. Поистине дьявольский коловорот! Тесные переулки и какие-то невиданно крутые повороты. Длина одного круга составляла 3,18 километра. По этому кольцевому маршруту надо было промчаться ровно сто раз со среднечасовой скоростью порядка 100 километров. Справа и слева — фешенебельные отели или виллы миллионеров, пышные пальмы, парки, скалы. Обгонять было почти негде. Кое-где ширина трассы едва допускала движение только одной-единственной машины. Тут гляди в оба, води с точностью до сантиметра, а не то врежешься в скалу или свалишься в море.

На каждом повороте нас подкарауливала смерть, и все были полны решимости во что бы то ни стало перехитрить ее. Здесь можно было выиграть сто тысяч франков и в придачу честь оказаться наибыстрейшим в этой адовой круговерти.

Восемнадцать тысяч зрителей сидели и стояли на Скалистых склонах, на крышах домов, на балконах и террасах. В порту люди толпились на палубах яхт. Над казино развевались флаги, и, покуда вертелась наша рулетка, игорная рулетка замерла.

Наконец настала минута старта. Мы подошли к машинам, поудобнее устроились па сиденьях, проверили зеркала заднего вида и впились глазами в человека, державшего в руке стартовый флажок. Последние секунды! Мы включили зажигание, взревели моторы!

Нойбауэр поднял растопыренные пальцы рук: еще десять секунд! Пополз вверх белый вымпел. Еще семь, шесть, пять секунд! Четыре секунды!..

Настал момент хитроумного использования сцепления. Отпускать педаль не слишком быстро, не слишком медленно, увеличить обороты, но не дай бог, чтобы забуксовали колеса!

И вот... Ровно час дня. Взмах флажка, и вся свора срывается с цепи!

Двадцать четыре рычащих чудища, окутанных облаками газа и масляных паров, обгоняя друг друга, вырываются на трассу. Каждый старается высвободиться из клубка. Начинается борьба каждого против всех, борьба с собственной слабостью, с каверзами, подстерегающими тебя на каждом метре пути, с машиной, неудержимо летящей вперед. Караччиола впереди... я впереди... Колесо в колесо с перемежающимися разрывами в

считанные сантиметры, мы, словно склеенные, часами несемся по маршруту...

Это вполне отвечало вкусам толпы. Сенсация! Поединок не на жизнь, а на смерть!

Не столкнутся ли, не разорвет ли их в клочья?

Нет, подобно снарядам, выпущенным из орудий, мы опять и опять вылетаем из мрака тоннеля. Сто кругов под жгучим средиземноморским солнцем! Трескается кожа на руках, спина покрывается кровавыми ссадинами. И ты не чувствуешь ничего — ни истощения, ни даже усталости, ты стал автоматом, и все тебе безразлично. На твоих ногах выступают волдыри, но ты их не замечаешь и продолжаешь нажимать на перегревшиеся педали акселератора, сцепления и торможения, машинально следишь за указателем оборотов: 6000, 7000, 7500...

Час за часом кровоточащие руки крутят баранку.

Даже миллионеры на балконах своих люксов и те в поту. Они освежаются лимонадом со льдом, потягивают коктейли, шампанское, то и дело срываются со стульев, подстегиваемые щекочущим ощущением смертельной опасности, нависшей над людьми за рулем.

Нойбауэр и механики, стоящие у бокса, с отчаянием следят за разгоревшейся борьбой братьев, принадлежащих к одной и той же "конюшне". Такое строго запрещалось. Нойбауэр развел целый обезьяний цирк — жесты, таблички, знаки, кивки, угрожающее покачивание головой. И все напрасно: мы ничего не видим, мы только прислушиваемся к своим машинам...

Через три часа, вконец обессиленный и задыхающийся от радости, я с напускным равнодушием, "снисходительно" позволил надеть на себя венок победителя. Караччиола, пришедший вторым, горячо обнял меня. Теперь, когда все обошлось так удачно, дирекция заводов "Мерседес" тоже сердечно поздравила нас. Еще бы — двойная победа! Чистенький синьор Сорент ликовал как никогда в жизни — вся добыча досталась ему одному. Но о нем я и не думал.

Приняв ванну, я направился в номер моего соперника Караччиолы, где его жена Алиса заботливо обработала мои обожженные ноги. Этой доброй и умной, светской и бывалой женщине, которая, между прочим, хорошо владела многими языками, удалось превратить многолетнюю неприязнь, существовавшую между мною и ее супругом, в настоящую симпатию и дружбу.

Даже Альфред Нойбауэр, слывший закоренелым женоненавистником, проникся к ней уважением и почему-то называл ее "утесом среди бурного прибоя".

Во время этой медицинской процедуры вдруг зазвонил телефон. Какая-то женщина попросила позвать меня. Я немало удивился, услышав голос г-жи Роземайер, которая ошеломила меня вопросом: не надавал ли я пощечин Караччиоле. Я не нашелся, что ответить, и она добавила: "В этой гонке он вел себя просто подло. Все видели, как он мешал вам при обгонах, не давал обойти себя".

Я повесил трубку.

Мелкие распри и зависть среди жен гонщиков нередко становились причиной вражды между их мужьями. А ведь у нас было и без того достаточно поводов для взаимной антипатии, в первую очередь откровенная склонность Нойбауэра к фаворитизму и неодинаковое отношение к нам со стороны фирмы. Своими колкостями или надменными репликами женщины подливали масла в огонь, то и дело теребя наши нервы, которые и так были перенапряжены.

В этом отношении жена Караччиолы была исключением. Она предложила нам провести этот вечер вместе в маленьком ресторане у самого моря и ни в коем случае не допускать ссор. Когда мы мирно и в прекрасном настроении прошли через переполненный холл отеля, десятки людей смотрели на нас с нескрываемым удивлением.

Рудольф Караччиола пришел в восторг, когда я предложил нанять извозчика и, сделав небольшой крюк, заглянуть к нашим механикам, чей самоотверженный и прямо-таки жертвенный труд позволил нам одержать победу.

Не знаю, как описать радость наших ближайших помощников и союзников, когда мы предстали перед ними. Наш визит был лишь слабым выражением переполнявшей нас благодарности, и они это хорошо понимали.

Итак, мы сели в экипаж мощностью всего лишь в одну лошадиную силу и по пути в приморский бар проехали по небольшому участку гоночного маршрута. По-моему, испытывать контрасты подобного рода — это настоящее счастье, одно из прекраснейших переживаний, возможных в жизни. Во всяком случае, нам это показалось просто очаровательным. Мерно цокая подковами, лошадка неторопливо влекла нас по асфальту, на котором все еще виднелись черные следы шин наших 600-сильных зверей.

На душе у меня было почти так же светло и радостно, как за час до того, когда с сияющим лицом я принял из рук принца Монако тяжелый золотой кубок.

Но далеко не всегда после таких яростных ристалищ соперники сразу вкладывали мечи в ножны. Особенно

непримиримо враждовали друг с другом итальянские асы Тацио Нуволари и Акилле Варци, что нередко помогало второразрядным гонщикам добиваться победы. Ни за что не желая уступить друг другу первое место, они были готовы скорее запороть мотор или даже попасть в аварию.

В конце концов Муссолини приказал своему статс-секретарю Туратти призвать их к порядку. Тот дал им телеграмму: "Ставьте честь нации выше личного честолюбия! Боритесь впредь не за свою личную победу, а за победу Италии!" Но Нуволари и Варци не обратили на это никакого внимания и продолжали враждовать.

Итальянские фашисты, как и немецкие, очень хотели обеспечить своей стране ведущее место в европейском автоспорте.

Широкопопулярные и возбуждающие толпу автомобильные гонки были действенным средством пропаганды как для итальянского, так и для германского фашизма, и нацисты всемерно стремились возможно чаще и в возможно большем количестве стран показывать свой флаг со свастикой как символ непобедимости. А нас, гонщиков, использовали для того, чтобы лишний раз попытаться внушить миру идею о превосходстве Германии и одновременно, маскируясь спортом, объединяющим народы, отвлечь внимание от ее военных приготовлений.

Меня снова приглашают…

После нескольких моих новых побед история с Ширахом была предана забвению. Снова стало хорошим тоном представлять Манфреда фон Браухича своим гостям. Даже министр пропаганды Йозеф Геббельс не преминул пригласить меня к себе.

С этим "доктором" я познакомился вскоре после прихода нацистов к власти, во время тренировок на автотреке АФУС. Он сам подошел к нам, когда механики проверяли мотор и заменяли свечи зажигания.

Внешний облик Геббельса разочаровал меня. Невозможно было себе представить, что этот крохотный, тщедушный мужчина в дешевом габардиновом плаще является столь искусным оратором-демагогом. Но, несмотря на свой убогий вид, он все же чем-то подкупал. Приехав на трек, он хотел выказать свой личный интерес к "единственному в своем роде немецкому гонщику на немецкой машине" и тем самым подчеркнуть внимание нацистского правительства к предстоящим гонкам.

В ходе этого состязания меня пять раз подводила резина, но я не падал духом, всякий раз добирался до своего бокса, менял очередной баллон и все-таки занял пятое место в условиях острой конкурентной борьбы с мастерами из нескольких стран. Геббельс

додумался использовать это мое поражение в интересах все той же пропаганды. Он прислал мне телеграмму: "Дорогой господин фон Браухич! Мы, правда, не победили, но я все же хочу поздравить Вас от всего сердца за то, что, несмотря на пять технических дефектов, Вы не прекратили гонки и неодолимо продолжали бороться за Вашу фирму и за германский флаг. Это тоже победа, а именно победа твердости характера, и у Вас есть все основания гордиться ею. С сердечным приветом Ваш д-р Геббельс".

Я обрадовался этому поздравлению, но меня покоробило это "мы" и "германский флаг". Впрочем, я не так уж расстроился.

Впоследствии Геббельс регулярно приглашал меня на свои "киновечера".

Впервые я пошел к нему в 1934 году. С любопытством предвкушая свою встречу с обычно недоступными корифеями мира кино, держа в руке приглашение, отпечатанное на плотной пергаментной бумаге, я поднялся по ступенькам широкой лестницы. Геббельс устраивал эти празднества в своей берлинской служебной резиденции, в бывшем дворце принца Луиса-Фердинанда на Вильгельм-платц, нынешней площади Тельмана.

Облаченный во фрак, расправив тщедушные плечи, хозяин дома встречал гостей. Рядом с ним стояла его жена, дама вполне приличного вида.

С течением лет приемы у министра пропаганды все больше превращались в своеобразную "кинобиржу", где режиссеры и продюсеры оценивали и сбывали "товар". На этих легких и непринужденных кинобалах рушились все барьеры чопорности и ханжеской "добропорядочности", воздвигнутые нацистами для народа. Сюда приглашали не только автогонщиков, но и других спортсменов, например, Макса Шмелинга или Готтфрида фон Крама. После трудного спортивного сезона, полного предельного напряжения и самоотречения, они вдруг попадали в атмосферу очаровательной женственности и, естественно, испытывали чувство глубокой внутренней разрядки. Даже такие серьезные киноактеры, как Густав Грюндгенс, Эмиль Яннингс, Генрих Георге, Вернер Краус или Луис Тренкер, и те молодели душой, флиртовали и танцевали.

Своих привилегированных гостей, которым дозволялось порезвиться в этой "киновотчине", Геббельс отбирал из вполне определенных кругов, к которым не принадлежали ни промышленные магнаты, ни банкиры, ни политические деятели. Из года в год все больше людей жаждали попасть в число приглашенных.

Здесь никто никого не стеснялся. Никому не мешал одетый в раззолоченный позументами фрак эсэсовец, который разносил холодные закуски и наливал шампанское в бокалы.

За столом Геббельса сидели прекраснейшие из прекрасных женщин. В их обществе он чувствовал себя куда лучше, нежели рядом со своей серьезной супругой. Обычно она довольно скоро ретировалась.

Когда все уже были навеселе, бойкий "доктор" начинал обход столов, задерживаясь и около нас, автогонщиков. Нисколько не церемонясь, он публично демонстрировал симпатию, которую питал к своей очередной "даме сердца", преподносил ей подарки и оказывал всяческое внимание. По этим признакам даже непосвященному было легко определить степень интимности отношений хозяина с той или иной гостьей, а посему за ней, естественно, уже никто другой не решался ухаживать.

Он охотно фотографировался с предметами своей страсти, публиковал эти снимки в газетах, чтобы показать народу свою "привязанность" к деятелям киноискусства. Любопытная подробность: перед тем как делались эти снимки, лакеи убирали со столов бокалы с шампанским и ставили вместо них пивные кружки. Геббельсу хотелось создать впечатление, будто и у министра пропаганды все происходит "запросто" и "по-народному". Эта открытая показуха раздражала нас своей нелепостью и бессмысленностью.

Будучи покровителем немецкого кино, Геббельс великодушно разрешал киноактрисам являться к нему на предмет испрашивания той или иной роли. С этой целью он установил два приемных дня в неделю. Путь к карьере кинозвезды открывался только на этих аудиенциях за чашкой кофе. Я знал многих паломниц, посетивших эту "мекку", дабы поскорее прославиться на экране. Но, увы, им пришлось в полной мере изведать переменчивость желаний этого мецената, который нередко сменял благоволение на гнев. А для попавших в немилость путь к блеску и славе закрывался навсегда.

Приглашение в Дом летчиков на Принц-Альбрехтштрассе, где безраздельно хозяйничал "властелин воздуха" Герман Геринг, давало возможность внимательно приглядеться к зубрам германской экономики, угощаясь шампанским и черной икрой. Такого приглашения домогались многие. Геринг, "боевой пилот первой мировой войны", любил окружать себя старыми летчиками, которые и задавали здесь тон. Вечера эти происходили в малоприятном окружении эсэсовцев и сотрудников гестапо, только что созданном Герингом. В отличие от легкомысленно-эротической атмосферы празднеств

кинодеятелей на "балах летчиков" господствовал казенный дух прусской военщины. Лишь после полуночи протокольная церемонность несколько ослабевала. Тогда уже не надо было задержать бокал точно на уровне третьей пуговицы мундира, а разрешалось поднести его естественным движением прямо к губам. В больших залах, в нишах и за стойкой бара настоящего веселья не было и в помине. Тонные буржуа и разодетые в мундиры высокопоставленные представители всех родов войск вели себя крайне сдержанно и явно не одобряли шумливого поведения иных нацистских бонз. Сюда являлись только "великие мира сего": банкиры Абс и Пфердменгес, представители концернов Стиннеса и Тиссена, генеральные директора фирм НСУ, "Мерседес" и "Ауто-унион" — фон Фалькенхайн, д-р Киссель, д-р Брунс и многие, многие другие.

Мой кузен, обер-лейтенант Бернд фон Браухич, адъютант Геринга, представил меня крупнейшим руководителям авиастроения профессорам Мессершмидту и Хейнкелго, которые в эту минуту беседовали на профессиональные темы с двумя представительницами "женской авиации", знаменитой Ханной Райтш и Элли Байнхорн, прославившейся полетом в Африку.

На другом приеме у Геринга началось мое перешедшее впоследствии в дружбу знакомство с генеральным директором заводов "Юнкерс" в городе Дессау д-ром Генрихом Коппенбергом, у которого мне довелось во время войны поработать несколько лет в качестве личного референта.

Всячески силясь подчеркнуть свой ранг первого маршала рейха и приковать к себе внимание своих четырехсот гостей, Геринг через определенные промежутки исчезал, переодевался и торжественно представал перед собравшимися в новом наряде. В течение вечера он переоблачался по шесть-семь раз, появляясь то в облике ландскнехта — в зеленых сафьяновых сапогах и белой шелковой рубахе, то в ярко-красном, усеянном орденами мундире какого-то фантастического фасона. Все знали, что он поручал шпикам выявлять гостей, не аплодировавших этому маскараду или позволявших себе неуважительные замечания на сей счет. Конечно, никому не хотелось так глупо навлечь на себя неприятность, и все в соответствии с желанием Геринга притворялись, что принимают его всерьез.

Мне хорошо запомнился ночной разговор с моим другом Эрнстом Удетом, устроившим мою первую встречу с Гитлером, и будущим генеральным уполномоченным по автотранспорту Берлином, когда однажды в полночь после очередного приема у Геринга мы вышли из Дома летчиков. Как только мы оказались на улице, нам бросились в глаза ярко освещенные окна в доме

напротив, на той же Принц-Альбрехтштрассе.

"То же, что у нас, летчиков, — проговорил Удет. — Один празднует победу в воздушном бою и пьет шампанское, а другой разбился! Мы с тобой возвращаемся домой после званого ужина, а, напротив, в гестапо... ладно, не будем говорить об этом!.. Ужасное и смешное часто соседствуют!"

"Когда-то это был замечательный дом, — сказал Верлин, — так называемый Дом художественных ремесел. Сотни девушек обучались здесь росписи стен, плакатной живописи, оформлению сцены. Устраивались карнавальные вечера, такие веселые и увлекательные, что гости расходились только на рассвете. В июне 1933 года Геринг распорядился закрыть художественные мастерские и выставочные помещения и разместил в этом доме часть отдела "Ia" государственной полиции, который вскоре был преобразован в гестапо — тайную государственную полицию".

"Я тоже хорошо помню Дом художественных ремесел, — сказал я. — Особенно чудесную карнавальную ночь, которую провел там. С каким вкусом были украшены все помещения!.. Просто не верится, что в этом здании, которого сейчас во всей Германии боятся как огня, еще совсем недавно беззаботно смеялась молодежь".

Удет молчал. Он, несомненно, знал про этот дом больше моего. Впрочем, кое-что доходило и до меня. Мне говорили, что там, так же как в концентрационных лагерях, безжалостно мучают людей.

Снова и снова воображение рисовало жуткие картины жестокостей, средневековых пыток, чудовищных порядков в лагерях, где заключенных забивали до смерти, расстреливали, вешали. Но люди как-то старались закрывать глаза на это, утешали себя тем, что, мол, не так уж все страшно. Дескать, мало ли что болтают, вероятно, преувеличивают. А кроме того, уж если кто попался, значит, у него рыльце в пушку, да и вообще кому до этого дело! Все равно ничего тут не изменишь, а поэтому и нечего вмешиваться. Таковы были "успокоительные пилюли", которые "глотали" тысячи и тысячи людей, подавляя в себе негодование и чувство порядочности.

Жизнь казалась мне прекрасной, и я был вполне доволен ею. Я завоевал себе славу, зарабатывал много денег. Чтобы ощутить какую-то внутреннюю связь с людьми, которых преследовали, я по крайней мере должен был знать, чего они, собственно, хотят. Правда, я знал: они добиваются перемен в своей стране. Но что, в сущности, им удалось бы улучшить? Прежде, когда Геббельс и Геринг не устраивали своих вечеров, автоспорт был в загоне. Теперь же мы побеждали на всех гоночных трассах, трехлучевая

звезда — эмблема фирмы "Мерседес" — и наши имена стали знамениты. Многое в тогдашней Германии мне явно не импонировало, даже претило, противоречило представлениям, внушенным мне с детства. Я презирал грубую зрелищность нацизма, но мирился с ней, ибо кое-что в нем казалось мне все-таки приемлемым.

А чего желали узники казематов на Принц-Альбрехтштрассе? Ведь это же были "красные"? Ведь именно их в моем доме называли "главной опасностью", еще когда я ходил в школу на площади Галлешес Тор.

И все-таки становилось жутко при мысли о зверствах, чинимых гестаповцами. Мы быстро прошли мимо окон этого страшного дома и постарались отвлечься от тяжелого настроения, охватившего нас. Такую позицию, конечно, не назовешь ни героической, ни даже просто мужественной. Удет, словно отгадав мои мысли, сплюнул и сказал: "Не будь я старым матерым волком, я, наверно, ужаснулся бы перед всем этим лицемерием и жестокостью... А так... Лучше не думать об этом... Пойдемте куда-нибудь, друзья, пропустим еще по маленькой..."

Моя первая встреча с Удетом, этим чрезвычайно живым невысоким мужчиной с добродушным выражением лица и лукавыми улыбчивыми глазами, состоялась еще в 1927 году. Тогда я был фаненюнкером 5-го пехотного полка в Штеттине. Как-то в воскресный день я отправился на пригородный аэродром посмотреть авиационный праздник. Гвоздем программы были фигуры высшего пилотажа, которые Эрнст Удет демонстрировал на одномоторном биплане. После бесславно проигранной первой мировой войны этот ас зарабатывал себе на хлеб только своим летным искусством. Его рекламные полеты по поручениям промышленных фирм давали ему не только приличные доходы, но со временем сделали его настолько популярным, что на него обратили внимание кинопродюсеры. Несколько лет кряду полеты для киносъемок чередовались с публичным показом высшего пилотажа. Особенным успехом пользовался снятый в Альпах приключенский фильм "Белый ад Пиц Палю", в котором Удет в полной мере продемонстрировал свою выучку классного авиатора. Здесь были головокружительные пике в узких горных ущельях, рискованные посадки на глетчеры и крохотные плато.

Однажды под Штеттином мне посчастливилось увидеть один из его коронных номеров — "трюк с носовым платком". Этому трюку предшествовали безудержно смелые мертвые петли. Он крутил их у самой земли, приводя публику в состояние крайнего возбуждения. Но то, что следовало затем, вызывало форменный взрыв экстаза. Примерно в ста метрах от барьера, за которым

теснилась толпа зрителей, на травяном бордюре, окаймлявшем летное поле, лежал обыкновенный носовой платок. Удет подлетал к этой точке на предельной скорости, держась на высоте не более двух метров. Затем следовал резкий разворот на крыло, едва не касавшееся земли. Крюком на боковой кромке нижней плоскости Удет подхватывал платок и под ликующий рев толпы взмывал с ним в воздух.

Я безмерно восхищался этим человеком, видел в нем истинного героя, которому следует подражать. Пять лет спустя, в мае 1932 года, нас познакомили на автотреке АФУС. По заданию одной фирмы автомобильных шин я испытывал образцы ее изделий на тяжелой, но высокоскоростной машине. Под действием центробежной силы от протектора то и дело отрывались куски резины и, словно осколки снаряда, пролетали в нескольких сантиметрах от моих локтей. Было очень неприятно мчаться со скоростью 200 километров в час на обнаженном корде. Машину заносило.

Удет с интересом следил за моими усилиями. В перерывах мы непринужденно болтали, и вдруг он мне предложил устроить небольшую гонку автомобиля с самолетом. Опытный деловой человек, он сразу же связался с отделом кинохроники фирмы "Уфа". Расставаясь, он весело хлопнул меня по плечу и сказал: "Развлечемся и вдобавок заработаем по ящику шампанского!"

Кинооператоры предложили заснять с бреющего полета сенсационные кадры: работа автогонщика за рулем. Удет решил лететь с таким расчетом, чтобы я мог нагнать его сзади, проехать под ним и выйти вперед.

Тогдашняя максимальная скорость автомобиля равнялась примерно 220 километрам в час, и было далеко не просто хотя бы на короткое мгновение оторвать глаза от дороги и перевести взгляд на летящий сверху самолет.

Когда я принял старт, Удет уже находился в воздухе и шел над северным поворотом трека. На огромной скорости я вышел на прямую и перегнал его. Мой драндулет с открытым выхлопом, смонтированным почти вплотную к водителю, несся с чудовищным грохотом, к которому примешивался отчаянный вой компрессора. Ко всему этому добавился рев авиационного двигателя.

И вдруг мне стало страшно: лететь впритык надо мной — чистейшее безумие. Что, если этот легкомысленный парень попадет в воздушную яму и плюхнется на меня!

Мне пришлось мобилизовать все свое хладнокровие и жать на акселератор, чтобы продолжать эту дурацкую затею. Затем я дал максимальные обороты и с удивлением обнаружил, что выхожу

вперед. До чего же я обрадовался! Моя машина оказалась быстрее его "летающей этажерки"!..

Через несколько часов мы с ним сидели в ресторане "Хорхер" на Лютерштрассе и ликовали, как два сорванца, которым удалось какое-то небывалое озорство.

"Уже звонили с киностудии, — сказал Удет. — Кадры блеск! И денежки заплатят немалые. А мне, представьте, пришлось здорово попотеть за ручкой управления, чтобы не налететь на вас, как кочет на курочку".

О том, как у меня самого тряслись поджилки, я ему, конечно, не сказал ни слова.

Расставаясь, мы условились встретиться вновь в загородном ресторане "Никольске" у Ваннзее.

"Оттуда мне будет удобно наблюдать вашу воскресную гонку", — сказал Удет на прощание.

Моя очередная победа над международной автоэлитой придала нашей встрече на веранде особенную сердечность. Несколько раз нам доливали чашу с "Майским крюшоном" - напитком из ясменника. Мы сердечно беседовали, и обоим хотелось, чтобы эти приятные часы на веранде ресторации длились бесконечно.

Иронизируя над собой, Удет рассказывал о своих попытках пустить корни в послевоенном буржуазном мире. Он настойчиво искал встреч с бывшими фронтовыми друзьями, с которыми не раз пировал в офицерских казино. К их числу относились Геринг и будущие генералы Каммхубер, Лерцер и Мильх.

С большим юмором он описывал свою жизнь в первые послевоенные недели в 1918 году: "Летная форма гарантировала нам всеобщее уважение. Теперь же, став заурядными штафирками, мы должны были бороться за свое существование, как и все остальные. Я сразу же заприметил несколько списанных аэропланов и пытался как-то использовать их. Геринг, напротив, ничего не хотел знать про авиацию. Он нашел себе "покровителя" в лице какого-то владельца бара и добывал кокаин для его клиентов. Этот наркотик продавался в порошках и был баснословно дорог, что позволяло Герингу жить вполне безбедно".

Потом он рассказал про веселые объезды питейных заведений на машине таксиста Мильха, со временем поднявшегося до генерал-фельдмаршала.

"Мы с Герингом ждали Мильха на условленном перекрестке. Наконец он подкатывал, распахивал дверцу и мы усаживались в машину, словно какие-нибудь великие князья. Проехав несколько метров, Мильх орал: "Слезайте с сиденья, а то я должен включить счетчик!" С послушностью школьников мы сползали на пол, чтобы

никто нас не увидел. Потом мы подъезжали к пивной, где собирались кокаинисты, опекаемые Герингом. Толстяк раскошеливался и щедро угощал нас гуляшом или рубленными котлетами с булочками".

Иногда, по словам Удета, они заезжали в летнее кафе, принадлежавшее бывшему механику Геринга. Хозяин великодушно потчевал господ офицеров бесплатно...

В последующие годы мы с Удетом не раз выбирались в облюбованное нами уединенное "Никольске" и подолгу разговаривали за бутылкой доброго вина. Меня всегда поражали его резкие высказывания о нацистских порядках в Германии.

Прошло около двух лет, и на приеме у Геринга я неожиданно встретил Удета в форме полковника люфтваффе[17]. Я был ошеломлен: Удет в форме нацистского летчика!

"Послушай, друг, как же это так?" — невольно воскликнул я. Удет пожал плечами. "Да вот, видишь... Толстяку все-таки удалось заарканить меня!" — нехотя проговорил он.

Я недоумевал. Что же случилось с Удетом! Изменил свои взгляды или польстился на военную карьеру? Но ради чего?

Ясно было одно: для будущих кадров истребительной и бомбардировочной авиации Удет являл собой блестящий образец мужества и летного мастерства. Нацисты использовали его, точно так же как нас, спортсменов, или как известных артистов, например Грюндгенса, Георге, Тренкера, Фердинанда Мариана, которым поручались роли главных героев в национал-социалистских пропагандистских фильмах.

Познакомился я еще и с графом Хельдорфом, о котором мне несколько раз говорил Удет. Это было в дни подготовки к Олимпийским играм 1936 года в Берлине.

На бывшем учебном плацу в Деберице для спортсменов всего мира была выстроена Олимпийская деревня, оборудованная всевозможными бытовыми удобствами. Я охотно принял приглашение осмотреть ее, а заодно взглянуть на места, где меня некогда муштровали. По воле случая мой бывший батальонный командир барон фон унд цу Гильза исполнял обязанности ответственного организатора Олимпийской деревни. Он радостно приветствовал меня и познакомил с графом Хельдорфом, который в качестве полицей-президента Берлина отвечал за порядок и безопасность на Олимпиаде.

Я никак не ожидал, что так скоро познакомлюсь с этим "графом СА", как его называли. Вид у него был достаточно пристойный, он не походил на грубого солдафона и даже чем-то смахивал на спортсмена.

Втроем мы двинулись в путь по этому небольшому спортивному поселку, мимо продолговатых бунгало и специальных кухонь, где для участников Олимпиады должны были готовить привычные для них национальные кушанья.

В заключение полковник фон Гильза пригласил нас закусить в офицерском казино. Своими манерами граф Хельдорф напоминал высокомерного прусского помещика. Его нагловатая хвастливость вполне подходила к атмосфере, царившей в тот день в казино. Между прочим, он лихо рассказывал про всякие щекотливые дела.

"Послушайте, что произошло на днях,— начал он. — Просто неимоверно! — Он придвинулся поближе к столу, осмотрелся и сбавил голос. — Но имейте в виду — только для шести ушей!.. В Гармише мы с Геббельсом обнаружили одну ультрашикарную даму. Жгучая брюнетка, породистая по всем статьям. Она сидела за стойкой бара в обществе какого-то жирного заморского нефтепромышленника и пила коктейль. Он зарегистрировал ее в отеле, но не как свою компаньонку, отнюдь! Как супругу! Но...— И тут он громко расхохотался. — Но только на время зимней Олимпиады в Гармиш-Партенкирхене. В общем, не повезло этой дамочке! Посмотрел я на нее орлиным взором и сразу разоблачил! Прожженная штучка, доложу я вам, "графиня" международного класса из Франции! Что же это за графиня, хотите вы знать. Она, конечно же, не голубых кровей. А профессия ее вот какая..." (Он запустил руку в мой карман.) "Эта дама уже была мне знакома по альбому фотографий преступников, в котором есть специальный раздел "Графини". На всякий случай я носил при себе снимки самых опасных из них. Словом, удалось ее немедленно опознать! — Он опять расхохотался и хлопнул себя по ляжке. — Тут я и говорю Геббельсу: "Внимание! Сейчас будет та еще потеха! Эту "графиню" мы с вами сейчас представим всем нашим друзьям как "американскую нефтяную королеву", пожелавшую увидеть пробужденную Германию. И тогда все они попытаются через полицию — в моем лице — проложить первую тропку к американской нефти". Геббельс согласился подыграть мне. Я ему сообщил о происхождении нашей "графини", чтобы он, как мой личный друг, не дай бог, не попал в нелепое положение. Геббельс действительно помог мне стянуть к столу этой дамы всех, кого мы оба терпеть не могли, в том числе Гейдриха, начальника службы безопасности, и даже самого Гиммлера... Вот они и пустились во все тяжкие, каждый норовил обскакать другого. А мы с Геббельсом хохотали до упаду, наблюдая, как они увиваются вокруг нее, целуют ей ручки и без конца повторяют: "О, йэс,

милостивая государыня".

Но, к сожалению, уже на следующий день коротышка Геббельс разболтал все. Видели бы вы, как вытягивались лица наших "протеже", когда они узнавали, что эта "высокорожденная аристократка" всего лишь вульгарная авантюристка. В общем, сплошной конфуз! И не говорите... Что касается самой красоточки, то ей завидовать не приходится. Схватили мы эту птичку на вокзале. При обыске нашли несколько банкнот из чужих бумажников и запонки с драгоценными камнями. Сначала, продолжая себя выдавать за "супругу американского промышленника", она страшно орала и топала ногами, но фотография из альбома уголовной полиции привели ее в чувство. История эта стала передаваться из уст в уста, разумеется, к великой досаде наших "друзей"... Забавно, не правда ли? Конечно, забавно! А теперь выпьем по этому поводу!"

Этот граф чем-то импонировал мне.

Потом я вспомнил, что еще давно слышал о нем интересные вещи от профессора Альсберга на квартире фрау фон Штенгель, урожденной Арон. С этой умной и весьма деловой женщиной я познакомился в мае 1932 года, после моей первой крупной победы на АФУС. Она разыскала меня в доме моей матери и предложила предоставить ей монопольное право использования моих частных фотографий в рекламных целях. Фотограф по профессии, она после смерти своего шефа возглавила его фотоателье на Курфюрстендамм и добилась большого коммерческого успеха. К ателье, расположенному на втором этаже, примыкала отделанная с тонким вкусом четырехкомнатная квартира.

Фрау фон Штенгель внесла такое небывалое оживление в наш дом, что все мы быстро позабыли о деле, приведшем ее к нам. При первом взгляде на эту маленькую полную женщину с веснушчатым лицом трудно было заподозрить в ней столько подвижности и живости. Ее советам я обязан не одной удачей при подписании контрактов. Она же помогла мне сделать первые шаги в качестве киноактера и автора радиопьес. Если бы не фрау фон Штенгель, кинокомпания "Уфа", играя на моей популярности, нажила бы на мне огромные деньги, а я получил бы только скромную сумму на карманные расходы. Она мне также посоветовала ни в коем случае не бросать моей карьеры гонщика ради сомнительных перспектив сниматься в кино.

Своей сердечностью и теплотой эта женщина привлекала к себе многих. Дважды в неделю у нее собирались врачи, коммерсанты, профессора, киноартисты, преуспевающие промышленники и политики.

В этом обществе меня всегда охотно принимали, а я охотно посещал его, ибо мог в нем почерпнуть для себя много поучительного. Там, в уютной и непринужденной атмосфере, мне легко удавалось устанавливать контакты с интересными людьми.

В частности, у фрау Штенгель я познакомился с Гансом Леви, сотрудником газеты "БЦ ам миттаг", с которым впоследствии написал радиопьесу "Как человек становится автогонщиком".

Именно в этом кругу я откладывал в сторону свои защитные очки, сквозь которые видел многое в розовом свете. О главных проблемах жизни здесь разговаривали не поверхностно, но осмысленно, глубоко и трезво.

Как-то зимой 1932 года очень известный в те годы адвокат профессор Альсберг рассказал нам кое-что о графе Хельдорфе. В этот вечер у фрау фон Штенгель собрался самый узкий круг ее друзей: маленький и юркий д-р Брах, директор крупной нефтеперерабатывающей фирмы, д-р фон Ланген, руководитель шоколадной фабрики "Хильде-бранд" и бывший социал-демократический бургомистр города Канншта та, а также д-р Альфред Рошер, умный и язвительный начальник рекламного отдела фирмы "Занелла", и я. Все внимательно слушали рассказ Альсберга.

"Я не разглашу особой тайны, — сказал он, — если замечу, что опасности, исходящие от нацистов, вообще и в частности намного больше, чем думает средний гражданин. Хорошим примером в этом смысле является мой клиент граф Хельдорф, которого мне до сих пор, между прочим, всегда удавалось вытаскивать сухим из воды. Правда, пока он еще не совершил убийства, но на его счету бесконечные нарушения общественного порядка, всякие подстрекательства, нанесение телесных повреждений и оскорблений. Граф Хельдорф — выходец из старинного рода саксонских дворян. Его предки были ленниками[18] прусской короны, затем королевскими камергерами и рыцарями, которые, как и все дворяне, обороняли "Запад" и даже получали звания магистров и великих магистров. Сын владельца рыцарских поместий и доменов, он, естественно, должен был служить в одной из привилегированных воинских частей, и поэтому в 1914 году Вольф Генрих граф фон Хельдоф в чине юнкера поспешил встать под знамена 12-го гусарского полка, дислоцированного в Торгау... Ну а сегодня, — смеясь добавил Альсберг,— он добрый командир своих молодчиков. Недели три назад его мать явилась ко мне в состоянии полного смятения и заявила: "Понимаете ли, мой мальчик просто шалун и повеса, таким он был и останется навсегда". И хотя я отнюдь но присоединяюсь к такой характеристике моего клиента, —

продолжал Альсберг, — все же скажу, что жизнь этого бывшего кайзеровского офицера действительно полна так называемых "пикантностей". Подробности его службы в добровольческом корпусе, его участие в жестокой ликвидации поляков и коммунистов наверняка невозможно расследовать выгодным для него образом. Этот, вообще говоря, далеко не бесталанный человек никогда бы не ударился в политику, если бы не пристрастие к карточной игре, начисто разорившей его. В 1926 году Геббельс приблизил к себе этого завсегдатая игорного дома в Монте-Карло и назначил его руководителем берлинских отрядов СА. Вот когда темные инстинкты графа получили свободный выход. Везде, где требовалось вызвать беспорядки или скандал, граф был тут как тут. Помните историю фильма "На Западном фронте без перемен" в кинотеатре на Ноллепдорфплатце?

Экранизацию знаменитого романа Эриха Марии Ремарка нацисты считали оскорбительной для фронтовиков. Поэтому Хельдорфу поручили во что бы то ни стало сорвать берлинскую премьеру. Вскоре после начала сеанса сотни его подчиненных выпустили на зрителей бесчисленных белых мышей. Началась невообразимая паника, женщины становились ногами на сиденья и истошно кричали. Пришлось включить свет и прервать демонстрацию. И тут же, в кинозале, Геббельс произнес полную фанатизма поджигательскую речь против этой "пораженческой" картины. Чтобы не дать зрителям собраться на второй сеанс, Хельдорф приказал штурмовикам перекрыть входы в кино и не впускать никого.

Подобного рода "победы" он любил отмечать с друзьями в различных питейных заведениях, и, как правило, уже через несколько дней мне приходилось заниматься жалобами на неуплату по счету или буйную драку.

Графу вечно недоставало денег, чем воспользовался некто Штайншнайдер. У вас глаза полезут на лоб, когда вы узнаете, чей это псевдоним. Но об этом ниже, потерпите немного. По понятным причинам, и в частности в интересах личной безопасности, этот самый Штайншнайдер становится "близким другом" обанкротившегося начальника отрядов СА и начинает регулярно приглашать его на какие-то сказочные оргии, устраиваемые на собственной яхте. По ночам в обществе хорошеньких проституток они курсируют по рекам и озерам вокруг Берлина. Хозяин не скупится на расходы, ибо очень уж дорожит этой связью с СА. Он достаточно богат и регулярно сует в карман графа банкноты. Разумеется, незаметно. Ну и кто же, по-вашему, этот господин Штайншнайдер?" — воскликнул Альсберг

и обвел нас вопросительным взглядом.

Никто не знал.

"Это Эрик Ян Гануссен, самый знаменитый ясновидец двадцатого века. Теперь он показывает прямо-таки ошеломляющие примеры использования своей "черной магии" в политических делах".

Женщины и талисманы

Подобно тому как в средние века маркитантки следовали за ландскнехтами, так нас, гонщиков, сопровождали великосветские туристки, которые всячески стремились выдавать себя за "своих".

Особенно мне запомнились две принцессы из какого-то древнего дворянского рода. Назову их здесь Гиттой и Карин.

Их обедневшие родители-"замковладельцы" могли снабжать путешествующих принцесс лишь весьма незначительными средствами. Поэтому их тяга к сенсации, желание находиться вблизи от знаменитых автогонщиков требовали немалых жертв.

Однако они были близнецами, походили друг на друга как две капли воды, и это им очень помогало. Бывало, снимут в гостинице один дешевый номер и спят на одной кровати. Они никогда не проходили мимо портье вдвоем и нередко заказывали только один завтрак. Уничтожив его наполовину, одна сестра уступала место другой и уходила из номера. Все принимали обеих девушек за одну. Несмотря на столь сложную жизнь, сестры не унывали и всегда были веселы. Их нельзя было различить по голосу, по манере разговаривать, даже по интонации, и мы часто ломали себе голову, кого же из нашего брата облюбовала каждая из них.

Но нас ни та ни другая ничуть не вдохновляла, и со временем им пришлось взяться за поиски другого вида деятельности.

Как мне сказали, покинув нас, они увязались за германской командой спортсменов-конников, разъезжавшей по различным турнирам.

Жизнь обеих принцесс несколько оживилась после того как организация "Сила через радость"[19] купила их старинное родовое поместье. Впоследствии поговаривали, что обе сестрички стали агентами разведки...

Честно говоря, нам было не так уж неприятно, когда время от времени с небосклона женской красоты в наш замкнутый мирок проникал луч какой-нибудь яркой звезды.

В дни состязаний и тренировок в строго охраняемый лагерь гонщиков, расположенный за боксами, могли проходить только причастные к нашему делу люди или официальные лица. Правда, всяким ловкачам частенько удавалось пробиться в эту запретную

зону, для чего обычно использовались хорошие отношения с механиками или гонщиками, фирмами-поставщиками и промышленниками. А женщинам, особенно очаровательным, элегантным и с налетом "интернациональности", это было и вовсе нетрудно.

Перед розыгрышем "Большого приза Швейцарии" в Берне, в первый же день тренировок, мы с удивлением обнаружили двух красавиц, разгуливающих за боксами между машинами. Никто не знал, из какой они страны и с кем прибыли сюда. Я уже успел проехать обязательные круги и вышел из бокса, чтобы достать из машины сигареты. Тут-то я и увидел обеих незнакомок вплотную. Они оживленно разговаривали с Тацио Нуволари, слывшим великим сердцеедом. Его черноволосая голова римлянина и обветренное смуглое лицо производили на женщин неотразимое впечатление. В тот самый момент, когда я увидел Тацио около этих милых собеседниц, из его туристского лимузина почти бесшумно выползла какая-то женщина и с зловещим видом устремилась к ним. Еще мгновение, и произошло непоправимое: подкравшись сзади к беззаботно и весело болтающему Нуволари, она принялась быстро молотить по его спине своим изящным лиловым зонтиком. Молниеносно вскинув руки, чтобы защититься, он завопил: "О Дио мио! Мама миа!"[20]

Обе поклонницы автоспорта, шурша шелком и тюлем, тут же метнулись в разные стороны и исчезли. Одинокий и покинутый красавицами, огромный Нуволари беспомощно стоял перед своей разъяренной половиной и пытался ее как-нибудь утихомирить. После внушительной порции побоев начался темпераментный словообмен в чисто итальянском стиле, а проще говоря — уродливая перебранка. Затем она "обезвредила" своего грешника, запихнув его в лимузин и угрожающе хлопнув дверцей. Бедный Тацио, подумал я, невольный свидетель этой тяжелой сцены. Лишить человека малейшей свободы! Да ведь это просто жестоко! Публично избивать мужа, мыслимое ли дело! Вот, значит, чем чревата торжественная церемония бракосочетания с цветами и сакраментальным "да"!

Я искренне пожалел Тацио и решил побольше щадить его на маршруте. Бедняге и без меня здорово доставалось.

В другой раз я сам учинил примерно такой же скандал. В один прекрасный день в моей душе вспыхнула любовь к одной чарующей актрисе, чья улыбка в то время озаряла все киноэкраны. Я даже подумал приковать попрочнее это прелестное существо к себе и ко всей своей жизни. Я пригласил даму своего сердца поехать со мной на гонки в районе Гроссглокнера[2]Выехав на первую тренировку сразу после восхода солнца и войдя в

правый поворот, я поскользнулся на мокром от росы мосту, вильнул вбок и обоими левыми колесами выломал перила. Затем дважды прокрутился вокруг собственной оси и остановился. Машина почти не пострадала. Ребята из моей команды, расквартированные в долине, услышав грохот удара и наступившую за ним подозрительную тишину, мгновенно сели в машины и помчались к месту происшествия. Мой автомобиль взяли на буксир, а я поехал с механиками обратно. Все это, конечно, заняло немало времени. Прибыв в долину, я нигде не мог обнаружить мою избранницу. Выяснилось, что, как только я выехал на тренировку, она приняла приглашение двух иностранных журналистов посетить какой-то ресторан, где провела за шампанским несколько очень приятных часов.

Ох, как же я разозлился!

На запасной машине я проехал еще несколько кругов и при каждом спуске в долину тщетно искал свою ненаглядную. Подумать только — она поддалась первому же искушению, предпочтя веселую компанию и ресторан напряженной обстановке на линии старта и финиша. Покончив с тренировкой, я в одиночестве поехал в отель, где у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить над этим горьким разочарованием.

Наше знакомство окончилось бурным объяснением, мало чем уступавшим сваре в семействе Нуволари, после чего я вновь безраздельно отдался своей главной привязанности — любимой машине. Взвесив все, я не стал горевать. Кто знает, от скольких огорчений я избавился таким образом!..

Когда в ожидании старта, уже сидя в машине, я посмотрел на своего коллегу Германа Ланга, я вдруг почувствовал себя действительно свободным. В последние минуты перед стартом его чернокудрая Лидия что-то энергично втолковывала ему, а он терпеливо слушал. Она была, безусловно, очень мила и прекрасно относилась к мужу. Но перед стартом всякому гонщику необходимо собраться с мыслями, сосредоточиться. Кому здесь нужны всякие наставления и поучения!

Однажды она так громко кричала ему в ухо, что даже сквозь шум мотора я расслышал каждое слово: "Герман, дорогой мой, ты главное дело — газуй, слышишь? Газуй и не притормаживай! У меня еще нет меховой шубки, а у других есть уже по две!"

Бедный Герман Ланг!

И все-таки, когда руководитель нацистского автомотокорпуса Гюнляйн решительно потребовал отказаться от предстартовых прощаний с прекрасными дамами, мы восприняли это как вызов.

"Германский мужчина не целуется публично", — гласила мотивировка этого требования. По мнению Гюнляйна, нам

следовало "поменьше предаваться интимностям" и побольше "сосредоточиваться на предстоящей борьбе".

Когда на другой день после этого "руководящего указания" мы увидели Гюнляйна на трибуне, все как по команде вылезли из машин, быстро подбежали к боксам и каждый демонстративно поцеловал первую попавшуюся женщину. В восторге от этого "гимна любви" зрители бурно захлопали, а Гюнляйн в бешенстве отвернулся...

На мои представления о настоящей спутнице жизни огромное влияние оказала жена моего друга Рудольфа Караччиолы. Долгое время мне по-настоящему не нравилась ни одна другая женщина. Алиса Караччиола, в миру Бэби, отличалась подкупающей доброжелательностью и обаянием, которые вызывали во мне самое искреннее восхищение и все сильнее привлекали меня к ней. Шведка по рождению, она недолго была замужем за крупным швейцарским фабрикантом свечей для зажигания. Из любви к автоспорту и по рекламным соображениям он содержал собственную гоночную "конюшню", которой руководила Алиса. После развода она несколько лет прожила в Париже, где была связана большой дружбой с французом Луи Широном. Она покровительствовала ему и сделала из него гонщика международного класса. Лишь в 1936 году эта женщина обрела счастье и покой в браке с Рудольфом Караччиолой. Стройная, с отличной спортивной фигурой, она уже чисто внешне как нельзя лучше подходила к нему. Алиса отличалась и внешней привлекательностью, и умом. В "третьей империи" супругам Караччиола было не по себе, и они уехали в Швейцарию. В 1936 году они поселились в небольшом коттедже у подножия горы Монте-Брэ, откуда открывался вид на расположенное южнее озеро Лугано.

Решение построить этот домик было принято не без влияния Менгерса, друга и доверенного лица Руди. Этот широко образованный и бывалый коммерсант из Берлина еще в 1928 году, предвидя опасное развитие событий в Германии, обосновался в Лугано-Кастаньоле. Уже тогда он чувствовал, что немецкий народ будет втянут в новую войну. Поэтому он посоветовал Караччиоле покинуть нацистскую Германию и переехать в нейтральную Швейцарию. Что касается Алисы, то вид чернорубашечников, бесконечные маршировки штурмовиков под флагами со свастикой производили на нее гнетущее впечатление.

И все-таки Караччиола не мог сжечь все мосты, не хотел окончательно порвать свои связи с фирмой "Мерседес". Поэтому он выбрал именно такой выход из положения, т. е. "швейцарский вариант", и, будучи человеком состоятельным, не навлек на себя

никаких особых подозрений. Правда, поначалу переезд Караччиолы несколько удивил нацистов. Но, продолжая использовать его имя в интересах автомобильного спорта "Великой Германии", они быстро примирились с этим, поверив, что после аварии, которую он перенес в Монте-Карло, ему действительно необходим теплый и сухой климат Тессина, прогретый солнцем воздух южных альпийских склонов. Они даже выплачивали ему часть премий за победы в швейцарских франках. Это были очень хорошие деньги. В то годы Караччиола котировался высоко. Он завоевывал одну победу за другой — правда, не для нейтральной Швейцарии, а для гитлеровской свастики. Когда он поднимался на пьедестал почета, оркестр играл "Дойчланд, Дойчланд юбер алес"! Но тут он ничего не мог поделать.

Вплоть до начала войны я довольно часто посещал его гостеприимный дом. В перерывах между гонками я там отлично отдыхал, иногда по нескольку недель подряд, поневоле наблюдая жизнь и хлопоты его жены. Она была отличной хозяйкой, превосходно готовила, с тонким вкусом отделывала свое жилье, каждый день пекла пирожные, гладила рубашки своего мужа и по-матерински заботилась обо всех своих гостях. Человек с большим чувством юмора, Алиса умело поддерживала любой разговор, в совершенстве владела четырьмя языками. Вдобавок она представляла мужа на деловых переговорах и вела всю соответствующую переписку. А во время соревнований, когда вся команда жила при боксах, Алиса была необходима всем. Никто, кроме нее, не умел с помощью двух секундомеров одновременно и абсолютно точно замерять время четырех водителей. Мне она постепенно стала казаться каким-то идеалом жены автогонщика, и я начал сравнивать с ней всех женщин, с которыми мне доводилось знакомиться. Но, как говорят, мой фонарь не светил достаточно ярко, чтобы найти для себя подобную женщину для брака. Видимо, поэтому все долгие годы моей спортивной жизни я прожил холостяком. А Бэби как была, так и осталась моим идеалом...

Была у нее, между прочим, мексиканская обезьянка по кличке Анатоль. Этот красивый ухоженный зверек сопровождал ее повсюду. Он был чуть поменьше белки, и Бэби носила его в специальной сумке, укутанного в шерстяной платок, а в холодную погоду надевала на него один из нескольких пестрых пуловеров собственного изготовления. Анатоль был своего рода живым талисманом. Мы (вообще любили всякие символы удачи. Например, Герман Ланг пристрастился к подковам. Поэтому его жена Лидия приколотила такую железяку над входом в его бокс.

Тацио Нуволари ни при каких обстоятельствах не расставался со своим лимонно-желтым пуловером, равно как и с черепахой, подаренной ему опять-таки в качестве талисмана итальянским писателем Габриэлем д'Аннунцио. В моем доме был большой набор предметов, "приносящих счастье", которые я по настроению брал с собой. Так, годами я держал при себе "заговоренный" каштан, четырехлепестковый клевер, преподнесенный мне "нежной рукой", табличку с надписью: "Тьфу, тьфу, не сглазить!" — и даже надушенную прядь волос.

Все это были невинные проявления суеверия. Но иногда оно оборачивалось опасной стороной и нередко становилось причиной больших несчастий. Так, англичанин Ричард Симэн никак не мог отделаться от страха перед числом "13". Он никогда не занимал комнату под этим номером, не стартовал под ним, всегда пересчитывал, сколько гостей за столом. Лишь бы не 13! Он дрожал перед каждым тринадцатым кругом на маршруте. При тринадцатом проведении гонки "Коппа Асербо" в Италии, в пятницу 13-го числа, он врезался в километровый столбик с пометкой 13, к счастью, без тяжелых последствий.

В 1938 году в гонке на "Большой приз Германии", проходившей на Нюрбургринге, Симэн столкнулся со своим лучшим другом Эрнстом фон Делиусом, и этот молодой и способный гонщик вскоре трагически скончался. Симэн снова считал причиной всему проклятое число 13, ибо именно 13 июля он вылетел из США после соревнований на Кубок Вандербильдта, где ему присудили 13 очков за "Золотую звезду" — награду британского клуба автогонщиков.

Смерть Ричарда Симэна тоже каким-то роковым образом связана с этим числом. Было установлено следующее: 25 июня 1939 года на треугольном маршруте в Арденнах, между Спа и Франкоршаном, разыгрывался "Большой приз Бельгии"; старт приняли 13 автомобилей. Симэн пошел под номером 26, то есть 13 X 2, ему как раз исполнилось 26 лет, опять же 13 X 2, а в списке кандидатов на участие в этой гонке он значился на 13-м месте.

Маршрут проходил по обычному шоссе, с обычным скользким асфальтом, множеством подъемов, опасными крутыми спусками и узкими поворотами, которые надо было брать на возможно большей скорости. Дождь лил как из ведра, это был не просто ливень — с неба низвергался водопад. При таком "плавании" со скоростью 280 километров в час обгоны исключались начисто. Симэн вел свою машину с лихим отчаянием. Еще 13 кругов, и эта жуткая гонка осталась бы позади.

Но тут-то оно и случилось!

На 13-м километре, проходя опасный поворот около Ля Сурс, англичанин, слегка превысив допустимую скорость, задел внутренний барьер. Гонщика снесло вбок. Торможение и маневрирование рулем не помогло, машина врезалась задом в дерево и мгновенно вспыхнула багровым пламенем. Тщетно он пытался снять рулевое колесо. Затвор заклинило. Беспомощный, он сгорел в этой смертельной ловушке...

Английское недовольство и виски

В 1938 году, как и раньше, я с нетерпением ждал первых примет весны, когда нам предстояло приступить к опробованию новых моделей на автодроме Монца.

Телефонный звонок Нойбауэра, скликавшего свою "семью", вызвал чувство беспокойного и радостного предвкушения новых и упорных боев на трассе.

Пробные заезды принадлежат к самым прекрасным переживаниям в жизни автогонщика. После долгих месяцев отдыха я вновь садился за руль, наново испытывал чудесное ощущение постепенного слияния с машиной. Но все это еще было только игрой, далекой от суровости борьбы.

Когда после дневных трудов мы в хорошем настроении собирались за большим столом одного миланского ресторана и лакомились блюдами итальянской кухни, на нас отовсюду устремлялись взгляды, полные любопытства. Это было привычно и не вызывало никакой реакции с нашей стороны.

Мы говорили о работе инженеров и механиков в зимние месяцы, о хорошей устойчивости наших машин, об их надежных тормозах и перспективах будущих соревнований. Сегодня, вспоминая эти недели в парке Монцы, товарищеское общение с механиками и "штабом гонок", я просто поражаюсь тогдашней беззаботности нашего круга и почти полному отсутствию интереса к мировым событиям, которые, по сути дела, не могли не оказывать большого влияния на нашу жизнь. Весь ее смысл сводился к бешеной езде по трассам, к вечному поединку с мощными двигателями, к воле побеждать.

Аншлюс, то есть захват Австрии Германией 12 марта 1938 года, мы восприняли как нечто второстепенное, хотя, как мне помнится, не без радости. Нам казалось, что эта ловкая манипуляция Гитлера не только сделает нашу страну больше и сильнее, но и повысит ее престиж.

Еще в начале февраля этого, как оказалось, отмеченного важнейшими событиями года все мое семейство преисполнилось чувства гордости и удовлетворения: Гитлер назначил Вальтера фон Браухича главнокомандующим сухопутных сил.

Представитель рода Браухичей стал крупнейшим военачальником!

Весть о назначении моего близкого родственника первым офицером германского войска мои коллеги восприняли довольно спокойно. Впрочем, несколько дней я был в центре всеобщего внимания. Толстяк Нойбауэр, польщенный этой неожиданной связью его "конюшни" с военно-политическими сферами, на какое-то время стал ко мне намного милостивее.

В том году наше первое боевое крещение должно было состояться в апреле, в состязаниях на "Гран при де По" в Пиренеях. На этой узкой, скорее зигзагообразной, чем извилистой, дороге было крайне нелегко совладать с восьмицилиндровым 600-сильным двигателем. Вдобавок новая модель была на 100 килограммов легче прошлогодней и отличалась большей приземистостью. Маршрут состоял из 90 кругов и требовал от машины и водителя максимального напряжения. В ходе гонки повороты постепенно сделались скользкими от масла и наката, и поэтому каждый из бесчисленных обгонов становился более чем рискованным предприятием.

Завязалась жестокая, полная драматизма борьба между Караччиолой, Лангом и мною. Сначала вел Караччиола. После нескольких кругов, пройденных с рекордной скоростью, я оказался впереди. Свое преимущество я удерживал до 76-го круга, когда вышел бензин и пришлось стать под заправку. Это позволило Лангу повести. В конце концов я пересек линию финиша вторым, отстав от него всего на 16 секунд. Два "мерседеса" заняли первое и второе места — успех и честь для фирмы. Французских, английских, итальянских конкурентов и в особенности команду "Ауто-унион" мы разбили в пух и прах. Вполне понятно, что на следующий же день Нойбауэр поспешил устроить в Париже небольшой "пир победителей". Утром все выехали из По. Я же вместе с нашим врачом д-ром Глезером выбрался оттуда лишь в полдень на мощном 3,5-литровом "родстере"[22]. В пути я здорово гнал, чтобы не опоздать на торжественный ужин.

В полутораста километрах южнее Парижа, в местечке Фонтэн близ Вандома, на 140-километровой скорости я столкнулся на перекрестке с французской машиной. Из-под обломков извлекли трех тяжелораненых. Д-р Глезер отделался порезами на лице, я вообще не пострадал. Обе машины более или менее распались на свои составные части, то есть, проще говоря, разбились вдребезги. Глезер доставил пострадавших в больницу, а я позвонил Нойбауэру в Париж и сообщил ему о несчастье. Между тем у

места происшествия собралась толпа, и многие высказывались крайне нелестно о нас, немцах. Эта враждебность была, несомненно, следствием аншлюса и недовольства нацистской политикой вооружения. Французская пресса резко выступала против усиления германской армии и форсированного создания мощных военно-воздушных сил. Вся Франция с неослабным вниманием следила за строительством германского "западного вала", которое сопровождалось пропагандистской шумихой и требовало больших материальных затрат. Узнав, что я гонщик, собравшиеся несколько успокоились: симпатия к спортсмену перевесила антипатию к представителю милитаристской Германии, которого они было заподозрили во мне. Полицейское расследование быстро окончилось констатацией моей невиновности. Беседы с этими взволнованными французами подкрепили мое убеждение в том, что Германия медленно, но верно идет к опасной изоляции.

Когда вскоре после этой, в общем, тяжелой аварии я зашел в местный трактир, его крепкая и статная хозяйка, женщина лет пятидесяти, заявила, что, мол, месье срочно нужно поесть и выпить.

"Неужели вы думаете, месье, — сказала она, хлопоча у плиты, — что немцы поступают правильно, так настойчиво добиваясь новых земель? Ведь вы еще молоды и, видимо, согласитесь со мной, что без винтовки в руке гораздо легче и приятнее есть и пить!"

Она поставила на сверкающий чистотой кухонный стол глазунью из четырех яиц, и я принялся за еду.

"Только еда успокаивает нервы! Ешьте на здоровье, месье!" — заявила француженка.

Что мне еще оставалось?

Скоро из больницы вернулся д-р Глезер. Машины, которую Нойбауэр выслал за нами из Парижа, все не было. Я заскучал. Но с приходом в трактир нескольких водителей междугородных грузовиков атмосфера оживилась. Перекусив, они завели со мной разговор.

"Когда наблюдаешь вас, немцев, поодиночке, — сказал мне плотный и рослый пожилой шофер с бронзовым загаром на лице и густой бородой, — именно поодиночке, а не в куче, то вы кажетесь вполне разумными людьми. Но в массе вы опасны. Тогда вы обязательно начинаете маршировать, и как же это глупо! Тогда вы опять кричите "хайль!" вместо того, чтобы просто жить и работать".

Мы с Глезером невольно кивнули в знак согласия, и бородач, который уже пятнадцать лет возил свиней по этой дороге в

Париж, продолжал сдержанно и словно по-дружески упрекать нас.

"Взять, к примеру, тебя. Ты — гонщик. Ведь и в Париже, и в Монлери народ радуется твоим победам. Ты ездишь по всем странам, и никто на тебя не в обиде, что ты немец. Но от вас опять понесло пороховым дымом, а мы, французы, страсть как не любим его! У Гитлера не будет друзей во Франции, если он лишит нас спокойной жизни, а от немцев во всей Европе вечное беспокойство!"

Он поднял полный стакан красного вина и с нескрываемым раздражением выпил его...

Через несколько месяцев, 3 июля 1938 года, под Реймсом, опередив Караччиолу и Ланга, я в рекордное время выиграл 500-километровую гонку на "Гран при Франции". Вскоре после этой победы я и Нойбауэр получили от одной знакомой француженки, мадам Редерер, приглашение на пирушку в подвале шампанских вин.

В числе ста пятидесяти приглашенных были преимущественно промышленники, банкиры, почетные граждане города, старые офицеры и чиновники.

Большие длинные столы пестрели множеством цветов, а около каждого места были укреплены небольшие стеклянные краны. Гости сами себя обслуживали и по желанию доливали себе сколько хотели шампанского, охлажденного льдом.

Под столом тянулся трубопровод, соединенный с подвалом, где таились, как мне казалось, неисчерпаемые запасы этого игристого вина.

Все были в приподнятом настроении. Шестьдесят парижских музыкантов и несколько артистов развлекали общество короткими номерами. За столом "великих" все шло ходуном. Шампанское ударяло им в голову, развязывало языки, и тосты становились все более недвусмысленными.

Во многих репликах этих пожилых гостей, особенно кавалеров ордена Почетного легиона, сквозила тонкая, но явственная ирония по адресу немцев. Они давали нам понять, что сумеют заткнуть чересчур крикливые тевтонские глотки.

Правда, в этот вечер речь могла идти только о глотке Нойбауэра, объявившего конкурс на "скоростное" питье шампанского. Французы насмешливо наблюдали за ним, до конца встречи оставались безукоризненно вежливыми и, чинно кланяясь, осушали свои бокалы...

Однако мрачные тени "Великогерманской империи" стали все чаще ложиться и на гоночные трассы Европы.

Гонки на "Большой приз Англии" были назначены на конец сентября 1938 года под Ноттингэмом. Все боялись поворотов на

узкой гористой дороге, проходившей по огромному парку какого-то английского лорда. Нам предстояло проехать восемьдесят раз по кольцевой трассе длиной около 5 километров. Мне она как раз нравилась, хотя за год до того именно здесь из-за разрыва правого переднего баллона я лишился верной победы. Только это и позволило Бернду Роземайеру добиться успеха.

Ясно помню, как на сумасшедшей скорости, ежеминутно рискуя головой, мы прошли двадцать пять кругов. На поворотах машину Роземайера с кормовым мотором угрожающе заносило то вправо, то влево. В иных местах я срывался с асфальта и обдавал зрителей песком и вырванными кусками дерна. При одном из таких неловких съездов на обочину я слегка повредил баллон, который вскоре лопнул. Механики заменили колесо всего за шестнадцать секунд, однако я так и не сумел наверстать время на последних кругах.

Но воспоминания о прошлых спортивных эпизодах отошли перед современными политическими событиями на второй план. Гитлер потребовал "возврата" Судетской области, и в Англии все заговорили о войне.

Прибыв в отель, я сразу почувствовал напряженную атмосферу. Персонал работал с обычной предупредительностью, но крайне сдержанно и холодно. Казалось, каждый грум хотел нам показать свою ненависть к Гитлеру.

В английских газетах мелькали заголовки:

"Гитлер угрожает Праге!"

"Гитлер не дает времени на раздумье!"

"Диктатор Гитлер грозит войной!"

"Мир в крайней опасности!"

Я хорошо запомнил среду 28 сентября, когда лил проливной дождь, а мы, тесно сгрудившись, точно куры на шестке, сидели в холле отеля, все еще не зная, состоится ли гонка. Д-р Фоейрайсен, администратор команды "Ауто-унион", дежурил в германском посольстве в качестве "связного". Нойбауэр взял на себя руководство обеими командами.

Двумя днями раньше Гитлер выступил с речью в берлинском Спортпаласте, в которой прямо заявил, что "противостоит" Бенешу как солдат своего народа и что его "долготерпение" исчерпалось. Он говорил об альтернативе между миром и войной и в конце патетически воскликнул: "Мы готовы на все!"

В этой же речи Гитлер поблагодарил Чемберлена за его "старания": "Я заверил его, что немецкий народ не желает ничего, кроме мира; но я ему также объяснил, что наше терпение имеет пределы. Кроме того, я его заверил — и повторяю это здесь, — что если эта проблема разрешится, то у Германии больше не

будет никаких территориальных проблем в Европе".

Чемберлен ответил Гитлеру "моральным нажимом" на Прагу. 27 сентября, словно охваченный отчаянием, он заявил по радио: "Я бы не колеблясь поехал в третий раз в Германию, если бы верил, что это принесет какую-то пользу... Я всем сердцем предан делу мира. Вооруженный конфликт между народами представляется мне страшным кошмаром".

Но, добавил он, если, мол, на карту будет поставлено нечто большое и важное, то он, несмотря ни на что, все-таки готов взять на себя ответственность даже за такую ужасную вещь, как война.

Теперь все мы терялись в догадках. Правда, многие англичане считали, что их премьер миролюбив, но порицали его нерешительность и уступчивость, которые, как они полагали, только поощряли Гитлера в его наглых требованиях[23].

В этой неприятной ситуации мне очень помогла встреча с моем старым другом Руди Центом. На фоне общей нервозности он казался относительно спокойным. Уединившись со мной, он сказал:

"Здесь нам никто не помешает. Можешь говорить со мной совершенно открыто, ничего не опасаясь. Только знай одно: если немцы будут продолжать в том же роде, то твоим любимым автогонкам скоро придет конец".

"Не знаю, поверишь ли ты мне, Руди, но в Германии никто не может себе представить, что Гитлер действительно начнет войну".

"В том-то и все дело. Находясь вне Германии, мы очень внимательно следим за ней и не можем понять, почему целый народ говорит "да" этому террору. И ведь все вы единодушно одобряете его".

"Тебе легко говорить. А вот нацисты говорят так: кто не с нами, тот против нас, — ответил я. — После захвата власти они во всем руководствуются этим принципом и подавляют малейшую критику. А теперь все покатилось под откос..."

Выходило, что и я оказался в тележке Гитлера. Разве я не просил у него денег на гоночные машины? Разве он не дал их нам? В труднейших состязаниях мы добивались замечательных побед, нас приветствовали во всех странах, и всем нам не верилось, будто Гитлер собирается развязать войну. Не хотел в это верить и я! В конце концов я был гонщиком, а не политиком.

"Я хочу продолжать заниматься своим делом, хочу выступать на гонках. Больше ничего мне не надо. К тому же нельзя принимать все на свете всерьез. Сперва посмотрим, сумеете ли вы договориться с нашим правительством. Может быть, завтра мы все-таки отправимся в Ноттингэм. Все возможно! И тогда перед закрытием сезона я вновь "попляшу" на крутых поворотах. Ведь ты

знаешь, как я люблю эту трассу... Затем настанет октябрь, и мы поедем в Мюнхен, повеселимся, попьем пивка, поедим жареного мясца. Начнется время отпуска, сулящего мне все радости жизни. Ты обязательно должен быть со мной. Мы с тобой станем грозой всех мюнхенских кабатчиков, перевернем весь город вверх ногами. Ну как — согласен?"

Он промолчал...

Но все получилось по-другому. Туманной ночью наши машины поспешно взгромоздили на грузовики и кратчайшим путем перебросили к Ламаншу для отправки на континент. Мы поняли, что наш внезапный отъезд — это демонстрация против англичан.

Когда в предотъездной сутолоке я пожимал руку Руди Цента, его обычно веселое лицо было суровым. "Вот видишь, — сказал он, — твои нацисты давно уже впрягли спорт в политическую повозку. Но вам, гонщикам, конечно, приходится закрывать на это глаза и без звука покоряться приказам вашего министра иностранных дел. Счастливого тебе пути! Поклонись Мюнхену и... оставайся оптимистом! До скорого свидания, Манфред!"

Из-за недоверия к англичанам на каждый грузовик поставили по большой канистре с высокосортным бензином, чтобы в случае надобности идти своим ходом. При малейшей неосторожности машины могли загореться и стать, так сказать, первыми символическими факелами новой войны...

Но все обошлось, и наутро мы благополучно высадились в Голландии.

Никогда в жизни, плывя вверх по Рейну, я не видел так мало машин на его берегах, как в этот раз. Казалось, Германия вымерла. Угрозы Гитлера начать войну нагнали на всех немцев смертельный страх. Люди отупели от многолетнего барабанного боя. Все выжидали.

Но вот было заключено Мюнхенское соглашение. Подписанное в ущерб чехословацкому народу, оно вроде бы устранило непосредственную опасность войны[24]. Королевский автоклуб Англии, желая наверстать упущенное, сразу же возобновил переговоры о гонках на "Большой приз". В середине октября мы снова всем гамузом отправились из Штутгарта в Англию. В день гонок флаг со свастикой мирно развевался рядом с "юньон-джэк", французским "триколором"[25] и итальянским знаменем с фашистским пучком ликторских розог. В последний день тренировок его королевское высочество герцог Кентский, младший брат короля, приехал посмотреть на нас, как бы подчеркнув спортивную беспристрастность англичан. Дик Симэн удостоился чести представить нас высокопоставленному гостю.

К сожалению, уже в начале первых "пристрелочных" заездов со мной случилась неприятность. Распахнув перед Симэном выездные ворота парка, я вскочил на подножку его машины, чтобы проехать метров полтораста через лужайку к старту. Симэн пронесся на большом газу по ухабам и рытвинам, затем резко рванул руль, я не удержался, пулей отлетел в сторону и, перекувырнувшись несколько раз, распластался на земле. Результат: три или четыре кровоизлияния в бедре и левом предплечье и перелом мизинца на левой руке. Это сильно подорвало мою "форму", а извинения Симэна за "шалость", конечно, не помогли мне.

В день гонок, 22 октября 1938 года, герцог Кентский в присутствии многотысячной толпы дал старт последнему состязанию года. Всем его участникам, кроме Нуволари, который от начала и до конца шел первым, крупно не повезло. На двадцатом кругу пробило масляный бак одного из "альфа-ромео", и добрая сотня метров маршрута покрылась липким слоем. Руди Хассе и швейцарец Кауц на машинах "ауто-унион" влетели из-за этого в кювет. Англичанин Симэн, который хотел выиграть любой ценой, тоже соскользнул с шоссе. Нуволари, Лангу и мне каким-то чудом удалось выйти из скольжения. Понятно, что из-за полученных травм я чувствовал себя на этой "скачке с препятствиями" вдвойне скованным. На 60-м кругу камнем разбило ветровое стекло Германа Ланга, ревущий поток встречного воздуха ослеплял его, идти на 270 километрах в час стало невозможно, и он сбавил темп. Машина Боймера, младшего из команды "Мерседес", загорелась из-за неисправности в выхлопе. И все в том же духе. В конце концов победил Нуволари на "ауто-унион"; Ланг, Симэн и я — все на "мерседесах" — заняли остальные места. Этим неудачным состязанием и окончился сезон 1938 года.

Как и за месяц до того, после нашего поспешного "бегства" из Англии, я отправился в Баварию, мою излюбленную "вторую родину", чтобы отдохнуть в своем доме на берегу Штарнбергского озера, по соседству с дачей артиста Ганса Альберса. Я хотел встретиться с ним, зная, что он снимается в каком-то фильме в баварском местечке Гайзельгастайг и живет в мюнхенском отеле "Регина".

Между моим жилищем в Поссенхофене и перестроенным крестьянским домом Альберса в Гаратсхаузене, находился нарядный коттедж Эрнста Хэннэ, бывшего мирового рекордсмена по мотоциклетным гонкам, работавшего для фирмы БМВ. Все мы были "приозерниками" и частенько приезжали друг к другу на моторках или водных лыжах.

Мы крепко сдружились и провели втроем много вечеров, распивая вино и коньяк, играя в кости и хохоча до слез над уморительными рассказами и анекдотами Альберса. Юмор этого популярного гамбургского актера и его неизменно хорошее настроение вошли в поговорку, и многие из его пессимистически настроенных современников искали его утешительного общества.

Лучше всего он чувствовал себя в своем доме в Гаратсхаузене, в котором расхаживал в крестьянских сабо. С мостков своего лодочного сарая он иногда ни с того ни с сего сталкивал в воду кого-нибудь из своих любимых гостей в полном параде. Зимой ежеутренне окунался в студеное озеро, еще больше закаляя свой на редкость здоровый организм...

Портье сказал мне, что мой друг у себя в номере, и, обрадованный, я направился к нему. Он занимал так называемые "княжеские покои". Облаченный в утренний халат, он сидел в кресле и читал сценарий.

"Наконец-то ты пришел, дружище! — восторженно рявкнул он. — Входи, входи, молодой человек! Они, говорят, хотели испортить вам последнюю гонку. Это правда? По крайней мере так я слышал. Мало им кино, этим коричневым фрицам, теперь они взялись и за вас, спортсменов. Командуют везде и во всем... Но давай-ка утешься, мой мальчик, — сказал он смеясь и налил мне шаровидный бокал такого коньяку, которым бы не побрезговал даже рыцарь Джон Фальстаф. — Ну, выпьем за лучшие времена!.. А теперь расскажи-ка, что с тобой было в Англии..."

С нацистами у Альберса не было ничего общего. Его жена, еврейка Ганзи Бург, была вынуждена эмигрировать в Англию. Альберс решительно отклонил все предложения кинодиктатора Геббельса сниматься в гитлеровских агитках. Он был одним из немногих крупных артистов, которые никогда не присутствовали на шикарных приемах у министра пропаганды.

Выслушав мой подробный отчет о наших приключениях в Англии, Альберс предложил мне провести с ним вечер в обществе двух восходящих кинозвезд.

"Оставь машину у подъезда, притащи свой чемодан и переночуй у меня".

Его номер состоял из салона, большой спальни и ванной комнаты. Мы позвонили Эрнсту Хэннэ и пригласили его присоединиться к нам.

Неприятные дни, пережитые в Англии, были забыты. Даже шотландское виски не напомнило мне о них.

Дружеская услуга

Как-то в начале декабря 1938 года, придя без приглашения на квартиру фрау фон Штенгель на Курфюрстендамм, я застал у нее Ганса Леви.

Едва переступив порог комнаты, где они сидели, я почувствовал какую-то тягостную атмосферу и насторожился. Здесь происходит нечто весьма неприятное, подумал я. Сердечное приветствие хозяйки не изменило этого ощущения, напротив, выражение ее глаз и раскрасневшееся лицо только укрепили мои подозрения.

Извинившись за неожиданное вторжение, я спросил, можно ли мне участвовать в беседе.

"Мой дорогой Манфред, — засуетился Ганс Леви. — Этот разговор не для вас. Вы живете на другой планете.— И, скорчив гримасу, добавил: — К сожалению, мы оба живем в условиях препротивной действительности".

Я удивленно посмотрел на Ганса Леви — невысокого мужчину с непропорционально большой головой, обычно сопровождавшего свои слова оживленными, но мягкими жестами, к которым вполне подходил его тихий голос, приветливые глаза и очень внимательное выражение лица. Казалось, он вечно охотится за новыми мыслями и сам наслаждается своей находчивостью, когда спорит на различные темы или опровергает мнение противника.

В тот день он был совсем иным. Темные мешки под печальными глазами, беспокойные движения рук, затаенный страх — все это было в нем непривычно и обращало на себя внимание.

Будучи евреем, он, возможно, инстинктивно опасался меня, полагая, что в обстановке нараставшей тогда волны антисемитизма мои добрые чувства к нему могли измениться. Но после первых же слов незримая преграда между нами исчезла, и Леви почувствовал, что я остался прежним.

Взметнувшееся к небу пламя 177 синагог, подожженных в ночь с 8 на 9 ноября 1938 года, показало всему миру истинный лик фашизма. Евреев обложили карательной данью в размере одного миллиарда марок и вслед за тем полностью исключили из экономической жизни страны. Вся заграница возмущалась этой подлостью. Евреев, точно рабов, отправляли в концентрационные лагеря, где они работали в страшных условиях[26].

С 1941 года эсэсовские палачи приступили к "окончательному решению еврейского вопроса" — так называлось организованное государством систематическое истребление свыше 5 миллионов евреев. Таковы были плоды Нюрнбергских законов от 1935 года, в подготовке которых видную роль сыграл д-р Глобке, многолетний

ближайший сотрудник бывшего западногерманского канцлера д-ра Аденауэра. Утратившие всякий человеческий облик фашисты избивали до смерти или вешали евреев, умертвляли их в газовых камерах, а затем сжигали в особых печах...

Обращаясь к фрау фон Штенгель, Леви сказал: "Формально они не выбросили меня на улицу, только уволили в отпуск. Но видимо, я поступлю правильно, если по собственной инициативе откажусь от сотрудничества в "БЦ ам миттаг". Тогда я выйду из их поля зрения".

"Но чем же вы станете заниматься?" — спросил я.

Несмотря на свои горестные заботы, Леви ответил мне шуткой: "Овладею новой основной профессией: игрой в прятки... замаскируюсь шапкой-невидимкой. А по совместительству добывать себе какую-нибудь еду".

Он был как затравленный зверь — иначе не скажешь. Когда фрау фон Штенгель на минуту вышла из комнаты, он наклонился ко мне и сказал шепотом: "Вы не представляете себе, что со мной творится всякий раз, когда в моей квартире раздается звонок. Каждодневная, вечно новая и жестокая пытка, пока наконец не выясняется, что пришел почтальон, а не гестапо".

"Это ужасно, дорогой Леви, надо поговорить обо всем. Но только не здесь. Давайте я вас увезу отсюда. Согласны?"

Вообще говоря, от фрау фон Штенгель у меня не было никаких тайн. В течение нескольких лет мы частенько выручали друг друга из малых и больших бед, и все-таки... мой разговор с Леви начался с глазу на глаз и его следовало так же продолжить.

Глубоко уважаемая мною госпожа фон Штенгель имела множество друзей, относившихся к ней со всей сердечностью, однако по деловым соображениям ей приходилось поддерживать знакомства с высокопоставленными чиновниками из СА и СС. Еврейка по рождению, она нуждалась в этих связях для личной безопасности. Поэтому в данном случае я решил руководствоваться поговоркой: "Чего не знаю, о том и не вспоминаю..."

В прошлом я никогда не предавался серьезным размышлениям о Лизель Штенгель, которую просто считал хорошим фотографом и вообще ловким дельцом в юбке. Теперь мне вдруг пришло в голову, что при ее связях она сможет легко выкрутиться из любого положения. Но после разговора с Леви я также понял, что через день-другой и на нее может обрушиться несчастье...

Начало темнеть, и фрау фон Штенгель принесла зажженную свечу. Видимо, она радовалась моему приходу — он позволял ей поскорее окончить этот тяжкий разговор.

"Манфред, — обратилась она ко мне. — Мы никогда не думали, что все станет так серьезно. С каждым днем обстановка ухудшалась, а мы все не верили, что будет еще хуже. Ты часто приходил ко мне, и мы говорили решительно обо всем. Сколько "блестящих" политических прогнозов родилось в этой комнате, и какими беспочвенными оказались они на поверку, как мало мы себе представляли истинную взаимосвязь между событиями. Во всяком случае, и ты и я всегда исходили из тех нравственных принципов, в которых нас воспитывали. А они... им на эти принципы наплевать, и все их так называемые "концепции права" не являются ни правом, ни законом и толкуются ими как угодно. В этом их преимущество перед нами. И теперь мы видим: послы, высшие государственные деятели, да что там — целые народы капитулируют перед ними. Значит, и нам не остается ничего другого!"

После паузы она продолжала:

"Вспомни, как неожиданно исчез Тео Хаубольд и как после полутора лет концлагеря он вновь всплыл на поверхность... Мы страшно обрадовались ему, стали забрасывать его вопросами, а он?.. Вместо ответа он то и дело прикладывал палец к губам. А что делали мы? Мы тоже замолчали и уже не решались расспрашивать его. Все это казалось слишком жутким и призрачным. Видного социал-демократа ни за что ни про что хватают и бросают за решетку. Мы же просто игнорировали это. А случись с нами завтра то же самое — другие будут это игнорировать",

И вдруг, словно испугавшись собственных слов, она добавила: "Но хватит про это, точка!.. Не хочу больше смотреть на ваши унылые лица. Выпьем за оптимизм, который никогда не должен нас покидать. А ты, Манфред, расскажешь нам какую-нибудь смешную историю из твоей спортивной жизни. Лучше что-нибудь про Париж, чтобы не говорить о Германии".

Мне было не до смешных историй, все эти разговоры очень расстроили меня. Кроме того, я ломал себе голову, как бы помочь Гансу Леви.

Вечером, когда к нашей приятельнице пришли новые гости, мы с Леви откланялись.

Холодный и порывистый декабрьский ветер гулял по берлинским улицам. Молча мы подошли к моей машине. Я невольно припомнил, как познакомился с Гансом. В свое время я был просто счастлив, когда, впервые придя в редакцию, встретил в нем полного дружелюбия редактора. Он дал мне много дельных товарищеских советов. Потом мы с ним несколько недель работали над радиопьесой "Как стать автомобильным гонщиком",

подкрепляя себя десятками чашек крепкого кофе. Он был неистощим на выдумку, на острые сюжетные ходы. Да и вообще это была его идея! Я сам ни за что бы не решился взяться за столь трудное дело. И вдруг он попал в такую беду! Я обязательно должен был что-то предпринять. Но что? Как?

"Пожалуйста, садитесь!" Я захлопнул дверцы, почти бесшумно тронулся с места и медленно, на второй скорости, покатил в сторону Халензее.

Всю дорогу мы молчали.

Свернув в тихую боковую улицу, я заглушил мотор и выключил фары. Затем закурил сигарету и сказал:

"Давайте спокойно обсудим, что можно сделать. Заранее прошу не благодарить меня, ибо считаю своим долгом хотя бы подумать, как изменить к лучшему ваше тяжелое положение. Если дело выгорит, значит, нам повезло! Итак... что придумать? Теперь ясно, что вам необходимо возможно скорее покинуть Германию. Оставаясь у себя дома, вы либо сойдете с ума от страха, либо... в какой-то день или в какую-то ночь вас действительно заберут. Тогда конец!.. Значит, прочь отсюда!"

"Но куда же? — прервал он меня. — Я действительно не знаю, куда мне деваться. Просто ума не приложу. Посоветоваться не с кем. Боязно. Вы первый, если не считать фрау фон Штенгель. Спрятаться у родных — есть у меня дядя и кузина — тоже нельзя. Они точно в таком же положении. Совсем недавно забрали моего шурина".

"А деньги у вас есть? — спросил я. — С деньгами такие дела делаются куда легче. Я знаю врача на Курфюрстендамм, который зарабатывает прямо-таки прорву денег, а тратит еще больше. У него огромные связи с нацистскими бонзами, и с его помощью, быть может, удастся подыскать вам "арийского отца". Ведь именно благодаря такому трюку удержалась до сих пор на поверхности наша общая приятельница".

"Знаю, знаю, — сказал Леви, — но это очень сложно".

"И все-таки, если найти ход к влиятельному лицу, можно добиться официального свидетельства об арийском происхождении. Геринг устроил это, например, гонщику Розенштайну, с которым летал в мировую войну, и генералу Мильху, тоже еврею. Может, и вам улыбнется счастье. Геринг даже как-то заявил: "Я сам решаю, кто еврей!" Это мне точно известно..."

Мы снова долго молчали, но я не сдавался. И вдруг меня озарило:

"Послушайте, Ганс, все это и в самом деле чересчур сложно. У меня возникла гораздо лучшая и к тому же очень простая идея: я

знаком с одной чудесной женщиной, первоклассной актрисой и отличным товарищем. Она владеет участком на берегу озера Ваннзее, где, помимо главного дома, есть еще двухкомнатный летний коттедж. Сейчас она на гастролях за рубежом. Ключи от коттеджа у меня. Я мог бы сейчас же незаметно отвезти вас туда. Дело очень стоящее. Коттедж расположен довольно далеко от основного строения, вас никто не увидит. Кроме того, оба дома разделены холмом, поросшим кустарником и деревьями. В садовой ограде близ коттеджа есть отдельный вход. Выйдя через него на улицу, вы попадаете в своеобразный пустынный парк и можете, опять-таки незаметно, скрыться".

"Браухич, дорогой мой, да это же просто чудесно!" — возбужденно проговорил он.

"Сегодня же ночью поедем туда. Никаких колебаний! Как говорится, перст судьбы".

"Манфред, вы, конечно, понимаете, что в годы, когда в Германии нарастали все эти страшные события, я не раз обдумывал всевозможные планы бегства. Вы спросили меня о деньгах. Я уже немало потратился на подготовку "прыжка" в Америку, позаботился и о том, чтобы на первых порах не умереть там с голоду. Но я буквально подавлен антисемитскими преследованиями. Ведь нам запрещено посещать театры, кино, ограничивают наше право покупать необходимые нам товары. Надеюсь, через восемь-десять дней мне удастся выбраться в Швейцарию. Оттуда я, вероятно, сумею двинуться дальше".

"А пока что поживите у озера. Там вы будете как у Христа за пазухой. Так что соглашайтесь!"

Он с признательностью пожал мне руку.

"Будем ковать железо, пока горячо!" — сказал я.— Сейчас я вас высажу где-нибудь около вашего дома, и вы не торопясь уложите все необходимое в чемоданы. Уже поздно, и соседи вас не увидят. Точно в условленное время я заеду за вами".

"Для меня это трудное решение, — сказал Леви, — но выбора нет. Я согласен!"

Все произошло так, как было задумано, и я благополучно доставил Леви за город.

"Теперь пусть в вашу квартиру звонит кто угодно!" — сказал я на прощание.

На следующей неделе я дважды навестил Леви, информировал его о событиях в Берлине, беседовал с ним о его планах. Он со дня на день ожидал получения по конспиративному адресу бумаг на въезд в Швейцарию. Мы договорились, что если в следующий мой приезд его гнездо окажется пустым, то сразу же после прибытия в Швейцарию он пришлет мне весточку за

подписью швейцарского гонщика Хубера.

Я снова приехал на Ваннзее. Дом уже был пуст. Не прошло и недели, как я получил условленное письмо. В этот вечер я в одиночестве отпраздновал двойную победу — свою и моего друга. Она стоила ничуть не меньше иного "Гран при"!

Через несколько дней в салоне фрау фон Штенгель пошли тревожные разговоры о внезапном исчезновении Ганса Леви. Я их выслушивал с озабоченным лицом и величайшим сочувствием, но, несмотря на сильнейшее искушение, тайны не выдал.

Фрау фон Штенгель благодаря своим связям благополучно прожила первые четыре года войны. Но настал и для нее черный день. Она тоже стала жертвой гестапо. В 1943 году морозной зимней ночью ее забрали. Вместе с матерью она попала в концлагерь Терезиенштадт и словно в воду канула. Я очень волновался за нее, упрекал себя, что перед войной не предложил ей последовать примеру Леви. Но уже было поздно.

Мы все еще празднуем 27 января…

Это повторялось регулярно с 1909 года: 27 января, в день рождения кайзера Вильгельма II, большой семейный совет Браухичей вновь пригласил меня на встречу в берлинский дворянский клуб. Вековые узы нашего рода с домом Гогенцоллернов упрочились настолько, что никому не приходило в голову выбрать какую-нибудь другую дату для этих встреч.

Трехэтажное здание клуба высилось вблизи здания рейхстага. Клуб располагал отличной кухней и находился в распоряжении аристократических семейств для собраний, торжеств в узком кругу и заседаний семейных советов. В прежние годы в честь августейшего верховного военачальника произносились церемонные выспренние речи. Но со временем стали ограничиваться кратким поминальным словом, перед которым оркестр играл туш.

Для моей матери этот праздник был особенно знаменателен, ибо она отмечала свое рождение в тот же день, что и кайзер.

27 января 1939 года в клубе собралось особенно много родственников. 80-й день рождения "его величества" давал повод вдоволь наговориться в узком кругу о прошлом и настоящем. Как всегда, царила радостная атмосфера встречи наших семейств. Внешне облик этого общества определялся морскими, армейскими и летными мундирами. Господа постарше были одеты в строгие темные костюмы.

Я увидел барона Болько фон Рихтхофена, брата знаменитого военного летчика, и Дитлофа фон Хаке фон дер Хакебург, здесь были и представители семейства фон Бомсдорф и старый великан

Йохен фон Бернек, отпрыск рода, живущего в крепости Бернек, расположенной на горном массиве Фихтель. Отставной генерал Готтфрид фон Браухич сидел рядом с генералом от инфантерии Клаусом фон Этцдорфом.

Дамы обособились в углу, окружив мою "новорожденную" мать. Толстый граф фон дер Шуленбург, оживленно жестикулируя, беседовал с моим дядей Зигфридом фон Браухичем из замка Римбурга под Ахеном, а Вальтер фон Браухич, главнокомандующий армии, стоял в центре группы офицеров, в числе которых находился его сын Бернд, капитан люфтваффе и личный адъютант рейхс-маршала Геринга.

24 сентября 1938 года дядя Вальтер сочетался браком с молодой женщиной, некой Шарлоттой. Чтобы не обострять до крайности шокинг, испытанный всеми Браухичами по этому поводу, он прибыл на семейную встречу без своей новой супруги. Женитьба на ней была для моего дяди несомненным мезальянсом, а кроме того, она слыла "стопятидесятипроцентной" нацисткой, что никак не могло повысить ее престиж в нашей среде. Учитывая положение и заслуги генерал-полковника, союз семейств счел возможным посмотреть на его неравный брак сквозь пальцы и воздержался от официального осуждения столь явственного "попрания родовой чести".

В этом блистательном кругу я уже давно был на положении изгоя и, в сущности, не поддерживал с моими сверхаристократическими родичами никаких отношений. И теперь и раньше они считали мою "сумасшедшую езду" занятием, несовместимым с достоинством нашей семьи. Да и пришел я сюда только ради матери, ибо, после того как семейный совет дважды резко осудил мое поведение — в первый раз из-за того, что я стал гонщиком, и во второй по поводу моего столкновения с Ширахом, когда разговор зашел о "запятнанной чести", я не имел особых поводов искать встреч с этими господами.

Мой брат Гаральд сумел найти общий язык с ультраконсервативной группой стариков и служил своеобразным мостом между ними и молодым поколением, чье мнение здесь вообще не котировалось. Родственные отношения ни на йоту не ослабляли строжайший военный этикет. Все формы общения между многочисленными Браухичами регламентировались предписанной респектабельностью, сдержанностью и неукоснительным соблюдением чинопочитания, и достаточно было малейшей оплошности, чтобы навлечь на себя неодобрение.

Поэтому удивительно, что единственный из них, с кем мне всегда говорилось легко и просто, был самый высокий по чину, дядя Вальтер, который после своего назначения на пост

главнокомандующего армии, естественно, стал предметом особого уважения.

На сей раз всеобщее изумление вызвал "либеральный" порядок рассадки представителей старшего и младшего поколений, которые обычно строго разделялись и сидели врозь. Я оказался прямо напротив дяди Вальтера, и, заметив это, он искренно обрадовался.

Точно так же мы сидели друг против друга еще давным-давно, когда он, тогда еще майор, своим великодушным вмешательством спас мою "военную карьеру". Мой ротный командир капитан Клеснер третировал меня, несчастного фаненюнкера, как только мог. На какой-то вечеринке в казино мне наконец представился случай отомстить моему мучителю. Заметив, что капитан вошел в уборную, я запер его в ней. К несчастью, какой-то ординарец увидел эту сценку и потом выдан меня. Заставив капитана проторчать "там" целых сорок минут, я испытал чувство глубокого удовлетворения, и только оно помогло мне снести бесчисленные кары, обрушившиеся на меня после описанного эпизода.

Вероятно, этот солдафон доконал бы меня, если бы не мой дядя. Он взял меня под защиту и добился, чтобы мне был назначен "срок реабилитации". Эту его услугу я помнил всегда!..

Я наблюдал за ним, разглядывал его генеральские погоны. Не будь Гитлера, он не взлетел бы так высоко, подумал я. Развертывание армии обеспечивало всем офицерам быстрое продвижение по службе.

Дядя Вальтер производил на окружающих сильное впечатление строгостью взгляда, волевым, чуть обветренным лицом и энергично сжатым ртом. Свою традиционную преданность военному ремеслу он умело сочетал со здоровым честолюбием и полезными связями, которые помогли ему избежать политических рифов гитлеровской империи. Но его серьезное лицо не было казенно застывшим. Часто оно освещалось выражением приветливости и даже веселости. Дядя Вальтер отличался тонкой иронией и юмором, то есть обладал качествами, почти невероятными для прусского офицера старой школы.

Наконец окончилась официальная часть нашей семейной встречи и общество распалось на группы. Вальтер фон Браухич и его сын Бернд сидели за небольшим столиком. Я присоединился к ним. Отец и сын виделись так редко, что с удовольствием воспользовались этим случаем для спокойной беседы. Чуть высокомерным тоном, свойственным молодым офицерам, Бернд

обратился ко мне: "Ты — одна из наших рекламных вывесок за границей. Расскажи, о чем там говорят, что пишут в газетах?" Я вопросительно уставился на его отца. Тот сразу понял мой взгляд и, улыбнувшись, сказал:

"Ты только не стесняйся, Манфред. Именно от тебя, известного спортсмена, мне интересно услышать, о чем там толкует публика".

"Ничего хорошего я вам рассказать не смогу, — ответил я. — Везде есть люди, которые еще хорошо помнят кайзера Вильгельма. Они утверждают, что опять слышат звон его сабель. Это и понятно, особенно если говорить об Англии и Франции. Когда в сентябре, незадолго до Мюнхенского соглашения, мы свернули свой палаточный лагерь под Лондоном, уже ни один англичанин не симпатизировал нашей стране. "И чего это немцам снова неймется?"— спрашивали нас. Прямо говорю вам — там не верят миролюбивым заверениям фюрера".

"Но ведь Гитлер совсем недавно заявил, что у него больше нет никаких территориальных притязаний", — заметил Бернд.

Дядя отнесся к реплике сына не слишком серьезно.

"Настроениями общественности за границей мы до сих пор пренебрегали, — сказал он. — Куда важнее, как относятся к нашим планам иностранные правительства".

"По-моему, наш пропагандистский босс Геббельс, к сожалению, действует слишком топорно", — заметил Бернд.

"Не согласен ли ты, отец, что очень уж назойливые призывы "Домой на родину!" только вредят нам за границей?"

Дядя Вальтер глубокого вздохнул, а Бернд добавил:

"Никто не сомневался, что этот доктор и все его министерство всеми силами пытаются подстричь всех под одну гребенку".

"Газеты, призванные формировать общественное мнение, — сказал Вальтер фон Браухич, — могут принести немалый вред, и неплохо, если какая-то инстанция держит их в руках. На мой взгляд, в нашем кайзеровском отечестве важность прессы явно недооценивалась".

"Да, дядя, я до сих пор помню газетные заголовки той поры, хотя еще был мальчишкой:

"Французы обливают кипятком мирных немецких солдат!", "Штатские французы стреляют немецким войскам в спину!", "Врачи отравляют колодцы!"... Все мы ополоумели от этого подстрекательского вранья и жаждали мести. Все устремились в казармы, чтобы с оружием в руках отстоять свой "фатерланд".

Затем я спросил:

"В эти дни печатаются сообщения о нападениях чешских

пограничников и о репрессиях против немцев, живущих в Чехословакии. Что это — прелюдия к нападению на эту страну?"

Дядя Вальтер пожал плечами и пропустил мой вопрос мимо ушей.

"Лучше расскажи еще что-нибудь о своих заграничных впечатлениях. Ты, безусловно, хороший гонщик, но, пожалуй, не представляешь себе, как надо действовать, чтобы в глазах мировой общественности виновной всегда казалась другая сторона".

Он явно уклонялся от прямого ответа. Как выяснилось впоследствии, с декабря 1938 года все планы и распоряжения, касавшиеся порабощения Чехословакии, проходили через его руки.

"Хрустальная ночь" — вот что, по-моему, больше всего повредило нашему международному престижу, — продолжал я. — Меня просто пугало то, что я читал в газетах и слышал по радио, когда в дни рождества и Нового года гостил у Караччиолы в Лугано. Сколько возмущения нашим государством! Сколько оскорблений в его адрес! Нам только остается порвать отношения со всеми странами. За границей наши антиеврейские мероприятия называют варварскими преступлениями!.."

"Это пятнышко на нашей визитной карточке скоро поблекнет, — прервал меня Бернд. — Действия наших вооруженных сил в Испании вызывали те же комментарии. А ведь там все делали мы: именно наши пикирующие бомбардировщики проложили генералу Франко путь в Мадрид".

О преследованиях евреев мой дядя не проронил ни слова. Но его молчание было достаточно красноречивым.

Он испытующе посмотрел мне в глаза и сказал:

"Военные были и остаются самым цельным и чистым элементом государства, они образуют его костяк. Имея в руках эту силу, фюрер изменит лицо всей Европы. Так-то, дорогой Манфред! Все мы, конечно, надеемся, что дело обойдется без кровопролития. До сих пор фюрер избегал его с помощью гениальных шахматных ходов, но никто не знает, долго ли еще другие народы будут мириться с его политикой".

Отечески заботливым тоном, однако же, не без насмешки он посоветовал Бернду:

"Ты следи только за одним: пусть твой маршал Геринг вовремя позаботится о своих "легендарных" воздушных силах. Может статься, они нам очень понадобятся".

"Я все знаю, мой генерал, — ответил Бернд. — Наши самолеты четко выполнят любое задание, куда бы их ни послали. На этот счет Геринг не сомневается, но он здорово злится на

штатских пропагандистов Геббельса. Сейчас он серьезно обдумывает, нельзя ли, воспользовавшись скандальным мезальянсом нашего уважаемого военного министра фон Бломберга, как-нибудь разжечь антикоммунистические настроения, заявив, что, мол, именно коммунисты подложили ему в постель отъявленную проститутку Эрну Грун! То есть внушить народу, что таким образом они хотели подорвать авторитет нашего "первого офицера".

"Пожалуйста, замолчи, — недовольно перебил его отец. — Не стоит об этом!"

"Но, к сожалению, в офицерских казино до сих пор без конца говорят об этой истории", — продолжал Бернд.

"Все-таки непостижимо, чтобы генерал-фельдмаршал тайком от общественности и при весьма загадочных обстоятельствах ни с того ни с сего женился на уличной женщине, — осторожно проговорил я. — Это очень странно, даже если в роли брачных свидетелей выступили фюрер и Герман Геринг".

Дядя Вальтер поднял руку в знак окончания этого щекотливого разговора и предложил выпить...

Заиграл оркестр. В зеркальном зале выстроились пары для традиционного полонеза. Мне удалось пригласить мою мать, и в течение следующих десяти минут мы с ней были абсолютно счастливы. Вообще в этой атмосфере общего хорошего настроения я не скучал, время пролетело незаметно, и только в первом часу ночи мы с матерью и братом покинули клуб.

Между прочим, на подобных вечерах мне всегда казалось, что мать пристально наблюдает, не оказываю ли я предпочтение какой-либо из кузин. Дело в том, что эти родственные встречи с заботливо выращенными сельскими простушками дворянских кровей были своего рода ярмарками невест. Но ни мать, ни я никогда не обнаруживали среди них хоть одну, достойную внимания.

В следующий вечер мы с матерью и братом сидели за уютным семейным столом и обсуждали вчерашнюю встречу. Мать хотела услышать подробности о моем разговоре с дядей Вальтером и Берндом. Я вкратце изложил его суть, упомянув и про замечания насчет необдуманного брака генерала фон Бломберга. Мать, как всегда в подобных случаях, нашла какие-то объяснения и оправдания, но тут же стала мне внушать, чтобы я в любых обстоятельствах не ронял свое сословное достоинство и вел себя как дворянин. "Очень хорошо, — заметила мать, — что хотя бы Гаральд свято хранит традиции нашего семейства".

"А дядя Вальтер! — возразил я. — Ведь он-то офицер старой школы, а теперь делает карьеру по указке людей, которых прежде

не удостоил бы и взглядом".

Лицо матери нахмурилось.

"Мой дорогой Манфред, все мы любим наше отечество и гордимся, что позорный для Германии Версальский договор разорван. Но сделал это Гитлер — неотесанный австрийский ефрейтор, и это более чем печально, что и говорить!"

"Мама! Но ведь он и против дворян. Только использует их в своих целях", — прервал я ее.

"...и убирает всякого, кто ему мешает", — добавил Гаральд.

"Это ты про расстрел генерала фон Шлейхера, слышала, знаю — 30 июня 1934 года эсэсовцы устроили кровавую расправу. Но, мне думается, Гитлер и Геринг ничего об этих безобразиях не знают", — с наивной серьезностью сказала моя мать.

"По-моему, ты сам радовался, когда Гитлер прикрыл прогнившую веймарскую лавочку"[27], — вставил Гаральд.

"Верно, тогда мне это очень понравилось. Но сегодня я все чаще спрашиваю себя: к чему все это в конце концов приведет?"

"Не тревожься, мой мальчик. Все-таки Гитлер всегда и везде толкует о мире, и как ни говори, но именно он дал немецкому народу работу и хлеб".

Тут был снова задет вопрос, который неизменно вызывал между нами спор. После моих последних поездок в Англию и во Францию я уже не мог верить, будто Гитлер намерен осуществлять свою программу мирными способами. Иногда меня даже начинали охватывать сомнения насчет его искренности. Жестокие преследования евреев тоже резко изменили мои представления о нем. Конечно, мне нравилось, что Германия стала больше и сильнее, но Гитлер явно перенапрягал и без того натянутую "великогерманскую струну", которая вот-вот могла лопнуть, и тогда на нас должен был обрушиться всеобщий гнев и ненависть. Мои последние зарубежные впечатления подсказывали мне, что это будет очень страшно.

Мать взяла меня за руку и серьезно сказала:

"Поверь мне — Гитлер не начнет войну. Иначе люди бы не стояли за него горой. Все немцы поддерживают его, они довольны, полны энтузиазма и доверили ему судьбу Германии. Конечно, жаль, что у нас такое правительство. Но в интересах отечества мы, дворяне, не должны стоять в стороне. Нам только следует попытаться привить этим господам хорошие манеры, чтобы все выглядело как-то более достойно".

Мне вспомнилась встреча с Адольфом Гитлером осенью 1933 года в Мюнхене. Как-то вечером я искал знакомых в кафе "Луитпольд". Меня заметил находившийся там обергруппенфюрер Брюкнер из охраны Гитлера. Через эсэсовца он пригласил меня к большому столу, за которым сидел Гитлер. Присоединившись к

этому обществу, я некоторое время слушал его. Он рассказывал о времени, когда был безработным. Однажды утром он лежал где-то на пляже у Балтийского моря, как вдруг вдали раздался грохот взрыва и что-то со свистом пронеслось над ним. Оказалось, неподалеку шли учебные стрельбы какой-то артиллерийской батареи рейхсвера. Гитлер говорил и говорил, и в его глазах замелькали искорки. Воспоминание об орудийном грохоте и завывание пролетающих снарядов привело его в состояние сильнейшего возбуждения, и в простоте душевной я подумал: раз человеку все это так бесконечно приятно, значит, он влюблен в войну.

Об этом-то я и сказал матери и брату. "Вспомните, как я вам однажды описал восторг Гитлера по поводу артиллерийской стрельбы на берегу моря. Вы сами тогда испугались. Но теперь он располагает возможностью организовать подобный спектакль в невиданных масштабах и, судя по всему, готов это сделать. А вы, как и многие другие, еще аплодируете ему. Вы поддались массовому психозу, только и твердите что о "версальском позоре", об утрате Германией ее бывших колоний, присоединяетесь к крикливым требованиям о "месте под солнцем в большой семье народов" и все такое прочее. Признаюсь, я одно время тоже был заражен этой неугомонной пропагандой. Но за границей я постепенно стал скептиком... Неужели ты и вправду хочешь погибнуть как солдат Гитлера?" — спросил я брата.

Он испуганно встрепенулся: "Конечно, не хочу! Да я и не верю, что Гитлер доведет нас до этого. Я не придаю никакого значения болтовне так называемых ясновидцев или тем паче тех, кто видит все в черном свете".

Так легковесно Гаральд пытался рассеять мои мрачные опасения.

Этот вечерний разговор вызвал раскол в нашей семье, но дальнейшие события снова сплотили нас.

Я возвращаюсь домой

Из-за политической обстановки гоночный сезон 1939 года ограничился только девятью состязаниями.

15 марта, нарушив данное слово, Гитлер приказал своему вермахту вступить в Прагу и оккупировал Чехословакию.

Политический небосклон затянулся черными тучами.

В вольном городе Данциге и в Польском коридоре[28] стало неспокойно. Газеты все чаще сообщали об инцидентах на германо-польской границе. Я хорошо знал, что за этим кроется.

Перед последней гонкой года — она состоялась в Югославии, — на второй день тренировок, команды фирм "Мерседес" и "Ауто-

унион" услышали по радио экстренное сообщение о вторжении немецких войск в Польшу. Гитлер добился своего — война началась!

Все мы — водители, механики, инженеры, вспомогательные рабочие — отреагировали на это совершенно одинаково: нас охватило беспросветное отчаяние и глубокая печаль. Все мы понимали, что нашей работе пришел конец, что наша жизнь должна полностью измениться и каждому предстоит мучительная перестройка. Весь день напролет в нашем лагере то и дело раздавались разноязыкие, но единые по сути возгласы отвращения к проклятой войне. Ее поносили по-английски, по-французски, по-итальянски, по-немецки, по-чешски и по-сербски... В этот час нашу семью гонщиков из шести стран сплотило общее антивоенное чувство, общий страх, общая забота о будущем. Пожалуй, никогда еще мы не ощущали такой спаянности друг с другом.

Несмотря на начало военных действий, мы все-таки провели гонку. Англичане, французы, итальянцы, поляки и немцы по-товарищески боролись за лавры победителя. И я твердо сказал себе: "В этих ребят ты стрелять не будешь!"

Среди нас не было Рудольфа Караччиолы. Выиграв "Большой приз Германии" на эйфелъском маршруте, он уехал в Лугано и больше не показывался. Видимо, Руди раньше остальных понял, что бочка с порохом вот-вот взорвется.

Беспомощный и растерянный, я тщился уверить себя, будто все "не так уж страшно", будто война скоро окончится и мы вновь станем мчаться на своих машинах.

Словно повторялся август 1914 года: и тогда мы мечтали не позже рождества отпраздновать "победный мир".

Я отлично понимал иллюзорность своих надежд, понимал, что несу свою долю ответственности за случившееся. Не я ли — прославленный "гладиатор" — помогал гитлеровцам обманывать народ, внушать ему, будто Германия несется навстречу "золотому веку" со скоростью наших машин? Не я ли благодарил фюрера перед микрофонами и прожекторами? Не я ли ходил на праздничные приемы к Геббельсу и Герингу да еще похваливал многое из того, что там видел? Сколько раз мы высмеивали "скептиков", пророчивших эту войну? И вот их страшное пророчество стало явью!

А ведь не кто иной, как мой родной дядя Вальтер, один из фон Браухичей, подписывал приказ о начале этой войны! Хуже того: занимая один из высших военных постов, он участвовал в разработке планов нападения на мирные страны. И выходило, что через него семейство Браухич непосредственно причастно к

развязыванию войны, а война — это кровь и слезы... Как же мог бы я стрелять, например, в Луи Широна, моего многолетнего соратника по "конюшне"!.. Через несколько часов мне предстояло вступить в мирное спортивное соревнование с моими иностранными товарищами, в то время как немецкие армии под верховным командованием моего дяди маршировали на Варшаву! Все это походило на какой-то страшный сон...

Сначала была дана команда немедленно выехать, но потом германское посольство попросило нас остаться. "Ради хороших отношений с Югославией!" Пришлось остаться и продолжать тренировку, зная, что пикирующие "юнкерсы" сбрасывают бомбы, которые убивают людей, разрушают дома. "Экономические соображения" — таков был один из главных доводов в пользу проведения гонки. Югославы вложили в нее большие деньги, основательно отремонтировали гоночную трассу. Надо было спасти их от фиаско. Мы и не подозревали, что через неполных два года наши самолеты будут бомбардировать Белград и что тогда никто уже не вспомнит ни про "дружеские отношения", ни про "экономические соображения"...

Старт гонке был дан на третий день ужаснейшей из войн. Сначала мне везло — много кругов подряд я шел впереди. Потом мою машину занесло, она стала поперек дороги, и Нуволари обогнал меня. В пылу сумасшедшей борьбы нам ненадолго удалось забыть, что уже семьдесят два часа в Европе бушует война...

Я решил выхлопотать себе разрешение на выезд в Швейцарию — хотелось встретиться с супругами Караччиола и поговорить с ними обо всем. В последние годы после гоночного сезона я почти всегда отправлялся в Лугано, где находил мир и покой. Моя дружба с Рудольфом и Алисой укрепилась, они научили меня шире смотреть на мир, помогли преодолеть чисто немецкую узость взглядов, стать более "интернациональным" человеком.

Завершилось последнее состязание сезона, и вся наша команда разъехалась кто куда. Для нас, гонщиков, вся Европа была родным домом. Наши паспорта пестрели десятками виз, а я принадлежал к ландверу[29] и, согласно военному билету, выданному мне 1 декабря 1938 года, не считал себя обязанным немедленно возвращаться в Германию.

Кроме того, в первые дни польской кампании никто из нашей "оравы" не верил, что эта кампания перерастет в мировую войну. Мы рассуждали примерно так: Гитлеру чертовски везет, несколько стран он уже покорил, не пролив ни капли крови, значит, и на сей раз немного постреляют и все постепенно успокоится.

Поэтому я отправился самолетом в Цюрих, а оттуда по железной дороге в Лугано, где Руди и Бэби сразу окружил меня вниманием и заботой.

С террасы их уютного коттеджа на южном склоне Монте-Брэ, примерно в ста метрах от берега озера Лугано, открывался неповторимо привлекательный вид на мерцающую голубую гладь и круто взметнувшиеся ввысь горы.

Я был счастлив, доволен и здоров, здесь не была слышна дробь немецких военных барабанов. С легким сердцем я свободно разгуливал по улицам этого восхитительного швейцарского городка. Большинство его жителей лишь косвенно интересовались войной, только что начатой Германией. Они никак не могли понять, чего ради немцы принесли в жертву войне удобства и все удовольствия мирной жизни. Недоумевая, они уже не первый год читали о нехватке продовольствия в Германии, с 1937 года с изумлением наблюдали, как немецкие туристы скупали в больших количествах самые ходовые продукты питания. Я с наслаждением смотрел на витрины, переполненные разнообразными товарами. Но чудесные дни в Лугано были омрачены. Я знал — моей карьере гонщика пришел конец. С этим было очень трудно примириться, а мысль о необходимости выбрать новую профессию казалась вообще непостижимой. В первые дни я даже не думал о возвращении в Германию, хотел дождаться окончания польской войны, а потом посмотреть, как пойдут дела на родине. Через восемнадцать суток польская оборона была сокрушена. Это превосходило самые смелые прогнозы блицкрига. Но что же дальше? Я принялся читать газеты — свежие, старые, все, что попадались под руку. В них сообщались подробности о гитлеровских методах инсценировки пограничных провокаций. С изумлением я узнал, что немцы, переодетые в польскую военную форму, напали на радиостанцию в Глейвице, создав таким образом предлог для объявления войны.

Наконец я почувствовал, что настало время внести хотя бы маломальскую ясность в мои представления о политике. Мне надо было принять какое-то решение, попытаться осмыслить — кому же я служил до сих пор, ради кого рисковал головой. В эти месяцы я много прочитал о прошедшем, и постепенно во мне созрело убеждение, которое я еще совсем недавно по своей наивности, вероятно, постарался бы опровергнуть. До меня наконец дошло, что Гитлер с самого начал хотел завоевать всю Европу силой оружия. И германские промышленники, и многие аристократы помогли ему получить международное признание. В числе последних был и автогонщик Ман-фред фон Браухич!...

Целых семь месяцев прожил я в гостях у Караччиолы в

обстановке дружеского участия. Большую душевную поддержку я встретил и со стороны давно мне знакомой и глубоко мною почитаемой Евы Менгерс-Гуггенхайм. Еврейка, она бежала от преследований нацистов в Швейцарию, где жил и ее отец, в прошлом видный берлинский фабрикант готового платья. Еще в 1923 году он поселился в красивом доме в Кастаньоле на берегу озера Лугано. Именно у него отдыхал Караччиола после своей аварии в Монте-Карло.

Но моя счастливая жизнь в Лугано со временем начала омрачаться. Возник вопрос о моем праве проживать в Швейцарии. Прирожденный оптимист, я не сомневался в его продлении, но просить об этом приходилось вновь и вновь. Постепенно ситуация стала критической.

Трагический конец г-на Гуггенхайма, мужа Евы Менгерс, стал для меня предостережением. Он был евреем, и в луганском доме своего тестя полагал себя в полной безопасности. Но однажды швейцарские власти отказали ему в продлении визы и предложили вернуться в Германию. Зная, что его там ожидает, он покончил с собой.

Мои друзья, видя взаимную симпатию между мной и Евой, явно желали, чтобы мы поженились. В принципе и я склонялся к этому: Ева была более чем обаятельна, и мы могли прекрасно устроить свою жизнь в нейтральной и богатой стране. Война затягивалась, и я должен был что-то решить.

9 апреля 1940 года армии Гитлера почти без боев оккупировали Данию и Норвегию как плацдармы для подготовки нападения на Францию и Англию. Не скрою, в эти дни я внутренне торжествовал. Видимо, сказалось мое чисто прусское воинское воспитание, моя приученность к традициям и послушанию. Мне хватило ума понять, что это нападение окончится плохо, но не хватило сил перешагнуть через самого себя. Сыграло свою роль и письмо матери, написанное умело и с очевидным расчетом на мой склад ума. Ее упреки, призывы к совести, напоминания об обязательствах перед семьей, перед моим сословием и отечеством задели меня за живое. Решающим оказался намек на то, что в случае продолжения моего пребывания в Швейцарии она и мой брат окажутся под ударом. В Лугано я провел уже полных семь месяцев, и это, конечно, не могло остаться незамеченным в Германии. Останься я еще дольше за границей, то при моей популярности это было бы расценено как прямой вызов нацистской Германии и наделало бы шуму. К тому же моей семье наверняка бы непоздоровилось. Мне оставалось одно: покориться высшему закону рода Браухичей —

беспрекословному повиновению.

Поэтому я вернулся в Германию, в эту туманную пропасть, где меня поджидали тысячи опасностей. Расставание с друзьями не обошлось без слез и тяжелых предчувствий. Когда поезд пересек границу и путь назад оказался отрезанным, я утешался только мыслью о верности долгу и семье.

Прибыв домой, я воочию убедился, насколько точно были осведомлены швейцарские газеты об истинном положении дел в нацистской Германии. С течением времени я неоднократно наблюдал бездумно-доверчивое отношение самых различных слоев населения к тогдашнему немецкому государству. В их сознании глубоко укоренилась вера в "непогрешимого", "самой судьбой избранного" фюрера.

Летом 1940 года события стали развиваться необычайно стремительно. Большое наступление на Западе началось 10 мая 1940 года вторжением в Голландию и Бельгию. 14 июня был занят Париж, а 22-го капитулировала французская армия. Немцев охватил дурман победы. Словно повторялся 1914 год, когда Германия напала на Бельгию и Францию, когда одна за другой сыпались победные реляции о захваченных крепостях и завоеванных городах, когда немецкий народ твердо уверовал, будто война окончится через несколько месяцев.

Услышав очередное экстренное сообщение и звуки фанфар, посетители кафе вскакивали на столы, обнимались и, ликуя, чокались за успехи великогерманского вермахта. Было трудно не поддаться этому порыву всеобщего энтузиазма.

После капитуляции Франция 19 июля 1940 года, полный гордости, я поздравил Вальтера фон Браухича по случаю его производства в генерал-фельдмаршалы.

И все же мои серьезные опасения не рассеивались. Я исходил из простейшего соображения: мир недолго будет позволять германскому разбойнику прибирать к рукам столько жирных кусков. Мир сплотится, чтобы поймать вора и отнять у него добычу. Ведь в первую мировую войну все тоже началось весьма многообещающе. Правда, теперь дела выглядели еще блистательнее. В 1914 году Франция не капитулировала. Теперь же она была оккупирована и побеждена. Однако война продолжалась.

Англичанам пришлось эвакуироваться из Дюнкерка и, таким образом, покинуть континент, но зато на Британских островах до конца поняли, что гитлеровский фашизм есть смертельная опасность. Подписание тройственного германо-японо-итальянского пакта в конце сентября 1940 года и вступление германских войск в Румынию в начале октября показали, что все

предшествующее течение войны Гитлер рассматривал лишь как прелюдию к осуществлению своих далеко идущих планов на Востоке...

Понимая, что с автогонками покончено надолго, я счел необходимым подыскать себе другую работу. Поскольку я депонировал свои деньги в мангеймском "Частнопромышленном банке Бэнзель и компания", который вдобавок ведал управлением моих домов, я выпустил свои щупальца в этом направлении. После подробного разговора с директором этого банка Бэнзелем и его фактическими владельцами, консулом Берингером и д-ром Ройтером из ман-геймской фирмы "Бопп унд Ройтер", было решено дать мне место банковского служащего, с тем чтобы впоследствии я попробовал свои силы в тяжелой промышленности.

Я работал в бухгалтерии, за кассовым окошком и в биржевом отделе. Очень скоро я уяснил себе механику этого финансового учреждения, научился распознавать нити, тянувшиеся от банка к банку и от концерна к концерну.

Конечно, стажер из рода Браухичей был для этих людей сенсацией, и не раз они демонстрировали меня в своих домах как "особую персону". Везде я обнаруживал величайшее удовлетворение делами и успехами Гитлера, несомненно открывавшие перед каждым банкиром новые перспективы. В этом кругу горячо желали, чтобы все действия Гитлера и впредь оставались успешными, чтобы не прекращалось фантастическое обогащение на военных поставках.

Призыв на военную службу вырвал меня из этого не слишком симпатичного, но все же интересного окружения. Мне предписывалось прибыть в Фюрстенвальде в качестве инструктора по автоделу. Это показалось мне понятным, но, когда мне заявили, что я буду готовить водителей танков, у меня на мгновение перехватило дыхание.

Я представил себе, что бы сказал Караччиола по этому поводу, попытался вообразить, как, сидя на террасе своего дома за утренним кофе и держа в руках газету, он внезапно хлопает рукой по столу и громко объявляет: "Манфред фон Браухич стал танкистом!"

Годами я сидел за рулем "серебряных стрел", мне аплодировал спортивный мир, меня восторженно приветствовали зрители многих стран. Но теперь шла война, и знаменитого автогонщика обязали передавать свои знания и опыт молодым танкистам. Я подумал: может статься, что подготовленные мною водители поведут свои машины по тем самым дорогам, по которым мы из года в год боролись за "Гран при Франции". Кто-то

из них, возможно, встретится с каким-нибудь пожилым господином из Реймса, спросит его о чем-то. Тот же в свою очередь справится о Манфреде фон Браухиче, с которым он, кавалер ордена Почетного легиона, провел веселый вечер в погребке заводов шампанских вин мадам Редерер. А солдат, обрадовавшись, ответит ему, что, мол, да, как же, именно этот Манфред фон Браухич и научил его водить танк.

"Великий фюрер", у которого я просил денег для строительства немецких гоночных автомобилей, наглядно показал мне, в чем суть его планов. Шесть лет я метеором мчался на его машинах от победы к победе. Но за эти же шесть лет где-то, за кулисами моих побед, втихомолку производились танки, для которых я теперь должен готовить водителей. Фирменная звезда компании "Мерседес" и Манфред фон Браухич сделали свое. Теперь настала очередь другой эмблемы: черно-белого креста, намалеванного на орудийных башнях всех нацистских танков. Это меня решительно не устраивало. Преодолев всевозможные препятствия, я поехал к Эрнсту Удету в надежде на помощь с его стороны.

Удет показался мне предельно удрученным. В летной форме, надетой на него его бывшим однополчанином Герингом, этот международный ас высшего пилотажа чувствовал себя явно плохо. Мы с ним и раньше, случалось, с удовольствием опрокидывали рюмочку-другую, но в этот раз он как-то уж слишком старался утопить свое горе и заботы в вине.

С назначением Удета на пост генерального инспектора авиации на него была возложена вся ответственность за развитие военно-воздушных сил. Его раздражало хвастливое вранье Геринга насчет "непобедимости германских люфтваффе", и он называл "толстяка" брехуном, который сам пытается поверить в свои выдумки.

Я отчетливо помню подробности нашей встречи: было позднее лето 1941 года. Мы стояли около его синего двухместного кабриолета "мерседес" перед гостиницей "Эспланада" на Потсдамской площади. Обведя широким жестом окружавшие нас дома, он посоветовал мне получше присмотреться и запечатлеть в памяти этот уголок Берлина: "Максимум через два года, дорогой мой Браухич, здесь мало что останется. Когда американцы вступят в войну, эти здания, эти улицы и деревья как ветром сдунет". На мой вопрос, действительно ли он считает положение настолько серьезным, Удет ответил: "Наша противовоздушная оборона наверняка не сможет преградить путь тысячам самолетов, которые будут кружить в нашем небе. Что касается истребительной авиации, то

в условиях массированного оборонительного огня бомбардировщиков противника и она окажется бессильной. Именно так, а не иначе обстоят наши дела",— закончил он свой мрачный прогноз, достал из машины бутылку, вручил ее мне и сказал: "Утешайся коньяком и оставайся оптимистом!"

Все же влиятельному Удету удалось избавить меня от должности инструктора по вождению танков. Меня перевели в авиационную промышленность, и я попал под начало д-ра Коппенберга, генерального директора заводов "Юнкере". Так как мои личные отношения с Удетом открывали передо мной все двери министерства авиации, Коппенберг назначил меня своим секретарем по особым делам. Я занимался организацией технической помощи, финансирования экспериментальных работ, следил за бесперебойными поставками со стороны фирм-поставщиков. Добившись ряда очевидных успехов, я вскоре оказался фаворитом могущественного Коппенберга и постепенно вошел в более узкий круг его приближенных. Все чаще он приглашал меня на свою чудесную виллу в Шваненвердере под Потсдамом.

Коппенберг был образцом человека, обязанного всем только самому себе. Грубоватый с виду, громкоголосый и резкий, в действительности он был мягок и зачастую даже нерешителен. Наделенный даром быстро схватывать все, он много и с удовольствием работал, неожиданно становился по-светски приветливым и вместе с тем радовался, что кое-кому внушает страх. Этот шестидесятилетний мужчина не обращал особого внимания на свой внешний вид, который порой бывал почти неряшливым. Лишь немногим удавалось ладить с ним, но со мной у него с самого начала установился хороший контакт. Мы понимали друг друга в любой ситуации, и он неизменно прислушивался к моему мнению.

Геринг забрал этого честолюбивого капитана индустрии со сталелитейного завода в Ризе и назначил его особым уполномоченным по авиационной промышленности. Железной рукой Коппенберг навел в ней четкий порядок, умело координируя личные интересы владельцев заводов, изготовлявших авиационные двигатели и планеры самолетов, добиваясь скорейшего превращения Германии в великую военно-воздушную державу. Все это было нелегко, что я понял, в частности, на оперативном совещании в охотничьем замке Геринга "Каринхалль", куда меня взял с собой Коппенберг. В центре внимания стоял все тот же главный вопрос: устранение или по крайней мере ограничение множества противоречивых частных интересов авиапромышленников и сосредоточение их

усилий в едином направлении. Моторостроители ожесточенно боролись друг с другом. Фирма "Фокке-Вульф" разуму вопреки отстаивала выпуск устаревшей модели, "мессершмитт" стремился получить преимущество перед "хейнкелем".

На этом совещании я в последний раз видел Эрнста Удета. Когда через некоторое время вопиющие недостатки гитлеровской люфтваффе стали очевидными, его бывшие "друзья по мировой войне" Геринг, Мильх, Лерцер и Каммхубер решили сделать из него козла отпущения. Ведь именно он отвечал за развитие и координацию производства различных типов военных самолетов. Однажды, войдя в свой рабочий кабинет, генерал Удет увидел на своем письменном столе пистолет. Еще раньше ему передали следующие слова Мильха: "Официальное смещение Удета с его поста было бы козырем в руках вражеской пропаганды, а следовательно, недопустимо. По военно-политическим причинам Удет стал неприемлем, а поэтому мы взываем к его чести".

После недолгого раздумья Удет застрелился. На другой день в газетах появилось набранное жирным шрифтом сообщение в черной рамке: "Эрнст Удет разбился при испытательном полете".

С темпельгофского военного аэродрома на его берлинскую квартиру привезли гроб с камнями: перед населением приходилось соблюдать декорум. Пышные государственные похороны должны были рассеять ходившие в народе слухи о таинственных обстоятельствах смерти заслуженного летчика. Я тяжело пережил его кончину. Не только потому, что знал его лично, или потому, что он мне помог. Нет, этот беспредельно смелый мастер высшего пилотажа, право же, заслужил более достойную смерть. Он владел самолетом как никто другой, был вдохновенным спортсменом и своим мастерством поражал воображение сотен тысяч людей...

Изо дня в день жестокая действительность развеивала в прах все мои сентиментальные воспоминания...

22 июня 1941 года нацистские армии напали на Советский Союз. С откровенной, бесстыжей наглостью Гитлер нарушил пакт о ненападении с СССР. Это оживило недовольство всех "сомневающихся", но снова одна за другой пошли победные сводки, и все "критики" очень скоро умолкли. Однако успехи вермахта длились недолго. В день годовщины Октябрьской революции Гитлер хотел быть в Москве. Из этого ничего не вышло. Контрнаступление Красной Армии отбросило германские войска назад, местами до четырехсот километров. 19 декабря 1941 года все газеты напечатали новость, потрясшую наше семейство: Гитлер принял отставку главнокомандующего армии,

генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича. Я вспомнил уже описанную мною семейную встречу в январе 1939 года, когда дядя Вальтер с такой уверенностью говорил о Гитлере и его намерениях. И вдруг отставка! Еще только что этот человек сидел в "золотом кресле", имел доступ к "королю", то есть к столь недоступному фюреру, мог говорить с ним, давать ему советы или выслушивать его приказания.

Свое заявление об отставке, поданное 7 декабря 1941 года, фельдмаршал мотивировал тяжелым сердечным заболеванием. Через двенадцать суток Гитлер объявил о своем решении взять на себя верховное командование армией.

В течение многих месяцев после этого события я участвовал в разговорах с Вальтером фон Браухичем в небольшой и уютной, чуть старомодно обставленной гостиной моей матери. К слову сказать, в этом доме нам довелось еще прожить только эту последнюю зиму: весной 1943 года он был разрушен при воздушном налете.

В один из визитов дяди, кроме матери и меня, в гостиной находился полковник в отставке фон Гроте, давний друг нашего дома. Покуда мать приготовляла чай, все молчали. Каждый напряженно думал о своем: шел третий год войны и беззаботных людей больше не было.

Раньше мне казалось, что дядя Вальтер вносит в тихий уют нашего дома какую-то особую атмосферу, дыхание "большого мира". Теперь же, глядя на него, недавнего повелителя миллионов солдат, я просто не мог поверить, что этот невзрачный, бледный и худощавый человек обладал такой огромной властью. По его словам, врачи пытались приостановить окончательный распад его подорванного здоровья. Но мне он казался надломленным и обреченным...

Я так углубился в свои мысли, что пропустил мимо ушей обычные приветствия и очнулся лишь тогда, когда дядя Вальтер сказал моей матери: "Знаешь, иногда память о прошлом наваливается на меня каким-то кошмаром. Я никогда бы не поверил, что моя военная карьера окончится при таких обстоятельствах".

Полковник фон Гроте, старый друг дяди по кадетскому корпусу и военной академии, ответил ему: "В конце концов не ты один споткнулся об этого неотесанного ефрейтора Гитлера".

"Его ненависть к генералам была и остается безмерной, но орденами и другими почестями ему всегда удавалось преодолевать недоверие к себе и к своим полководческим качествам, — медленно проговорил Вальтер и, немного помолчав, добавил: — Теперь, когда я ушел на покой, меня мучает совесть.

Мне все кажется, что тогда, во время зимнего наступления в России под Москвой, я сплоховал. Ведь практически мы не подготовились как следует к этому предприятию, а русская зима — это вам не зима в Гейдельберге. Операции развертывались под моим верховным командованием, но ведь фактически все военное планирование определялось и направлялось из ставки Гитлера, и, получая приказ, я мог только лишь ответить: "Слушаюсь, мой фюрер!"... И в конце концов "он" начисто перестал со мной считаться и, я сказал бы, использовал меня всего лишь как порученца. Наше захлебнувшееся наступление под Москвой окончательно укрепило его мнение о несостоятельности армейских генералов".

При этих словах дядя Вальтер схватился за сердце, словно пытаясь снять боль.

Он посмотрел на мать, вежливо улыбнулся и сказал:

"Восстает только сердце. А вот мыслительный центр, к сожалению, слишком рано покорился, слишком часто капитулировал".

"Эти упреки самому себе ни к чему не ведут, — тихо сказала мать, не отрывая глаз от рукоделия. — Благодари создателя за то, что ты уже отошел от этой ужасной войны, что не обязан выслушивать менторские поучения Гитлера и свободен от ответственности".

Дядя Вальтер устало кивнул головой. На мгновение я пожалел этого человека, подавленного сознанием своей вины. Но чувство жалости сразу прошло. Мысленно я представил себе несчетные массы немецких солдат, молодых людей, погибших в болотах и снегах, заносимых буранами. А здесь, прямо передо мной, сидел один из тех, кто нес главную ответственность за все это и теперь вздумал незаметно переложить свою вину на Гитлера.

Просьба матери перейти в столовую и перекусить положила конец обсуждению этой тягостной темы. Пошел обычный разговор о повседневных заботах и нуждах, о страшных ночных бомбардировках английских и американских самолетов. Высказывались осторожные замечания об утрате немецкими войсками былой военной удачливости.

Сегодня я хочу недвусмысленно заявить, что верховный главнокомандующий германской армии Вальтер фон Браухич, как и весь генералитет, задолго до начала войны был детально осведомлен о планах Гитлера и что именно он, мой дядя, собственноручно подписывал и пересылал нижестоящим армейским генералам важнейшие документы, связанные с подготовкой и ведением военных действий. Конкретно речь идет

вот о чем.

"Фал грюн" — кодовое название плана уничтожения Чехословакии. Тайное совещание в Ютербоге 30 мая 1938 года, открывшееся следующими словами Гитлера: "Я твердо решил в обозримом будущем разбить Чехословакию с помощью военной акции".

2. "Фал гельб" — кодовое название плана захвата Франции. Этой операции предшествовало тайное совещание в Имперской канцелярии 27 октября 1939 года, открывая которое Гитлер сказал: "Мое решение неизменно. Я нападу на Францию и Англию в ближайший и благоприятнейший момент. Нарушение нейтралитета Бельгии и Голландии не имеет значения".

3. План "Барбаросса": его целью было уничтожение СССР. 17 марта 1941 года в Имперской канцелярии в присутствии всех высших военачальников происходило совещание, начавшееся таким заявлением Гитлера: "Войну против России нельзя вести порыцарски. Эта борьба есть борьба идеологий и расовых противоречий, и она должна вестись с беспримерной, ни с чем не считающейся безжалостной жестокостью. Всем офицерам надлежит избавиться от устаревших и обветшалых теорий".

Вальтер фон Браухич и его начальник генерального штаба Гальдер подписали также и так называемый "комиссарский приказ" об уничтожении всех "вредителей" и партизан. При этом совершенно несущественно, были ли у них обоих какие-то внутренние оговорки. Если были, то в таком случае их вина только усугубляется, ибо они проводили все эти мероприятия, полностью сознавая их преступный характер.

Вот почему теперь я вижу в Вальтере Браухиче офицера, до конца преданного Гитлеру и его целям. Но тогда, зимой 1942 года, я, разумеется, об этих фактах ничего не знал.

По характеру своей деятельности я все чаще убеждался, насколько все становится серьезно. Никогда не забуду совещание в "Каринхалле" осенью 1943 года, на которое вызвали моего шефа.

Мой кузен Бернд фон Браухич, постоянный адъютант Геринга, нередко рассказывал мне исподтишка всякие анекдоты про своего начальника. Я уже говорил, что и сам не раз видел рейхсмаршала на приемах. Движимый своим ограниченным и тщеславным умом, он присвоил себе бесчисленные должности, звания и функции, в частности он был имперским руководителем по охотничьим делам, премьер-министром Пруссии, имперским министром авиации, генералом от инфантерии, министром внутренних дел и тем самым начальником тайной полиции (гестапо), рейхсмаршалом, владельцем концерна "Герман Геринг-

верке" и уполномоченным по четырехлетнему плану.

Он распорядился обнести высоким забором тысячи моргенов[30] лесных угодий в районе Шорфхайдэ. Эту территорию он заселил редкостными и ценными животными, которые закупались во всем мире и время от времени предлагались высоким иностранным гостям для отстрела.

Но в то утро, когда я ехал в "Каринхалль", никто про охоту не думал. Сбывалось пророчество Удета о разрушении Берлина, и с каждым днем положение в столице становилось все более критическим.

На повестке дня стоял важнейший вопрос: сохранить ли в производстве самолетов перевес истребителей или, напротив, сосредоточиться преимущественно на выпуске бомбардировщиков. На совещание собрались специалисты всех немецких авиазаводов, все к нему тщательно готовились. В частности, я взял с собой обширную документацию для Коппенберга.

Здесь собрались все магнаты моторо- и самолетостроения, руководители кооперированных фирм-поставщиков, связанных с авиапромышленностью. Совещание, на которое, разумеется, вызвали также и высший генералитет люфтваффе, проходило на большой открытой террасе. Судя по наряду Геринга, он, видимо, уже рано утром успел поохотиться. На нем была куртка с просторными рукавами, сапоги с отворотами и темно-желтые кожаные штаны с изящной пряжкой. Он возлежал на огромной кровати и время от времени прикладывался к золотой чаше, вероятно содержавшей какой-то крепкий напиток. Все это было более чем необычно и никак не вязалось с серьезностью этого часа.

Первым выступил профессор Мессершмитт из Аугсбурга, который в интересах своего предприятия рекомендовал продолжать дальнейшее массовое производство истребителей. Уже во время этого выступления хозяин дома смежил вежды, а попросту говоря, уснул! Тогда мой кузен Бернд фон Браухич жестом пригласил присутствующих встать и покинуть террасу. Извинившись, он пояснил, что утренняя охота несколько утомила маршала и он нуждается в покое. На том совещание и окончилось, а принятие важных решений было отложено на неопределенный срок.

Возмущенные военные и промышленные генералы пустились в обратный путь. Кстати, замечу, что в дальнейшем выпуск истребителей и бомбардировщиков продолжался в прежних пропорциях. Ведь в конце концов и те и другие приносили колоссальные барыши...

В машине по дороге домой Коппенберг угрюмо смотрел вперед и долго молчал. Но наконец его все-таки прорвало: "Все мы посходили с ума от успехов фюрера в 1940 году. Геринг, на котором лежит такая большая ответственность, просто ослеплен своей неслыханной заносчивостью. Он нисколько не понимает реального положения вещей, а оно таково, что хуже нельзя. Похоже, толстяк заразился от Гитлера презрением к военным, к генералитету, иначе он сегодня не посмел бы позволить себе это дикое хамство. Такое поведение нельзя объяснить ничем, даже верой в какое-то никому не ведомое "секретное оружие". В нынешней ситуации немыслимо откладывать подобные решения, иначе победы нам не видать. А они точно попугаи заладили одно: "Мы должны выиграть войну!.." А что, собственно говоря, значит "должны"?!"

Болтливый граф и другие

Я умел в проливной дождь провести гоночную машину через узкий поворот, как сквозь игольное ушко. При необходимости я смог бы это сделать даже темной ночью. Я прошел суровую школу юнкерской муштры, слушал лекции о великом стратеге Клаузевице, об опыте первой мировой войны.

Но мир большого бизнеса не был мне знаком. Лишь изредка я косвенно соприкасался с ним в роли удивленного наблюдателя. Теперь же он ежедневно открывался мне всеми своими сторонами, и мой шеф охотно, без всяких колебаний рассказывал мне о себе то, в чем никогда бы не признался ни одному журналисту.

Многие из моих былых представлений о войне рассеялись. Браухичи всегда были офицерами. Еще недавно они сражались за кайзера, теперь — за Гитлера. Но понимали ли они хоть когда-нибудь, что, по сути, они не боролись ни за кайзера, ни за Гитлера?

Я все яснее постигал, каким образом германские промышленники еще в первую мировую войну наживали несметные состояния. Теперь же они финансировали Гитлера, твердо зная, что благодаря крупным военным заказам каждая вложенная марка вернется в их карманы удвоенной или даже утроенной.

В годы подготовки ко второй мировой войне в Германию потекли большие американские капиталы, сильно укрепившие ее промышленность. Коппенберг получил для своего предприятия миллионный кредит от одного частного американского банка. Огромные суммы получили и компании "Ферайнигте штальверке", "Гельзенкирхенер бергверкс-АГ", "Рур-хеми", "Тиссен-хютте", не

говоря уже о Круппе и Гуго Стиннесе.

Об этом Коппенберг рассказывал мне осенью 1944 года за широким столом совещаний на борту самолета "Ю-252". Я с возрастающим изумлением слушал его. Не без труда я переваривал сухую информацию Коппенберга о переплетении международных финансовых интересов. Влиятельные деловые круги различных стран были неразрывно связаны друг с другом даже тогда, когда их страны находились в состоянии войны.

В тот день мы летели в Голландию, где Коппенберг намеревался купить какую-то редкостную мебель для своей роскошной виллы в Баден-Бадене. Только за один этот полет четыре 700-сильных двигателя нашего "юнкерса" израсходовали несколько тысяч литров бензина, в то время как на многих участках фронта из-за нехватки горючего сотни самолетов не могли подняться в воздух. Поэтому уже в начале 1940 года наша авиация оказалась почти полностью парализованной. Но это ничуть не смущало Коппенберга, которому "экстренно" понадобилась антикварная мебель...

Незадолго до окончания войны инженеру Кремеру, руководителю так называемой танковой комиссии при штабе имперского министерства вооружений и военной продукции, удалось отбить меня у д-ра Коппенберга и забрать в свой штаб. Кремер был стопроцентным нацистом и, несмотря на полную безнадежность положения, на разрушение немецких городов и промышленности, на громадные трудности в производстве танков, по-прежнему твердо верил в непогрешимость Гитлера. Закрывая глаза на действительность, до конца преданный своему фюреру, он не сомневался, что благодаря нашей "железной воле" мы отобьемся от врага и изгоним его за пределы наших границ.

В качестве личного референта я сопровождал своего шефа в его поездках по танковым заводам. Комиссия, возглавляемая Кремером, несла перед военным министром Шпеером, которого впоследствии Нюрнбергский трибунал приговорил как военного преступника к двадцати годам тюрьмы, полную ответственность за выполнение установленных планов выпуска и совершенствования танков.

Его репутация "испытанного и закаленного старого борца" была во всех инстанциях весьма высока, и никто не осмеливался перечить ему. Побаивался его и Коппенберг, попросивший меня ни в коем случае не возражать против моего нового назначения. Кончились долгие веселые вечера в доме Коппенберга, и началась трудная пора.

Незадолго до 29 декабря 1944 года, когда авиабомбой снесло здание берлинского бюро Коппенберга на Линнейштрассе, между

Бранденбургскими воротами и Потсдамской площадью, я в последний раз говорил с ним в его рабочем кабинете. После какого-то заседания он пригласил меня к себе и подвел к огромной карте, висевшей на стене. Он показал мне на Арденны, где какая-то германская группа войск, контратаковав союзников, оттеснила их примерно на сто километров. Вдруг он возбужденно заговорил: "Послушайте, вы, главный шахер-махер по танковой части! Вероятно, вы должны знать, дает ли нам этот рывок достаточный запас времени, чтобы запустить в серию танк д-ра Клауэ. Иначе какой нам толк от этой новой модели?" Он перевел дыхание и с тревогой в голосе продолжал: "И вообще, продлится ли война до момента, когда нам наконец удастся ввести этот новый танк в бой?" Германское военное руководство он считал абсолютно бездарным и, говоря о нем, приходил в ярость: "Провал нашей авиации — это какой-то бред! Геринг — жалкое трепло!" И, легонько толкнув меня кулаком в бок, примирительно добавил: "Ну, чего молчите? Извольте высказаться, старый "пессимист"! Ведь вы брюзжите уже не первый год".

Я с удивлением посмотрел на него. Меня мало кто называл пессимистом, разве что люди, все еще строившие себе иллюзии о будущем.

Лицо Коппенберга снова стало серьезным — видимо, он пожалел о своем вопросе. Конечно, ему было бы нелегко услышать из моих уст, что мы проиграем эту войну, судя по всему, очень скоро и совершенно независимо от новой конструкции танка.

В то время как одни изворачивались, мечтая сохранить возможно большую часть своих барышей даже после поражения, другие стремились до последнего мгновения упиваться своей властью и богатством. Многие руководствовались девизом: "Наслаждайся войной, мир будет страшен!" И чем ближе к концу, тем более исступленной и разнузданной становилась их жизнь.

Однажды, прибыв по служебным делам в Мюнхен, я стал свидетелем эпизода, весьма типичного для нацистской верхушки.

После ужина в ресторане я сидел с двумя деловыми партнерами в холле отеля "Четыре времени года", как вдруг, сопровождаемый несколькими мужчинами, ко мне подошел придворный фотограф Гитлера Гофман и приветствовал меня. Торопливо опрокинув рюмку виски, он предложил мне и моим знакомым поехать к нему и выпить. Я согласился — о доме Гофмана ходили легенды. В народе толковали о каком-то таинственном туннеле, прорытом оттуда к особняку Гитлера и используемом его любовницей Евой Браун для незаметного проникновения в обитель фюрера. Авось удастся узнать, так ли

это, подумал я.

Никогда в жизни я не видел в частном доме столько картин, сколько было здесь. Развешанные впритык одна к другой, они покрывали стены всех комнат, отчасти даже двери. И самое поразительное — здесь были только подлинники. Во время своих мародерских поездок по оккупированным странам этот "тонкий ценитель живописи" наворовал себе лучшие картины из частных собраний.

Его коллекция напитков сделала бы честь лучшему нью-йоркскому бару, и мы, естественно, не ограничились одной рюмкой. Вскоре появилась горничная, неся огромный поднос с великолепно оформленными сандвичами. Я не верил глазам своим: лососина, салями, ветчина, сыр, яйца, сардины — все это призывно улыбалось мне. Горничная опустила поднос с заманчивой снедью на низкую деревянную подставку, и мы энергично принялись утолять свой голод. Как-никак, а шла зима 1943/44 года... Внезапно наш хозяин рассвирепел, что-то крикнул горничной и сильным ударом ноги сбил поднос с подставки. Сандвичи полетели на ковер. Оказалось, горничная забыла подать тосты с черной икрой. Через минуту девушка бесшумно вошла в гостиную. Ловко орудуя щеткой на тонкой палке и серебряным совком, она быстро все убрала. Примерно через час нам был подан горячий поджаренный хлеб с икрой.

Я подумал о мужчинах и женщинах на военных заводах, о солдатах на фронте... Мое любопытство к таинственным подземным ходам, к стремительным карьерам и жульническим аферам как рукой сняло. Мне стало противно, и я пожалел, что принял приглашение этого прихвостня коричневого диктатора...

Но и в других кругах сохранилось немало традиций кастовой исключительности. Еще во времена кайзера Вильгельма II, когда в Западном Берлине было совсем немного увеселительных заведений и высший свет встречался только в районе Фридрихштрассе — Унтер-ден-Линден, ресторан "Тэпфер" прославился своими завтраками. Речь идет не о скромной утренней еде, когда к столу подаются яйца, булочки, джем, кофе или чай, но о завтраке, который в тогдашних аристократических кругах сервировался к часу дня. Так и говорилось: "Народ уже обедает, а мы лишь завтракаем". Меню этих трапез состояло из изысканных салатов, всевозможных холодных закусок, десертов и, разумеется, портвейна строго определенной выдержки.

С тех пор многие представления о классах и общественных прослойках значительно изменились, но эта традиция выстояла в бурном потоке событий.

Как и встарь, доступ к "Тэпферу" имел строго ограниченный

круг посетителей, знакомые старой хозяйки этой ресторации или рекомендованные ей лица. В военные годы здесь кормились и нацистские руководители. Народ уже давным-давно жил впроголодь, но у "Тэпфера" ели и пили по-прежнему. У меня прямо слюнки текли, когда мимо моего столика официанты проносили блюда в ниши, где сидели избранные гости.

Сюда я не раз приходил с Коппенбергом или Удетом, с моим кузеном Берндом, генерал-фельдмаршалом Мильхом и другими, так что стал здесь завсегдатаем, а в этом заведении для избранных все постоянные гости со временем поневоле сближались. Так и получилось, что я вторично столкнулся с графом Вольфом фон Хельдорфом. Было это летом 1944 года, а может быть, немного раньше.

Около десяти вечера я освободился по службе и отправился к "Тэпферу" поужинать. Посетителей почти но было — их разогнало переданное по радио сообщение о подходе к столице вражеских бомбардировщиков. В одной из ниш я неожиданно заметил графа Хельдорфа, сидевшего за бутылкой красного вина и погруженного в глубокое раздумье. Обрадовавшись моему появлению, он пригласил меня за свой столик.

Этот "граф громил", как его прозвала народная молва, не стесняясь присутствием высокопоставленных лиц, лихо и смешно рассказывал всевозможные истории, слушать которые было одно удовольствие. Он сам занимал довольно высокий пост, но это не мешало ему язвительно критиковать поведение иных нацистских руководителей. Однако я знал, что Хельдорф — предельно бездушный, опасный человек, и в его присутствии всегда остерегался необдуманных высказываний. При подобных встречах с ним я придерживался правила: побольше пить самому и все время подпаивать его. В случае возможных неприятностей, думалось мне, всегда можно сослаться на "провалы в памяти". В этот вечер он с особым остервенением честил Геринга. "Ведь с самого начала, — возбужденно говорил он, — толстяк упрятал за решетку всех, кто был ему неугоден, или же натравливал всяких бонз друг на дружку, пока кто-то из них спотыкался. Так, он без конца науськивал СС на рейхсвер, и наоборот. И хотя именно по его приказу еще в 1933 году были произведены массовые незаконные аресты "подозреваемых в коммунизме" рабочих, профсоюзных деятелей, служащих и социал-демократов, этот абсолютно ханжеский и растленный тип, маскирующийся под порядочного буржуа И добродушного балагура, ухитрился взвалить все свои преступления на СС. И еще: по его прямому приказу новое национал-социалистское "мировоззрение" вколачивалось в сознание заключенных с помощью шомполов".

В этот вечер Хельдорф был особенно болтлив. Пользуясь этим, я выпил с ним еще по рюмке и спросил: "Скажите, граф, как в действительности обстояло дело с этим Ганнуссеном и его пророчествами насчет пожара в рейхстаге?"

Он вздрогнул, потом расхохотался и ударил кулаком по столу: "Что это вдруг, Браухич! Неужто вам охота слушать про эти давние пакости? Или, быть может, у вас были какие-то тайные связи с этим ясновидцем?"

"Тайных связей не было, но я знал его. Именно он предсказал мне победу на гонках в 1932 году..."

"По моей инициативе, — смеясь прервал меня граф Хельдорф, — он предсказал еще кое-какие диковинные вещи. В том числе поджог рейхстага".

Я широко раскрыл глаза.

Переменив тон, он заговорил резко и зло;

"В конце концов я должен был как-то помочь этому еврею. Тогда я был всего лишь плохо оплачиваемым и незаметным СА-фюрером и не мог себе позволить пренебрегать щедростью, с которой он одаривал меня из своей мошны".

"А разве вы знали о предстоящем пожаре рейхстага?"

"А как же, дорогой мой! О работе своих людей я знал все".

"Жаль, — продолжал он откровенничать, — что эти милые прогулки на моторной лодке так скоро кончились. Но при его чисто еврейских деловых претензиях я должен был прекратить все эти штучки. Не мог же я, в самом деле, ежедневно выдавать ему новую тайну о каком-то очередном "поджоге рейхстага"! В конце концов пришлось пригласить его на допрос и "при попытке к бегству" пристрелить. Это случилось где-то южнее Берлина. В общем, вы понимаете!.."

Мы откинулись на спинки стульев и, занятые своими мыслями, немного помолчали. Значит, этот "благороднейший" граф был убийцей, как и все они. Какой позор сидеть с таким человеком за одним столом, подумал я...

Потом он стал мне рассказывать про Эрну Грун, жену генерал-фельдмаршала и военного министра фон Бломберга. Его трясло от хохота. "Знали бы вы, какое это было наслаждение для меня и для Геббельса. Мы выложили на стол генерала Кейтеля, зятя Бломберга, пять фотографий этой дамы из архива полиции нравов. По обычным представлениям об офицерской чести после такого скандала старику Бломбергу оставалось только одно: пустить себе пулю в лоб. Обычная отставка не могла смыть с него такой позор".

После полуночи Хельдорфу захотелось перекинуться и картишки. Мы сыграли, не скупясь на ставки. Граф почувствовал

себя в родной стихии и без труда выиграл. Наконец мы встали. Прощаясь, он предложил мне встретиться, чтобы поиграть снова. Однако больше я его не видел. После неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 года волна террора захлестнула и его. Графа расстреляли точно так же, как он сам расстреливал сотни людей. Да и вообще после 20 июля стулья многих завсегдатаев ресторана "Тэпфер" опустели. Остальных объял смертельный страх, и, поднимая тосты, они, заикаясь, бормотали: "Хайль Гитлер!.. Мы победим!.."

В числе жертв 20 июля был граф Штауффенберг, мой товарищ но дрезденскому военному училищу. Я хорошо помнил этого человека и питал к нему самое глубокое уважение. Он нарушил воинскую присягу, ибо понял, что верность ей равносильна убийству или, если угодно, самоубийству целого народа.

Случайно именно в этот день ко мне пришла мать. Укрываясь от круглосуточных бомбежек Берлина, она жила в сельской местности, но часто навещала меня.

Вслед за покушением на Гитлера начался страшный судебный процесс, затронувший не только участников военного путча, но и их родных. Никто не мог знать, минует ли его эта чудовищная, кровопролитная акция мести. Многие немцы помнят по сей день, какой жуткий страх охватил тогда буквально всю страну, и не столько боязнь погибнуть под бомбами, сколько чувство полнейшей беззащитности перед произволом нацистского государства, перед безумным кровавым террором режима, уже обреченного на смерть.

За десять лет нацисты разработали и распространили изощреннейшую систему политических доносов, и теперь, когда Германия уподобилась огромному тонущему кораблю, доносительство приняло невероятные размеры. Ты не мог знать, что замышляет против тебя твой ближний, ты понимал, что "третья империя" корчится в предсмертных конвульсиях, и все же, повинуясь инстинкту самосохранения, вел себя с удвоенной, с утроенной осторожностью! Короче, никто никому не доверял!

Сотни и сотни судей по конвейеру приговаривали людей к смерти только за разговоры о проигранной войне. Особые трибуналы работали круглосуточно.

Через две недели после своего "чудесного спасения" Гитлер распорядился, чтобы ему показали кинофильм, запечатлевший все подробности медленной и мучительной смерти на виселице участников заговора.

"Я еще не разделался с той частью немецкого народа, которая недостойна такого фюрера, как Адольф Гитлер! Еще покатятся

головы!" — заявил могильщик Германии.

Выполняя его наказ, несчетные палачи, подчиненные обер-убийце Роланду Фрайслеру, трудились денно и нощно.

Однажды октябрьским вечером 1944 года, около девяти часов, после первого налета американских бомбардировщиков, Фрайслер в сопровождении пяти спутников с нездоровыми бледными лицами явился в ресторан "Тэпфер". Хозяйка не относила его к числу своих завсегдатаев. Эта обычно решительная и сдержанная дама встретила незваных пришельцев без особой любезности и проводила их в укромный уголок, где еще совсем недавно сидели граф Хельдорф, генерал фон Витцлебен или Фридрих Вернер граф фон дер Шуленбург, бывший посол в Москве. Все они были ликвидированы именно теми, кто сейчас удобно устроился на их местах и очень торопливо ел и пил. Глядя на этих господ, я подумал: у них наверняка не хватит мужества пировать в этом ресторане во время воздушного налета.

В этот вечер я пригласил на ужин знакомого мне голландского врача — одного из моих друзей. Напротив нас за маленьким круглым столиком сидели два других доктора, с виду полностью поглощенные игрой в кости. Это были профессор Гебхардт, главный врач спортивного санатория в Хоэнлихене, лечивший меня после моих аварий, и профессор Брандт, лейб-медик фюрера, который однажды, уже не помню где, оказался моим соседом за столом. Я подошел к ним и спросил, каковы у них ставки.

"Мы играем, дорогой мой, не на деньги, а на головы людские", — ответил Гебхардт, не поднимая глаз.

"И перспективы очень плохи", — неопределенно проговорил профессор Брандт.

"А от кого это зависит?" — снова спросил я.

"От нашего фюрера и его великой армии, которая должна сдержать натиск русских, точнее говоря, которая по приказу фюрера сдержит этот натиск!" — заявил Брандт и одернул свою тужурку, украшенную золотым партийным значком. "В общем, наша ставка — это наша армия. Либо она существует, либо ее нет. Либо она нас спасет, либо не спасет. Выпадут кости хорошо, значит, у нас есть шанс, выпадут плохо... полетят наши головушки! Вот и все, что мы сейчас хотим установить".

Между прочим, впоследствии оба они были казнены союзниками за преступления против человечества. Эти преступники проводили опыты по эвтаназии[3]

Я еще немного понаблюдал за ними, как вдруг завыла сирена. Особую нервозность проявили судьи во главе с Фрайслером. Предводительствуемые профессором Брандтом, они бросились к

машинам. Мой голландский друг и я последовали за ними. Мы сели в автомобиль и помчались к бомбоубежищу на Вильгельмштрассе. По приказанию Брандта перед нами распахнулось парадное бывшего дворца рейхспрезидента, ставшего резиденцией министра иностранных дел Риббентропа. Пробежав через двор, мы юркнули в едва освещенный вход в подвал, спустились по крутой лестнице, прошли через две или три массивные стальные двери, спустились еще ступенек на сорок и наконец очутились в надежном месте, где бомбы были не страшны.

Здорово окопались, подумал я и толкнул моего друга. Он понимающе подмигнул мне и сказал шепотом: "Здесь и война хороша, Манфред!" Я осмотрелся и обомлел — все здесь было прямо как в сказке: столики, накрытые белоснежными скатертями, толстые ковры, кресла, едва слышное гудение вентиляторов, официанты и слуги в черном. На блюдах фрукты, конфеты, бутерброды. Мы непринужденно расселись и закусили. Сюда не доносились ни раскаты зенитных орудий, ни грохот бомбардировки. Полный уют и комфорт. Мы пили французский коньяк и курили.

"А здесь и впрямь недурно, — обратился я к профессору Гебхардту. — И не страшны никакие сюрпризы с начинкой, падающие с неба".

"Что вы, дорогой Браухич! Это еще по-спартански, — ответил он. — В сравнении с большим бомбоубежищем около личного бункера фюрера это просто ничто. Но туда пускают только господ пассажиров первого класса. Это же — второй сорт, хотя, как видите, тоже вполне терпимо".

Как же трагична участь населения, с ужасом подумал я. Годами, из ночи в ночь, оно ютится в убогих убежищах, гибнет сотнями, тысячами, сгорает заживо, умирает от удушья. А передо мной расселись те, кому миллионы затравленных, изголодавшихся и больных людей обязаны всем своим безмерным горем, те, кто все еще продолжал гнать армию и народ на бессмысленную смерть.

В конце 1944 года в мюнхенском армейском музее на похоронах командира автомотокорпуса майора Гюнляйна я в последний раз видел Гитлера. Мне вновь представилась возможность посмотреть вблизи на человека, который нагло и самоуверенно продолжал творить свои беспримерные злодеяния.

Охраняемый несколькими десятками эсэсовцев, в зал вошел уже явно надломленный человек. Он уселся передо мной, подпер голову рукой и безучастно выслушал надгробную речь Геббельса.

Охрана была расставлена так, что никто не смог бы сделать незаметно даже малейшее подозрительное движение.

Тринадцать лет пролегли между днем моей первой мюнхенской встречи с неким "господином Гитлером" и этим пасмурным днем. Тогда мне бросились в глаза его необычные, экстравагантные манеры, его небрежный и неухоженный внешний вид. Сегодня я знал, что он войдет в историю моего народа как самый жестокий убийца. Кто мог это знать тогда?..

В начале 1945 года ресторан "Тэпфер", окруженный морем развалин, все еще продолжал функционировать. Подходить к нему или уходить из него приходилось по грудам обломков. В один из последних вечеров, проведенных мною здесь, я встретил своего бывшего офицера-наставника из дрезденского военного училища г-на фон Зигеля, которого хорошо запомнил как организатора "сладкой жизни" в Монте-Карло.

Он приветствовал меня радостно и беззаботно, словно мы пришли на веселый праздник. Его все еще безукоризненный мундир украшали полковничьи погоны. В Берлин он прибыл по какому-то особому поручению своего генерала и на следующее утро намеревался вернуться на "фронт". От его великосветских манер, памятных мне по Монте-Карло, не осталось ничего. Я видел перед собой типичный образец германской милитаристской надменности, символизируемой орлом-банкротом на нашивке. Как разительно менялся облик фон Зигеля на протяжении его жизни! Он начал солдатом кайзеровской армии. После окончания войны в 1918 году, чтобы спастись от грозивших ему житейских невзгод, он вступил в добровольческий корпус, а затем стал служить в рейхсвере. Кульминацией его карьеры явилась "сладкая жизнь" на яхте, которую он устраивал своему богатому патрону, а заодно и себе самому. Но это длилось недолго, и он снова надел военный китель, на сей раз гитлеровского ландскнехта...

В этот вечер он хвастливо болтал о "секретном чудо-оружии", которое с минуты на минуту должно вступить в действие, в каком-то самоупоении твердил избитые фразы о "выдержке и стойкости до конца". Этот "почтенный" офицер, как и встарь, молол несусветную чушь об "ударе в спину". Я не подозревал, что через несколько лет вновь услышу о нем, когда он станет экспертом "по борьбе с красными" и начнет продавать новым хозяевам свой "восточный опыт"...

Кремер, мой шеф и уполномоченный по танковому вооружению, ни за что не хотел поверить в неминуемый крах Германии. На полном серьезе он готовил переезд своего учреждения в какую-то пещеру в горах Гарца. Я твердо знал, что

конец близок, и вовсе не желал дожидаться его в горной пещере.

Пользуясь своими медицинскими связями, я "заболел", и меня на несколько дней положили в один из берлинских санаториев. Здесь мне представилась возможность спокойно поразмыслить над своей дальнейшей жизнью. Было ли ей суждено оборваться в этом аду, созданию которого, быть может, и я чем-то невольно способствовал?

Однажды вечером я тайком сбежал из санатория. Захотелось еще разок посмотреть на автотрек АФУС — арену моего давнего и самого большого успеха. Прошло тринадцать лет, с тех пор как я на своей "сигаре" одолел всех фаворитов я с сегодня на завтра стал знаменитостью.

И вот я снова очутился там. Прежнего автотрека как не бывало. На северном повороте стояло множество воинских машин. Трибуны сгорели. Но память и воображение помогли мне увидеть все в прежнем виде. Вдруг передо мной всплыло узкое лицо гонщика Иржи Лобковича. Это был веселый, вечно улыбающийся толстогубый парень. Он погиб в день, когда я поднялся на высшую ступень ставы. На другой день все газеты поместили наши фотографии рядом.

Погиб!.. Сколько людей погибло в эти страшные последние годы! Их фотографии не напечатали. Нет на земле такого огромного фолианта, в котором они бы уместились. А ведь, подобно мне, Иржи действовал сознательно и, начиная гонку, знал, что рискует жизнью. Он, конечно, дорожил ею и все-таки ставил ее на карту. А те, что умирают сегодня? Женщины, дети. Уж они-то как хотели жить! Никогда бы не рисковали собой. А сколько их погибло, и какой страшной смертью. Со слезами на глазах мы несли Иржи к могиле, у которой стояла его мать — великая княжна венского двора. Она смотрела на гроб сына и не верила. А теперь? Остались ли еще на земле слезы? Можно ли еще удивляться чему-нибудь? Миллионы загублены, а захоти этого случай, и сейчас над АФУС появится американская эскадрилья, и будет достаточно крохотного осколка, чтобы моя жизнь прекратилась прямо здесь. Или меня найдут эсэсовские ищейки, потребуют предъявить документы, обнаружат, что их недостаточно, и поставят меня где-нибудь к стенке. Может, к стенке бокса, где тринадцать лет назад лихорадочно работали мои механики, то тревожась, то торжествуя... А сейчас и фотографию не опубликуют...

За годом моей первой блистательной победы последовал год, когда у меня пять раз лопались баллоны. "Мы не победили", — телеграфировал мне Геббельс... Мы не победили! Мы и сейчас не победили, хотя вначале все, казалось бы, говорило только об

этом. Да мы и не могли победить в этой безумной войне, ибо нам противостояли не только армии — народы всего мира. Мне снова вспомнился" Геббельс, которого именно здесь, на АФУС, я увидел впервые. Преступления не приносят добрых плодов, даже если их оправдывают самые ловкие адвокаты...

И опять в голову пришла мысль: нет ли и моей доли вины в том, что все так случилось? Конечно, нет, я мог себя утешить: вина других была побольше моей, но моя профессия приучила меня рассуждать по-деловому, реалистически — в гоночной машине не размечтаешься. Да, я тоже был виновен. Я не видел ничего, кроме своих автомобилей и денег, своих домов и акций. Правда, у меня достало мужества покинуть рейхсвер и вопреки советам семьи стать гонщиком. Но истинное мужество не покидало меня только в машине. И как я бывал счастлив, когда она летела как стрела, когда я уверенно вел ее по трассе...

Я поехал обратно в санаторий. Через несколько дней один мой знакомый вывез меня на самолете в Мюнхен. Я спрятался в своем домике у Штарнбергского озера. Это, разумеется, не было актом большой смелости, но мне казалось нужным и разумным сберечь все, что еще оставалось от мужества. И не только для автомобильных гонок...

Начало поиска новой жизни

В моем штарнбергском домике я не был одинок. Матери, находившейся близ Франкфурта-на-Одере, удалось своевременно бежать от стремительно надвигавшегося фронта и благополучно прибыть к спокойным берегам этого баварского озера. Приехала ко мне и моя невеста Гизела.

Осенью 1944 года среди хаоса и неразберихи разгромленного Берлина нас свел случай; выражаясь образно, мы с ней сели в одну лодку, чтобы поплыть вдвоем к спасительным берегам новой жизни. Оптимизм любви помог мне пережить кошмарное ощущение полного краха, охватившее тогда всех нас. Вместе с Гизелой я решил по окончании великой трагедии попытаться зажить по-новому. Однажды в мой дом ворвались американские солдаты, и это немало испортило мне радостное предвкушение близкого конца войны. Капитан армии США приказал нам через три часа покинуть этот "проклятый нацистский дом". Все дома вокруг озера он считал нацистскими, и, кстати говоря, все они были конфискованы. "Не брать с собой ничего, оставить все на месте!" — грозно крикнул он и достал из кармана жевательную резинку.

Едва американцы ушли, как мы принялись за дело. За час нам удалось запихнуть на скрытые антресоли все, что мы не хотели

предоставить в распоряжение новых обитателей дома. Вскоре наш новый "друг" пришел снова, на сей раз с хлыстом в руках. Стегнув им по столу, он потребовал от нас немедленно удалиться. Я скромно заметил, что три часа еще далеко не истекли, но он не дал мне говорить и заорал: "Время нацистов... время вранья. И ты тоже нацист, тоже врешь! Вон отсюда!"

Вместе с Гизелой и моей 73-летней матерью я вышел на улицу. Немного позже нам удалось занять пустовавшую комнату в доме управляющего помещичьей усадьбой в Зекинге, близ Штарнберга.

Поместье принадлежало какой-то принцессе, которой удивительно быстро удалось завязать близкие дружеские отношения с американцами. Вся округа знала, что вплоть до последних дней она устраивала в своем замке разгульные попойки с эсэсовскими офицерами. Превратности войны, затянувшейся почти на шесть лет, заметно подорвали нравственные устои этой аристократки. Еще совсем недавно хмельными оргиями она отмечала гибель своей Германии, а теперь, так сказать, с ходу стакнулась с теми, кто столь безжалостно разрушил ее последние иллюзии. Рафинированная принцесса ловко использовала какого-то иностранца, выдаваемого за политзаключенного, в качестве снабженца, добывавшего для нее продовольствие на американских складах. Этот, как она утверждала, норвежец якобы протомился десять лет в нацистских застенках, и не просто, а закованный в кандалы и поэтому лишившийся дара речи. Однако когда она оставалась с ним наедине, то, как выяснилось, они прекрасно разговаривали друг с другом. Не желая иметь поблизости свидетелей своей дружбы с американцами, эта "сиятельная особа" напустила на нас какую-то "комиссию", которая в два счета выдворила нас из поместья.

Следующим пристанищем, где очутились Гизела и я, был заброшенный горный домик одного мюнхенского дельца. Мать нашла приют у знакомых. Мы с женой ни как не думали, что проведем в этом одиноком деревянном строении, живя в самых примитивных условиях, несколько счастливых лет. Находясь здесь, мы лишь изредка видели людей — к нам почти никто не заходил.

Какова же была моя радость, когда в один прекрасный день сюда пришел мой старый друг Ганс Леви. Он стал гражданином Соединенных Штатов и теперь назывался Джеймс Льюин. Из своей большой машины он притащил нам консервы, сигареты, какао, кофе и шоколад. Все было как на рождество в лучшие времена.

Мы оба очень обрадовались встрече. Я все не мог насмотреться на моего друга, одетого в форму офицера прессы американской армии. Давно ли он метался по Берлину, как затравленный зверь?.. Теперь он слегка располнел, но, разумеется, остался все тем же блестящим, остроумным рассказчиком.

"Манфред, — сказал он, — после моего тогдашнего бегства в Швейцарию я намеренно послал тебе только одно письмо. Не хотел навлекать на тебя беду новыми сообщениями".

Мы долго говорили про войну, снова и снова вспоминали, как удачно он покинул Германию в самый последний момент. Все это было непостижимо — мы сидели друг против друга, целые, невредимые, бодрые.

Его рассказы укрепили нашу оптимистическую оценку послевоенного положения в Германии. Замечания Ганса о русских сначала ошеломили меня, но постепенно я начал все понимать. Его тезис о дружбе между США и Советским Союзом никак не вязался с моими представлениями. Годами я твердо верил в полное согласие и взаимопонимание между союзниками. Теперь же Ганс рассказывал мне о позиции некоторых видных деятелей США, которые еще до высадки американцев во Франции заявили, что, мол, русские нужны Америке лишь временно, для борьбы с немцами, до момента, когда будет выиграна война.

"Там, за океаном, — добавил Леви, — уже поговаривают, что денацификацию форсировать не стоит, потому что нельзя ослаблять антикоммунистические позиции Германии".

Мне это показалось нелепой сплетней, ибо я не сомневался, что страны, объединившиеся против фашизма, намерены искоренять его всеми средствами, последовательно и до конца. И все же, услышав предостережения насчет "красных" из уст самого Леви, бывшего для меня большим авторитетом, я встревожился. В какой уже раз мне приходилось слышать о них! "Красные", "красные"...

Немного спустя я понял, что его прогнозы были близки к истине. Летом 1945 года в Гармиш-Партенкирхене и под Мурнау в больших лагерях находились разоруженные части СС, которые, вместо того чтобы работать, как положено военнопленным, распевали в своих палатках нацистские песенки, играли в карты и всем своим видом показывали, что старые времена отнюдь не прошли. Их поведение можно было объяснить только какой-то резкой переменой в тактике американцев.

В определенные дни пленным эсэсовским офицерам давали даже увольнительные (под "честное слово") или разрешали принимать в лагере посетителей.

Не в пример населению, сидевшему па скудном пайке, их снабжали продовольствием в таком изобилии, что часть его они выменивали на различные вещи. Я знал одного мюнхенца, некоего Петера Штангля, который особенно активно добывал из этого источника продукты питания. Однако не ради бизнеса: каждая буханка хлеба или консервная банка шла на организацию мотоциклетного пробега по Мюнхену. Ему пришлось проявить недюжинную энергию, преодолеть сомнения американских и немецких инстанций, включая канцелярию полицей-президента, наконец, разыскать достаточное количество уцелевших мотоциклистов и вывести их на старт. Он попросил меня употребить свой авторитет бывшего гонщика, чтобы помочь ему устранить ряд, казалось бы, непреодолимых препятствий. Публика еще не забыла мое имя, а в переговорах с официальными лицами оно производило почти магическое действие. С большим удивлением я вновь и вновь убеждался, что страшные годы войны почти не уменьшили некогда огромную популярность людей моей профессии. Короче, Штанглю и мне удалось организовать в Баварии несколько мотоциклетных шоссейных гонок и мотокроссов по пересеченной местности. Мы первыми попытались возродить мотоспорт в послевоенных условиях, идя на немалый риск и нисколько не помышляя о доходах.

Старые довоенные мотоциклы приходилось смазывать касторовым маслом, но и его запах возбуждал во мне дорогие воспоминания. Моя тоска по деятельности этого рода нарастала с каждой минутой, и наконец я решил связаться с автомобильной промышленностью. И хотя со дня моей последней гонки под Белградом прошло без малого семь лет, я почему-то думал, что возобновить мои прежние занятия не так уж сложно.

И вот я снова приехал в Унтертюркхайм, близ Штутгарта, на завод "Даймлер — Бенц". В конце 1945 года это предприятие все еще походило на разворошенный муравейник. Встретил я там Нойбауэра. Наш толстяк отощал до неузнаваемости. Вместе со своей женой Ганзи он ютился в мансарде. Он рассказал мне о Гансе Штуке, открывшем в Обераммергау авторемонтную мастерскую для американцев, о Германе Ланге, которого американцы несколько месяцев продержали в каком-то лагере под Людвигсбургом, о Караччиоле, который, как и прежде, жил с Алисой в Лугано... Значит, наша семья автогонщиков уцелела в гитлеровском аду, и теперь все пытались каким-то образом встать на ноги, подумать о будущем.

С большим изумлением я констатировал, что все прежние генеральные директора и директора фирмы, которые еще до войны были на своих постах, встретили меня так, словно за эти

годы ничего не случилось. Все они были со мной милы и любезны, но вежливо уходили от разговоров насчет автогонок. Словом, они были мне рады, но попросту не знали, что со мной делать. Для возобновления их интереса к рыцарям руля нужны были чисто деловые перспективы, сулящие прибыль, а время для этого еще не созрело.

Западные оккупационные власти отнеслись к крупным промышленным боссам с величайшей деликатностью. Еще вчера я встречал этих людей у Геринга в "Каринхалле", где они остервенело боролись за приоритет своей продукции, за сверхприбыли. Даже разрушение их предприятий при воздушных налетах и то, казалось, было им на руку: устаревшие заводы были единым махом сметены с лица земли, что сэкономило расходы по их сносу, а послевоенные кредиты из-за океана обеспечивали строительство самых что ни на есть современных предприятий...

Итак, моя первая попытка определиться в новой обстановке оказалась неудачной. Поэтому я опять уединился в своем деревянном домике. Здесь мне и моей жене Гизеле — мы вступили в брак в 1946 году — предстояло мирное и спокойное существование в стороне от великой послевоенной сумятицы. Предельно скромный быт позволил мне вести эту тихую жизнь в течение нескольких лет, а в 1948. году в связи с финансовой реформой я, будучи владельцем акций, вновь стал состоятельным человеком.

Осенью 1948 года во Франкфурте-на-Майне при основании Автомобильного клуба Германии меня избрали его спортивным президентом.

Пользуясь своими широкими международными связями, я добился того, чтобы этот бывший кайзеровский клуб, в который в свое время могли вступать только видные и богатые граждане, получил всеобщее признание и был принят в состав Международной автомобильной федерации, штаб-квартира которой находилась в Париже. По случаю избрания президиума этого клуба будущий боннский министр транспорта Зеебом выступил с речью, которую я выслушал с полным недоумением. То была речь махрового, старорежимного прусского офицера. Подобные слова я слышал из года в год, вплоть до последних дней войны. Я не верил ушам своим. Однако присутствующие не только не освистали его, но, напротив, восторженно аплодировали. Неужто же я был одинок в своем ожидании каких-то новых идей, какой-то новой политики? В кругу этих консервативных людей я не обнаруживал ни намека на желание перемен. Они хотели сохранить все, что привело нас к окончательной погибели в 1945 году. Большинство из них даже

намеревались ввести в игру уцелевшие силы СС и гестапо. Горько разочарованный таким поворотом дел, я при первой же возможности отказался от своего административного поста в автоклубе. Я твердо решил снова участвовать в гонках, а это нельзя было совместить с должностью спортивного президента, которая исключает получение международных водительских прав гонщика. И вообще по уставу клуба любому сотруднику его аппарата не разрешалось участвовать в состязаниях.

Поздней осенью 1948 года под Мюнхеном впервые были организованы большие гонки детей на педальных автомобилях. В качестве "приманки" для сотни юных "гонщиков" устроители этого соревнования пригласили Рудольфа Караччиолу, Эвальда Клюге — чемпиона Европы по мотоциклетному спорту — и меня.

В борьбе против этих двух асов я завоевал первый приз — радиоприемник, который мне вручил мюнхенский обер-бургомистр Виммер. Вечером мы, гонщики, как в старые времена, сидели в небольшом кафе за телячьими колбасками и пивом. Вдруг мне поклонился какой-то плохо одетый господин в штатском, в котором я узнал бывшего адъютанта Гитлера обергруппенфюрера СС Шауба. Мало того, тут же через некоторое время я обнаружил эсэсовского генерала Вальтера и в довершение ко всему "фотопрофессора" Гофмана, бывшего "придворного шута" Гитлера. Все они снова были на свободе и в превосходнейшем расположении духа, Я бы не удивился, если бы вдруг они хором рявкнули: "Хайль Гитлер!" Несмотря на приподнятое настроение и радость встречи с моим старейшим соперником и другом Рудольфом Караччиолой, я уже не мог отделаться от страшной мысли: эти крысы опять выползли на свет...

В сентябре 1949 года, находясь в служебной поездке, всего через несколько дней после провозглашения Федеративной Республики Германии, мой друг Джеймс Льюин вновь захотел повидаться со мной. К тому времени я опять поселился в своем доме у Штарнбергского озера, который мне наконец удалось отбить у американцев. Джеймс сиял от удовольствия. Толково и живо он изложил мне свои соображения по поводу положения в стране и программы нового западногерманского государства. Слушая его, я невольно насторожился: он откровенно похвалялся тем, что еще в 1945 году верно предсказывал дальнейшей ход событий. Теперь, по его мнению, для всех политических сил Западной Германии настало время действовать. "Времена Потсдамских соглашений прошли, — многозначительно заявил он.— В Америке есть люди, порицающие Эйзенхауэра. Они упрекают его за то, что он так и не сумел убедить президента Трумэна организовать еще тогда, в 1945 году, поход на Россию

совместно с остатками вермахта. Америка намерена создать кольцо обороны против России. Для этого ей потребуется опыт нацистов. Ты меня пойми, Манфред: как еврей, я, конечно, не в восторге от такой перспективы. Но ничего не попишешь, политика — холодное, рассудочное дело. Тут наши чувства не должны играть никакой роли". Я был буквально ошеломлен.

"Однако все мои "потребности" в милитаризме и политической путанице удовлетворены в полном объеме!" — шутливо заметил я.

И, словно желая оправдать в моих глазах намерения США, он снова во всех подробностях стал расписывать "красную опасность", от которой-де, мол, необходимо защищаться. "Только благодаря ей старые нацисты снова имеют шансы! И твои дела пошли бы куда лучше, если бы в свое время ты был членом национал-социалистской партии".

Как мне показалось, Льюин хоть и не без опаски, но все же как будто солидаризовался со взглядами своих вчерашних смертельных врагов. Он застрял где-то между своим прошлым и "красной опасностью", запутавшись в этом безвыходном для него лабиринте.

Я с сожалением пожал плечами и сказал: "Если бы все сказанное тобой было правдой — а в это я никак не могу поверить, — то, выходит, все должно начаться сначала. Нет уж, дорогой Джеймс, покорнейше благодарю!"

"Потому-то я и рад, что перестал быть немцем и могу снова вернуться в Америку! Понимаешь?"

Вскоре он простился, сказав, что должен заехать по делам в Берлин, а заодно повидать там наших старых друзей. Он не знал, когда мы опять увидимся. Я надеялся, что это будет вскоре: слишком много накипело на душе и хотелось обо всем поговорить.

Долго еще мы сидели с женой, размышляя об услышанном.

"В общем-то, Джеймс прав, достаточно поглядеть вокруг, и все как на ладони, — сказал я. — По соседству с нами живет на роскошной вилле эсэсовский генерал Вольф, близкий друг Гитлера и правая рука Гиммлера. В Мюнхене я встретил на улице обергруппенфюрера СА Брюкнера, бывшего личным адъютантом Гитлера с 1933 по 1936 год. И он мне говорит, да еще с этакой улыбочкой, что проживет беззаботно до конца своих дней, что, мол, его состояние, нажитое в "доброе старое время", пристроено в надежном месте".

"Но мы-то что можем сделать против этого? — с грустью спросила Гизела. — Протестовать? Возмущаться?.. Я просто в отчаянии. Только бы не повторилось прежнее: бомбежки Берлина, нескончаемый страх по ночам, тревога за родителей в Аахене, голод... Пережить все это снова немыслимо!"

Мы долго не ложились спать, перебирали в памяти воспоминания военных лет... И впервые у нас возникла мысль покинуть эту Германию. Правда, заговорили мы об этом неуверенно, осторожно. Мы не знали, с чего начать, как осуществить наш неясный замысел. Но он прочно засел в мозгу. По ночам я твердил про себя: уложи чемоданы, уезжай отсюда, будь мужественным и сильным, в твои годы еще вполне возможно начать где-то все сначала. Еще не поздно! А здесь ты никогда не будешь спать спокойно!

Эти мысли больше не оставляли меня. Мы все чаще и подробнее обсуждали их, пока наконец после долгих раздумий не решили сжечь все мосты, связывающие нас со старым миром.

Мое решение было не из легких, но я твердо принял его, ибо не желал снова и снова терзаться угрызениями совести, когда все уже станет необратимым. Я более чем достаточно насиделся в лодке Гитлера и ни за что не хотел забираться в нее вторично. Лодка эта осталась той же. Разве что ее кормчим уже не был фюрер.

Из огня да в полымя

Как нельзя кстати, в октябре 1949 года Аргентинский автомобильный клуб прислал мне приглашение участвовать в трех больших гонках в Буэнос-Айресе, Росарио и Мар-дель-Плата. Устроители обещали предоставить в мое распоряжение современный 1,5-литровый "мазерати". Я был в восторге. Во-первых, это был повод покинуть Германию, и, кроме того, очень уж хотелось вновь отвести душу за рулем гоночного автомобиля.

Не расспрашивая о подробностях, я протелеграфировал свое "да" и поблагодарил за приглашение. Все остальное, как я полагал, можно будет согласовать на месте. Я надеялся на возможность остаться навсегда в Аргентине или где-нибудь еще. Короткое предотъездное время надо было использовать для приведения в порядок моих финансовых дел, в чем мне помогал сотрудник Мангеймского банка Ойген Кох. Пришлось также заняться распродажей имущества и заказать у портного гардероб, подходящий для южноамериканского климата. Словом, дел было хоть отбавляй. Каждую свободную минуту мы посвящали изучению основ испанского языка.

Наконец настал день прощания с нашим домом и двором, с нашей Германией. Поезд доставил нас к первому пункту нашего путешествия — к чете Караччиола в Лугано. Это была наша первая послевоенная встреча в Швейцарии. Мы провели вчетвером долгий чудесный вечер. Нам было о чем вспомнить. Прошло около десяти лет с памятного для меня дня 1939 года, когда в этой же комнате, где ничто не изменилось, с этими же людьми я обсуждал проблемы, возникшие передо мной в связи с приходом нацистов к власти, Тогда я не понимал сути "их" захватнической войны и пытался держаться в стороне от нацистской пляски смерти. Теперь же я намеревался покончить с той Германией, которая нисколько не преодолела свое кровавое прошлое и, по всей видимости, и не собиралась преодолеть его.

Мои дорогие друзья Бэби и Руди Караччиола очень внимательно слушали меня. Они правильно поняли все, что побудило меня и жену раз и навсегда порвать с Федеративной республикой и уехать в Южную Америку.

Наутро мы отправились в Рим — второй этап нашего пути — и уже пополудни сели в четырехмоторный самолет, доставивший нас в Аргентину.

В аэропорту под Буэнос-Айресом нас сердечно встретил спортивный президент Аргентинского автоклуба. Он усадил нас в свою машину и на совершенно фантастической скорости — даже

я немного струхнул — домчал нас в город, где мы устроились в гостинице. Стремительный темп, темперамент! — вот мое первое впечатление от этого континента. По широким проспектам — авенидас, окаймленным пышными насаждениями, оглашая город какофонией гудков, со скоростью не менее 80 километров в час неслись нескончаемые вереницы автомобилей...

Наш номер в гостинице причинял нам немало огорчений. Хоть он и находился на четвертом этаже, в него непрерывно проникал адский шум этого суматошливого четырехмиллионного города. Из-за грохота открыть окна было просто немыслимо, и это при тридцати с лишним градусах в тени! К тому же водонапорный резервуар, из которого в гостиницу подавалась вода для питья и умывания, часами накалялся под свирепым аргентинским солнцем. Не свежая, прохладная вода, а какой-то полукипяток! Каждое движение в этом влажном воздухе было мучительно, одежда так и липла к телу. Написать открытку или пришить пуговицу стоило нам огромных усилий. От малейшего шевеления рукой пот проступал из всех пор. И вдобавок жажда, жажда и еще раз жажда!

Во время нашего первого ужина в хорошем ресторане, несмотря на вентилятор, подвешенный над столиком, я обливался потом. Он стекал ручьями за воротник и капал со лба. Что бы вы ни заказали, вам неизменно подавали одно и то же: бифштекс. Он всегда был величиной с мужской кулак, но приготовлен то одним, то другим способом, почему и назывался по-разному. Нас почти не угощали картофелем или овощами, зато на всех столиках высились груды белого хлеба.

Зная немного итальянский и французский, я кое-как мог объясниться, а с нашим убогим запасом испанских слов мы были просто безъязыкими.

На следующий день сеньоры из автоклуба устроили в нашу честь официальный прием, на котором я познакомился с молодым аргентинским гонщиком Хуаном Мануэлем Фангио. Он только что выиграл 3000-километровый звездный пробег по Аргентине, установив при этом новый рекорд. При первом же соприкосновении с официальными деятелями автоклуба я выучил самые главные слова местного языка — "маньяна", что означает "завтра", а также "аста маньяна", то есть "послезавтра" или, если угодно, "попозже".

Сегодня за коктейлем эти господа не желали говорить со мной о деле, завтра тоже не собирались показать мне обещанную 1,5-литровую гоночную машину. Все откладывалось до "аста маньяна" — до послезавтра!

"Подробности отдельных гонок, сеньор фон Браухич, Вы

согласуете завтра с нашим спортивным президентом. Теперь же мы просто хотим порадоваться Вашему присутствию среди нас!"

Очень скоро я узнал, что вежливый аргентинец никогда не говорит "нет", а только "маньяна", что может означать через несколько недель, или месяцев, или вообще никогда!

Чтобы приспособиться к местным нравам, мне вскоре пришлось отказаться от своей врожденной немецкой склонности к порядку. До старта оставалось еще несколько недель, но мой автомобиль мне так и не показывали. Поэтому я все больше беспокоился.

Однако телефон в нашем номере непрерывно трезвонил: пресса, радио, председатели различных немецких союзов и какие-то совершенно незнакомые мне частные лица добивались встреч и присылали мне приглашения. Я попал в какой-то водоворот и совершенно не знал, как отличить важное от несущественного.

Многочисленная немецкая колония устроила в нашу честь большой праздник, на который собралось шестьсот-семьсот человек. Мне сказали, что со времени окончания войны такого еще не бывало. Явились все, кто принадлежал к "германской семье". Оказавшись первым немецким спортсменом, прибывшим сюда после войны, я стал для этих людей сенсацией. Но и здесь я услышал озадачившие меня слова. Слова, которые, покинув Германию, я никогда не желал бы слышать. Крах гитлеровской Германии, казалось, не научил здесь никого и ничему. На своей новой родине эти немцы цеплялись за какие-то абстрактные образы прошлого, со слезами на глазах говорили о "любимом фатерланде". Они без конца кричали "ура", словно язычники, почитали кайзера Вильгельма II (или, если угодно, Гитлера), покрывали свои столы черно-бело-красными[32] полотнищами. Позорный и горестный конец войны, разрушенные города, смерть и страдания миллионов — все это было для них чем-то мнимым и не вытесняло из их сознания глубоко укоренившиеся представления о некой "сверхсильной" Германии.

Куда же я попал? Не изведав жестоких уроков войны, эти люди были еще упрямее, чем многие их неисправимые соотечественники в самой Германии. Я был потрясен. Мог ли я продолжать жить в таком окружении? Мог ли жить с волками и выть по-волчьи? Честно говоря, я был очень напуган и с тревогой спрашивал себя: неужто же на всем белом свете нет спасения от тевтонского шовинизма? Я всегда считал себя "хорошим немцем", мое имя было вписано в "Железную книгу германского дворянства истинно немецкого духа" — отличие, которого удостоились лишь немногие из Браухичей. Но я видел, что этим людям хотелось бы в третий раз встать на тот самый путь,

который в 1918 году, после бегства кайзера в Голландию, казался оконченным, а в 1945-м, после смерти Гитлера в берлинской Имперской канцелярии, навек позабытым, какие-то безумцы в самом деле хотели пойти по этому пути дальше. Но я решительно не желал присоединяться к ним — ни в Германии, ни в Аргентине.

Но чего же я желал? Только одного — жить счастливо с моей женой. У меня было достаточно денег, а ведь в представлении многих именно это и есть решающая предпосылка для счастливой жизни. Но независимо от денег я хотел жить среди приятных мне людей, которые умеют уважать друг друга и не подразделяют человечество на расы, на "красных" и "белых". Националистическое чванство аргентинских немцев, конечно, не было чем-то впитанным ими с молоком матери. Эхо германского шовинизма постоянно доносилось до них через океан, и, прислушиваясь к биению сердца послевоенной Германии, они уловили в нем те же шумы, что и в гитлеровскую пору. А бежавшие в Латинскую Америку офицеры вермахта и нацистские бонзы всеми силами поддерживали это впечатление...

И все же мое неодолимое желание вновь сесть за руль гоночного автомобиля оттеснило все неприятные мысли о политических притязаниях небольшой группы богатых немецких эмигрантов...

Наконец прибыла итальянская команда в составе четырех гонщиков, и вдруг я как-то инстинктивно почувствовал, что современного 1,5-литрового автомобиля мне не видать. Так оно и вышло: мне дали старый 3-литровый "мазерати", на котором мой давний соперник Акилле Варци еще за два года до того участвовал в гонке под Буэнос-Айресом. Эта "громовая жестянка" с двигателем в 500 лошадиных сил вела себя неустойчиво на больших скоростях и на сложном маршруте, изобилующем зигзагами, конечно, не могла соперничать с маленькими и юркими 1,5-литровыми моделями.

В первый же день тренировочных заездов я обнаружил серьезные неисправности в тормозах, которые так и не удалось устранить полностью. Я все же сделал несколько весьма стремительных кругов, что насторожило моих итальянских конкурентов. Однако в интересах безопасности зрителей, да и моей собственной я в последнюю минуту скрепя сердце решил отказаться от старта. Мне оставалась смутная надежда на участие в двух других состязаниях, что, естественно, тоже никак не устраивало итальянцев, ибо победа на гонках в Мар-дель-Плата и в Росарио сулила большие денежные призы, и мои соперники, конечно, ни за что не хотели уступить мне одно из первых трех

мест. Поэтому они с чисто латино-романской любезностью и с "наилучшими дружескими чувствами" заранее подрезали мне крылышки, заявив, что, кроме 3-литрового "мазерати", для меня ничего не найдется. Впрочем, меня "утешили", предложив присутствовать на оставшихся двух гонках — они намечались на январь и февраль — в качестве почетного зрителя, за счет автоклуба. Пришлось согласиться — выбора не было. Я решил использовать это время для знакомства с Аргентиной и ее жителями.

Накануне гонок в Буэнос-Айресе их участников принял тогдашний глава государства диктатор Хуан Доминго Перон. Его прежде всего интересовали иностранцы, а так как я собирался остаться в Аргентине, то я был представлен ему особо. Он очень подробно расспросил меня о моих намерениях, и это помогло мне без труда договориться с его секретарем о выдаче мне и Гизеле долгосрочного вида на жительство. Моя первая встреча с вершителем судеб Аргентины прошла за традиционным крепким кофе и, так сказать, вполне "гармонично". С его женой Эвитой, бывшей киноактрисой, я познакомился позже, на состязаниях по конному поло. Эта женщина была закулисной движущей силой многих правительственных актов. Больше того, выступив инициатором создания нескольких социально-бытовых учреждений, она завоевала себе известные симпатии широких кругов населения, чем способствовала укреплению тиранической власти своего мужа.

Понятно, что начать какую-то новую жизнь в этой стране "неограниченных возможностей" я мог только с помощью знакомств. Мое имя помогло мне, и довольно скоро я установил контакты с местными богачами. Особенно часто нас приглашали к себе немецкие миллионеры, живущие в такой роскоши и с такой расточительностью, о которых мы с женой разве что читали в сказках. Помимо городских особняков дворцового типа, окруженных огромными ухоженными парками (и это при стоимости квадратного метра земли 300—400 песо), каждый из них владел по крайней мере двумя невообразимых размеров имениями, так называемыми асьендами, и столь же невообразимо большими стадами крупного рогатого скота. У многих в районе Мар-дель-Плата, на берегу океана, были еще вдобавок фешенебельные виллы. Примерно четыреста километров, отделявшие столицу от этих мест, преодолевались на частных самолетах.

Не раз богатейший немецкий текстильный фабрикант Декерт на моих глазах, не моргнув глазом, проигрывал в игорном доме этого шикарного "предместья" столицы по двадцать тысяч песо и

больше. А в то время двадцать тысяч аргентинских песо соответствовали такому же количеству германских марок. Подобные убытки нимало не огорчали этого миллионера, игра в карты была для него всего лишь небольшим воскресным развлечением. Меня, скажу прямо, бросало в жар, когда, стоя около его сто лика, я наблюдал, с каким невозмутимым спокойствием он небрежно отсчитывал и передавал выигравшему у него партнеру банкноты самого высокого достоинства. И снова — в который уже раз в моей жизни! — невольно напрашивалось сравнение: сколько же напряженного труда, сколько пота нужно было затратить рабочему, чтобы получить для удовлетворения своих самых насущных нужд какую-то крохотную долю этих огромных, этих действительно шальных денег!

На рождество 1949 года нас пригласили на асьенду спекулянта земельными участками по имени Фройдэ. Прибыв в Аргентину вскоре после первой мировой войны и располагая небольшими деньгами, он занялся скупкой участков в окрестностях Буэнос-Айреса. В последующие десятилетия благодаря бурному расширению города он, буквально не шевельнув пальцем, нажил многомиллионное состояние. Попутно Фройдэ вел широкие экспортно-импортные дела. Своего сына он пристроил личным секретарем к самому Перону, заручившись, таким образом, "высочайшей" поддержкой во всех своих начинаниях.

В двухстах километрах от городских ворот, среди серой и пустынной пампы[33], перед нами возник сказочный замок. Вокруг большого внутреннего двора, мощенного камнем, располагалось множество соединенных между собой низких каменных строений. Мы прибыли сюда под вечер, и никого, кроме слуг, не обнаружили. Нам предложили отдохнуть до 22 часов в одной из тридцати комнат для приезжих. Хозяева начали подавать признаки жизни лишь после заката, когда гнетущий дневной зной сменился вечерней прохладой. Вскоре пошел пир горой. К полуночи все двести гостей так развеселились, что все это походило скорее на карнавальное застолье, нежели на празднование сочельника.

После ужина состоялся осмотр иллюминированного сада размером с квадратный километр. С гордостью хозяин показывал нам деревья и кусты, ценой огромного труда выращенные здесь его садовниками. Почва пампы неплодородна, и Фройдэ пришлось затратить на разбивку этого парка немалый капитал. За сотни километров на сотнях грузовиков сюда привозили чернозем. Несколько лет ушло на создание посреди пампы сочного зеленого газона, на котором теперь пестрели

разноцветные палатки, качели, столики и удобные стулья.

Среди гостей я встретил удивительно много немцев, прибывших из Германии в Аргентину только после второй мировой войны. Они уже успели кое-как обосноваться — одни поступили на службу, другие открыли коммерческие предприятия. Всех их объединяла тоска по родине, все изнывали от изнурительного, непривычно жаркого и влажного климата. Некоторые из этих господ — как я узнал позже, в недавнем прошлом офицеры-эсэсовцы, — беседовали о только что основанном ими туристическом бюро. Вскоре к ним присоединилась группа бывших военных летчиков, тоже решивших попытать счастья в Аргентине. Тема разговора переменилась, в центре внимания снова оказалась война, особенно ее конец. В числе приглашенных я встретил известных воздушных асов Галланда и Руделя, награжденных Гитлером высшими орденами. Возбужденные, с блестящими глазами, они заново переживали все "прелести" войны. Они во весь голос с горячностью и восторгом вспоминали "великое время правления фюрера Адольфа Гитлера". Я с трудом сдерживался. Куда же меня опять занесло? Даже в Западной Германии эти люди не посмели бы разглагольствовать в таком тоне, по крайней мере, тогда. Всякий раз около них вполне мог бы оказаться человек, искалеченный войной, потерявший на ней близких или лишившийся из-за нее крова. Такой человек наверняка не позволил бы им расписывать "красоты и романтику войны". А уж если бы их слушал бывший узник концентрационного лагеря, то им бы и вовсе непоздоровилось.

Но здесь, на просторах пампы, они находились в кругу единомышленников, и если бы один из них громко крикнул: "Хайль Гитлер!", то, вероятно, никто не набрался бы духу остановить его. Проигрыш войны они считали "случайностью", своеобразным "косметическим дефектом" гитлеровского режима, вообще говоря "прекрасного и нетленного". У них были тысячи причин для объяснения краха нацизма, и они все еще верили в "волшебное оружие", которое по вине какого-то забывчивого растяпы не было использовано в последнюю минуту. Они бы хоть завтра с полным удовольствием "подключились" к какой-нибудь новой войне.

И я спросил себя: "Чем же ты отличаешься от этих людей?"

Никто не посмел бы меня упрекнуть в отсутствии мужества. Но ведь я-то рисковал жизнью по совсем иным причинам, нежели летчики Галланд и Рудель. У меня был спортивный риск, у них — обнаженное в своей примитивности стремление уничтожать других. Вот в чем, по-моему, и заключалось различие между

нами. Кроме того, многие из них никогда не нюхали пороха, никогда не испытали угрозы своей физической безопасности. А сколько было в этом кругу подлых убийц, с неслыханной, звериной жестокостью умертвлявших беззащитных узников концлагерей; преступников, повинных в таких злодеяниях, в сравнении с которыми гонения на христиан в Древнем Риме кажутся мне чуть ли не прогрессивным проявлением человеческого духа... Но тогда я всего этого просто не знал.

То ли я слишком долго молчал, то ли сделал какое-то неосторожное замечание, но, помню, в эту ночь под рождество кто-то отвел меня в сторону и настоятельно посоветовал воздерживаться от каких бы то ни было неуважительных оценок фюрера. При этом меня заверили в самых добрых ко мне чувствах. "Если вы не будете им подпевать, они сперва начнут вас бойкотировать, а через несколько недель поставят вас на колени. Вы будете крайне удивлены, поверьте!"

Но я уже ничему не удивлялся: из вчера я перекочевал в позавчера, а ведь искал я какое-то завтра, какую-то новую жизнь. Теперь обстоятельства повелевали мне тщательно обдумывать каждый свой шаг. С Германией я, по сути, порвал все, и восстановить мои связи с ней было бы очень нелегко...

В последующие недели мы покрыли тысячи километров на самолетах и автомобилях, знакомясь с этой огромной страной, пытаясь получше узнать ее.

Аргентину нельзя измерить привычными нам масштабами. Чтобы понять ее, приходилось искать какие-то новые критерии. Вот типичный пример: местный фермер, владевший примерно 20 тысячами голов крупного рогатого скота, после обеда, к которому подавали барашка на вертеле, пригласил нас выпить кофе в придорожном отеле. После получасовой езды со стокилометровой скоростью по прямому как стрела шоссе я спросил, далеко ли еще до отеля. "Сейчас приедем, потерпите немного", — спокойно ответил он. Раскаленная солнцем глинистая дорога покрылась толстым слоем пыли, проникавшей во все щели и поры. Мы мчались уже больше часа и, запыленные с головы до ног, походили на мельников после тяжелого рабочего дня. Справа и слева от нас простиралась плоская, как поднос, равнина, поросшая кустарником и населенная тысячами маленьких попугаев. Сухая, выжженная пампа. Вдоль обочины тянулась примерно пятнадцатиметровая полоса, на которой тут и там стояли небольшие палатки или лачуги из жести. Хозяин разъяснил мне, что по какому-то давнему закону эта полоса не принадлежит никому и что на ней могут селиться все желающие.

Здесь оседали беднейшие из бедных, так и не нашедшие себе пристанища в городах. Они овладели трудным ремеслом отлова диких животных с помощью кое-как одомашненных собак. И так как объездчики крупных асьенд не могли держать под контролем огромные площади этих владений, здесь можно было беспрепятственно добывать бесчисленных антилоп, зайцев и иную дичь. Мы сделали привал в палатке одного из этих звероловов, известного во всей округе под именем Канарио. О нем шла молва, будто он пришел сюда пешком из Чили и принялся помогать контрабандистам, пряча незаконно ввозимые товары в никому не ведомых тайниках, затерявшихся на просторах пампы.

Этот невысокий и щуплый бородач лет сорока пяти появился перед нами в сопровождении четырех собак. Не удостоив нас взглядом, он вытащил из зубов одной из них зайца, затем быстро и ловко развел костер. За каких-нибудь пять минут он с какой-то неправдоподобной сноровкой освежевал зайца, разделал его и бросил куски мяса на небольшую сковородку.

Около так называемой палатки — она была совсем крохотная и состояла из рваных лоскутьев — на ветке оливкового дерева едва защищенный от солнца висел небольшой, литра на три, бурдюк из козьей кожи, наполненный спиртным. Что ж, живя в таких условиях, недолго и запить, подумал я. Недели через две страсть этого охотника к пьянству привела к трагедии: он был раздавлен полицейской автомашиной, когда, упившись до положения риз, валялся на шоссе...

Проехав 320 километров, мы наконец прибыли к гостинице у бензоколонки, где вдоволь напились кофе. По местным представлениям, такая далекая поездка не более чем небольшая послеобеденная прогулка!

Что касается пресловутых "моральных норм", то их строжайшего соблюдения здесь, как, впрочем, и в Германии, требовали прежде всего от рядовых "маленьких людей", и полицейские были рады любому случаю пустить в ход свои дубинки. Я это сам наблюдал из окон моего номера на четвертом этаже, ибо прямо подо мной, во дворе, располагался полицейский участок с несколькими камерами. Часто уже на рассвете раздавались крики людей, избиваемых в камерах. Не раз я просыпался от этих криков. Иногда по утрам полицейские загоняли задержанных во двор и привязывали их к прислоненным к стене стремянкам. В этом положении арестованные проводили мучительные часы под жгучим солнцем. Пить им не давали. Если, не выдержав этой пытки зноем, они издавали стон, их нещадно стегали кожаным хлыстом...

В разговорах с богатыми коммерсантами я узнавал о

практикуемых здесь "деловых методах", которые в Европе, вероятно, повергли бы в смущение даже самых прожженных жуликов. При крупных государственных заказах на импортные товары ловким оптовикам удавалось сбывать полуфабрикаты или некомплектные товары как готовые изделия и получать за них соответствующую цену. Так, в Аргентину ввозились автомобили без запасных колес, танки без гусениц, станки без приводных электромоторов. Импортер наживался вторично, получая дополнительные заказы на недостающие части, и, разумеется, делил выручку с правительственными чиновниками, ведавшими этими операциями.

Некоторое время Гизела и я старались не замечать постигавшие нас крупные и мелкие разочарования, но постепенно все это стало просто невтерпеж, и мы решили обстоятельно и всесторонне обдумать положение, в котором очутились.

В кругах немцев-эмигрантов хорошо запомнили мои неоднократные высказывания о бессмысленности обеих мировых войн. Не скажу, что я был открыто отвергнут ими или предан остракизму, но их желание и готовность помогать мне заметно ослабели. Всего приходилось ждать, ждать долго и унизительно. Вдобавок все трудности и неудачи осложнялись плохим знанием испанского языка.

И когда в правительственной резиденции я вел переговоры с каким-нибудь секретарем или уполномоченным автомобильного клуба, то не мог избавиться от ощущения какого-то бесконечного топтания на месте. Никакой твердой договоренности, одни пустые посулы. Никаких ясных решений — сплошная расплывчатость, тончайший песок, сеющийся сквозь пальцы.

"Приходите еще раз, продолжим разговор, поможем!"

Я приходил снова и снова, и все повторялось сначала:

"Послезавтра или через несколько дней — быть может, уже на следующей неделе, то есть в будущем месяце мы пример решение. Patienta[34], сударь мой, наберитесь patienta, и все будет так, как вы хотите!"

Эти нескончаемые призывы к терпению, безусловно, превосходили мою способность терпеть. Но я хотел добиться своего и не сдавался.

Вскоре моя жена стала проявлять первые признаки недовольства и протеста, перешедшие позже в какую-то апатию. Дело приняло серьезный оборот, я не мог не видеть ее удрученности и наконец вызвал ее на откровенный разговор.

"Не будем обманывать друг друга, Манфред, — сказала она. — Мы ошиблись, просчитались. Давай вернемся домой. Уж лучше я стану прачкой в Германии, чем буду раскатывать здесь в

автомобилях. Этот город страшен, а вся эта серая страна и ее люди еще страшнее!"

Гизела права, подумал я, но капитулировать я не могу. Ведь устроились же здесь другие, значит, устроимся и мы. Только не падать духом.

"Если ты любишь меня, уедем домой", — то и дело повторяла жена.

И наконец решение созрело: уехать, вернуться в Германию, вернуться к жизни, от которой мы бежали. Но как, зачем? Искать в Германии "новое начало"? На какие средства жить там? Теперь мы даже не могли оплатить обратный проезд на пароходе или в самолете. Мне нужна была помощь, и я не знал, у кого просить ее.

Я подумал о Джеймсе Льюине, но не представлял себе, как его разыскать. Наши друзья в Германии, так же как и мы, не имели валюты. Супруги Караччиола? Я не решался обратиться к ним: ни Рудольф, ни Алиса не поняли бы, почему я так быстро спасовал перед трудностями и хочу вернуться в Германию. В общем, я не знал, что мне предпринять.

И вдруг я вспомнил: Цент! Руди Цент — вот кто поможет мне, больше того — поймет меня. Кроме того, он был достаточно богат.

Я договорился с Гизелой о шестидневном молчании на эту тему. Каждый из нас должен был хорошенько обо всем подумать, взвесить все, что говорило "за" или "против" этого решающего для нас шага. То были нелегкие дни, но все-таки они увенчались долгим и обстоятельным разговором, приведшим нас к единственно возможному выводу: покинуть Аргентину! Последствия этого решения были для нас неудобны, неприятны, гнетущи, жестоки! Но с этим приходилось заранее смириться.

В пространном письме к Руди Центу я описал ему наше положение и просил о кредите на обратный проезд. Через несколько дней я получил из Ливерпуля ответ и денежный перевод для проезда на теплоходе.

В феврале 1950 года, полные смятения, мы пустились в обратный путь на борту шведского грузового судна с несколькими пассажирскими каютами. Три недели, проведенные на этом вполне современном теплоходе, обернулись для меня тяжелым испытательным сроком. Я много размышлял о своей жизни. Ведь до этого момента я никогда не шел на попятный. А вот теперь это случилось, и мною овладело чувство неуверенности в себе. Я никогда не уклонялся от своего пути, не поддавался мелочным сомнениям и вдруг оказался в тупике. Мне во что бы то ни стало нужно было вновь обрести прежнюю твердость характера и решимость. Быть может, скорее всего это удастся за рулем

гоночной машины, думал я. Так или иначе, я должен был восстановить свою спортивную форму. Поэтому с первого же дня нашего морского переезда Гизела и я приступили к тренировке. Нам приходилось бороться с немалыми соблазнами: лакомыми блюдами шведской кухни и отличными напитками, пренебрегать которыми было просто очень трудно. Но мы хотели достигнуть своей цели и оставались непреклонными: отказались от половины положенного нам рациона пищи, из жидкого выбрали только чай, и то не более двух чашек в сутки. Наше морское путешествие через экватор должно было продлиться двадцать три дня. За это время я решил похудеть на шесть килограммов. Хотелось доказать самому себе свою способность проявить волю и не отступаться от задуманного. Среди наших попутчиков была группа французских прыгунов с трамплина. Вместе с ними мы стали заниматься на палубе гимнастикой. Несмотря на тропический зной, мы ежедневно тренировались не меньше двух часов. За гимнастикой следовал час плавания в бассейне, наполненном едкой от соли морской водой. После каждой трапезы я надевал три толстых пуловера и совершал 45-минутную прогулку по различным палубам. Весь день проходил по железному распорядку. Намеченный режим соблюдался неукоснительно и без малейших отступлений. Я очень ясно понимал, что для преодоления любых ожидавших меня неурядиц и препятствий мне, безусловно, понадобятся полноценные физические силы.

Но описание нашей поездки было бы неполным без упоминания о нашем умном и прозорливом шведском капитане Иогансене, человеке могучего телосложения. Его жизненный опыт подтверждал многие мои предположения. Уже тогда он предсказывал скорое окончание эпохи колониализма, ибо внимательно следил за национальным подъемом цветных народов и не сомневался в победоносном исходе их освободительной борьбы. "Господство белых над черными подходит к своему концу, — не раз говорил нам этот великан. — Если мы хотим остаться в первой шеренге народов мира, нам необходимо усвоить новую мораль". Он вдохновенно мечтал об истинно гуманных идеях, способных видоизменить весь мир и заставить умолкнуть оголтелых крикунов, призывающих к новой войне. Когда после многочасовых бесед с нашим капитаном мы выходили из его каюты, я ощущал какое-то просветление и чувствовал себя крепче телом и душой...

15 марта 1950 года, после этого замечательного путешествия, наше судно ошвартовалось в гамбургском порту. Не скрою — я с

радостью ступил на землю родины, хотя, как уже сказано, в Аргентине я утратил уверенность в себе и теперь, в сущности, оказался на той же точке, от которой недавно оттолкнулся.

На мюнхенском вокзале меня встретили старые друзья и несколько журналистов, и я вдруг показался себе каким-то беглецом, которого поймали и, простивши, доброжелательно ведут в его старый немецкий дом.

Пресса уделила довольно большое место моей зарубежной "экскурсии". Все-таки после войны из всех видных представителей немецкого спорта я оказался первым, кто отправился за границу, чтобы представлять там германский флаг. Но тем сильнее было разочарование общественности — ведь в Аргентине я ни разу не принял старт. Поэтому я счел уместным устроить пресс-конференцию и разъяснить скрытые причины моего отказа участвовать в гонках под Буэнос-Айресом. За добрым мюнхенским пивом и вареной телячьей колбасой я рассказал журналистам о моих приключениях в Южной Америке. В ходе беседы мне пришлось с грустью отметить, что среди тамошних немцев все еще силен националистический взгляд на мир, что они все еще считают Германию пупом земли, а аргентинцев — людьми, только что перекочевавшими из двенадцатого века в тринадцатый. Из Аргентины я вывез немало неприятных впечатлений, но на моей пресс-конференции я защищал эту страну и ее людей с внутренним подъемом, удивившим меня самого... Итак, я снова приехал в ту Германию, которую постепенно начинал ненавидеть.

Прощание с рулем

Вскоре после моего возвращения произошло следующее: однажды у нашей садовой калитки позвонил человек, заявивший, что знает меня с той поры, когда я участвовал в мотоциклетных гонках. Его лицо показалось мне знакомым, и я спросил, зачем он пришел. Тогда он выложил на стол листовку, озаглавленную: "Стокгольмское воззвание".

Я внимательно прочитал весь текст:

"Мы требуем безусловно запретить атомное оружие, как оружие агрессии и массового уничтожения людей, и установить строгий международный контроль за исполнением этого решения.

Мы будем считать военным преступником то правительство, которое первое применит атомное оружие против какой-либо страны.

Мы призываем всех людей доброй воли во всем мире подписаться под этим воззванием.

Стокгольм, 19 марта 1950 года"

Линия, отмеченная пунктиром, обозначала место, где я должен был подписаться.

Я вспомнил дым над Берлином, развалины домов, бомбоубежища, полные дрожащих от страха детей.

Не колеблясь ни секунды и глубоко убежденный в справедливости этого документа, я подписал его. То же сделала и моя жена.

Судя по всему, вскоре об этом сообщила какая-то газета. И каково же было мое удивление, когда через несколько дней меня остановил на улице сосед, обычно едва замечавший меня.

"Вы что — примкнули к красным?"

Я его не понял и вежливо ответил вопросом:

"Простите, что вы имеете в виду?"

Тогда он высказался более определенно. Вот ведь сюрприз, подумал я. Впервые в жизни меня ставят в один ряд с "красными", даже отождествляют с ними. Нетрудно понять, что для Манфреда фон Браухича, внесенного в "Железную книгу германского дворянства истинно немецкого духа", это было своего рода событием. Но туповатый и наглый тон моего соседа был мне противен, и — теперь уже не слишком вежливо — я спросил его:

"А разве вам хочется, чтобы завтра над Штарнбергским озером взорвалась атомная бомба?"

"В этих делах вам ничего не изменить, а коммунистам и подавно. Но жаль, что вы попались на эту пропагандистскую удочку".

Сперва мне захотелось просто пойти дальше, но я пересилил себя и сказал: "Предположим, что это воззвание написано коммунистами, что они распространяют его, ходят из дома в дом и собирают подписи. Но ведь делают они это не для того, чтобы с помощью этих подписей одержать победу на каких-нибудь выборах или заработать деньги. Этим воззванием они преследуют абсолютно гуманную цель. По крайней мере я так думаю".

"Но они пытаются нам втолковать, будто против бомбы можно что-то предпринять".

"А по мне, человек, пытающийся сделать что-то в этом направлении, куда приятнее того, который остается в стороне от всего. К тому же, полагаю, вы не отказались бы полечиться, например, от туберкулеза, даже если бы ваш врач случайно оказался коммунистом".

Но он не хотел или не мог согласиться со мной, и мы молча разошлись. Я понимал, почему этот бывший офицер-танкист так враждебно отнесся к моему выступлению против ядерной войны. Освободившись из американского плена, он вновь вынырнул

здесь у своих родственников, и с тех пор все его дела и помыслы сводились к одному: показывать всем, что он ни в чем не изменился. Он не скрывал этого даже в лагере для военнопленных, больше того — похвалялся этим. Не удивительно, что бывшее офицерье встретило его с распростертыми объятиями и незамедлительно подыскало ему доходное местечко...

В тот день я долго просидел в своем саду и размышлял: как же все-таки получается, что именно сейчас, именно здесь, на берегу моего любимого Штарнбергского озера, где целое поколение людей знало меня как бесшабашного и жизнерадостного автогонщика, мне вдруг взбрело в голову выступить заодно с "красными"? В конце концов, не мудрствуя лукаво, я разрешил для себя эту "загадку", поняв, что коль скоро в этом вопросе "красные" правы, то, значит, надо с ними согласиться — и все тут. А пытаться доказывать их неправоту — значит вести себя просто неумно. Нельзя же выдавать проявление разума за неразумность только потому, что разумными оказались "красные".

Каждый разумный человек против войны, и уж тем более против ядерной войны. Следовательно, "красные" отстаивают чисто человеческое стремление и ведут себя как весьма разумные люди. Эти мысли полностью перечеркивали привычное для моего круга типично буржуазное лицемерие.

На сей раз дело шло, конечно, не о пустяках, моя позиция была абсолютно серьезной, и я чувствовал удовлетворение оттого, что меня так и понимают. Однако считать меня приверженцем "красных"... Тогда я мог это расценить лишь как шутку дурного тона.

Скоро этот эпизод позабылся. Известный мюнхенский конструктор фон Фалькенхаузен попросил меня испытать на летних гонках машину его собственного изготовления. Предложение этого автолюбителя, который с большой технической сноровкой смастерил спортивную машину, на первый взгляд казалось очень заманчивым. Поскольку автозаводы все еще не выпускали гоночных машин, автомобильные состязания, как и за двадцать пять лет до того, проводились на самодельных конструкциях. Понятно, что эти четырехколесные "моторизованные рамы" далеко не соответствовали последнему слову техники. Поставщики агрегатов, как и прежде, использовали гонки для рекламирования своих изделий и расходовали на это крупные суммы. Фалькенхаузен прекрасно понимал, что, опираясь на имя Манфреда фон Браухича, он займет далеко не последнее место при распределении так называемых стартовых премий. Короче, я договорился с ним

выступить на его машине в пяти гонках и поделить с ним все доходы пополам. Кроме того, по его просьбе я согласился взять на себя половину неизбежных трат, включая и возможные расходы на ремонт.

Гизела мало говорила со мной на эту тему, хотя мы с ней понимали, что мои новые старты будут первыми шагами на пути возобновления моей прежней карьеры. Почему-то я верил, что счастье снова улыбнется мне. Сама атмосфера автомобильных гонок так неотразимо привлекала меня, что об отказе от своего любимого спорта я и думать не мог. Я вновь очутился в родной стихии, стал посещать руководителей заинтересованных фирм, вел с ними переговоры, подписывал контракты и очень скоро заново изучил все подробности этой повседневной и многосторонней конкурентной борьбы. Усталый и разбитый, я возвращался по вечерам домой и в шутку сравнивал себя с ласточкой, которая в погоне за мошками выделывает в воздухе самые невообразимые фигуры "высшего пилотажа". У меня не оставалось времени на всякие размышления, и поэтому все добрые намерения, накопившиеся в дни переезда в Европу, уже слегка запылились и лежали где-то в долгом ящике. Более того, мысли, еще недавно казавшиеся мне такими верными и точными, просто мешали мне, и, втянувшись в новый этап моей борьбы за существование, я отказался от них.

Правда, мой дом в Мангейме и акции, которыми управлял господин Кох, обеспечивали меня постоянным и довольно неплохим доходом. Но это был мой "железный резерв", неприкосновенный запас. Будучи еще довольно молодым, я считал преждевременным черпать из него. Теперь я заключил контракты на пять гонок, надеялся хорошо заработать и осуществить нашу давнюю мечту — приобрести участок в Кемпфенхаузене, на восточном берегу Штарнбергского озера, или где-нибудь рядом. Земля там использовалась под пахоту, с нее открывался чудесный вид на лежащее напротив местечко Штарнберг и на цепь альпийских вершин...

Наконец фон Фалькенхаузен доставил мне сконструированную им "БМВ-веритас" для первой пробной поездки. Она совсем не удовлетворила меня, напротив, очень расстроила: неудобное сиденье, жесткая амортизация, тесное расположение педалей. При переключении скоростей я задевал сгибом пальцев за борт кузова и исцарапался в кровь. Не говорю уже о слабой приемистости этой машины и отвратительных тормозах. Невольно я сравнивал ее с отличными, продуманными до малейших деталей машинами, на которых ездил до войны. И все-таки мною владело неодолимое желание вновь завертеться в

вихре гонки, вдыхать любимые мною горячие запахи могучих моторов.

Для начала я подал заявку на участие в состязаниях на "Большой горный приз Германии" под Фрайбургом. Это был 12-километровый маршрут с 176 поворотами. Во время одного из тренировочных заездов перед крутым правым поворотом я задел ногой педаль акселератора, не затормозил в нужную секунду, пошел боком, пролетел впритирку между двумя киосками с газированной водой и "приземлился" передними колесами на скалистом выступе, у подножия отвесного горного склона. К счастью, машина не очень пострадала, а я отделался порезами на лице и сильно ушиб верхнюю челюсть о ветровое стекло.

День гонок тоже оказался для меня несчастливым. Проехав около 3500 метров, я очутился на повороте, посыпанном густым слоем щебня. Уж не знаю, что мне там помешало, может, следовало чуть поубавить скорость, но я вылетел с трассы и повис над обрывом. Еще слава богу, что не рухнул в пропасть. Меня вытащили тросами обратно на шоссе. В сообщении об этой гонке говорилось: "Машина в сохранности, водитель цел и невредим, гонку закончил неудачно".

Не повезло мне и в следующей гонке па знаменитой трассе вокруг замка "Солитюд" под Штутгартом: из-за неустранимого дефекта я выбыл из состязания вскоре после его начала.

Неделю спустя разыгрывался "Большой приз Германии" на моем любимом Нюрбургринге. Здесь я выступал против всего международного семейства ведущих асов, располагавших первоклассной материальной частью. В особенно выгодном положении были итальянцы на новейших "ферари" и "альфа-ромео". Таким образом, уже с самого начала я мог в лучшем случае рассчитывать разве что на четвертое или даже пятое место. В дни "разминок", казалось, все было против меня. Мне даже не удалось как следует потренироваться: мой двигатель забарахлил уже в первый день, а на второй его вообще заклинило, и только благодаря крайнему напряжению сил и присутствию духа мне удалось спасти свою жизнь. Последний день тренировок тоже прошел впустую — машину не успели починить. Поэтому на старте меня поставили в последний ряд "табуна", чего прежде не бывало.

Стремясь примкнуть к группе ведущих, я с первых же секунд провел серию сложных обгонных маневров и оставил нескольких конкурентов позади. Это было очень рискованно, но зато я сразу оказался в средней группе. Мои немецкие коллеги, ехавшие на самодельных конструкциях, уже на первых кругах начали выбывать из строя, в различных точках маршрута прилипали к

обочине, словно мухи к клейкой бумаге. Памятуя о почтенном возрасте моего двигателя и его затрудненном "дыхании", я строго придерживался предписанного числа оборотов. Только благодаря этому после первой половины соревнования я еще оставался в числе "выживших" немцев. Больше того — вследствие такой тактики до самого момента моего выхода из гонки ее будущий победитель Альберто Аскари опередил меня всего лишь на два круга.

Между десятым и двенадцатым кругами из-за нехватки бензина я застрял в конце прямой, на расстоянии двух километров от финиша. Пришлось выйти из машины и пойти пешком. Я понуро брел мимо трибун, держа в руке баранку. Во время этого долгого и горестного пути мое сердце старого гонщика едва выдерживало! Я вспомнил 1937 год, когда мне точно так же, с баранкой в руке, пришлось вернуться к месту старта и финиша.

Естественно, меня одолевали не самые приятные мысли, и я прибавил шагу, чтобы поскорее окончилось мое унижение. Тем временем сотни тысяч зрителей на трибунах с нетерпением ожидали появления Альберто Аскари, занявшего первое место. У всех было приподнятое настроение, все хотели воздать победителю заслуженные почести. И вот тут-то на широкой площадке между гаражами и трибунами показался пешеход. Это был я. Не знаю, чем объяснить дальнейшее. Может, люди на трибунах тоже вспомнили о моем триумфе в 1937 году, но вдруг толпа разразилась такой овацией, что я едва устоял на ногах. Сперва я не принял это на свой счет, но снова и снова я слышал, как выкрикивали мое имя. Мне стоило огромных усилий поднять руку в знак благодарности. В эту минуту я понял, что более прекрасного и достойного окончания карьеры автогонщика и желать нельзя. И тут я принял твердое решение: никогда больше не брать в руки столь любимый мною, а зачастую и столь грозный руль гоночного автомобиля!

Взволнованный таким знаменательным для меня прощанием с болельщиками, я подошел к боксам. Здесь меня не ожидали верные товарищи по команде, как это бывало прежде, а только мой механик, грустно восседавший на ящике. Мне не подали традиционного бокала вермута с водой, а... стакан молока. Так не было еще ни разу в жизни. Молоко для меня приготовила Гизела. Когда я сообщил ей о своем решении никогда больше не залезать в гоночную машину, она несказанно обрадовалась. Вместе с ней я навсегда покинул арену, на которой пережил не один знаменательный для меня час.

Вечер мы провели в узком кругу друзей. Кто-то предложил

тост в знак одобрения моего добровольного ухода из автоспорта. Я кивнул и выпил, не ощутив никакого раскаяния. "Теперь твоя нога не ступит больше в стремя норовистого мустанга, — подумал я, — и слава богу, а то еще свалишься с седла и сломаешь голову!"

Я не стал предаваться грустным раздумьям и решил приступить к литературной обработке моих воспоминаний. Тугой ветер гонок еще свистел в моих ушах. Мой большой опыт, все, что я пережил на арене жизни и за ее кулисами, должно было лечь в основу моей книги, задуманной и для молодого, и для зрелого читателя. Работать я начал уже осенью 1950 года. Кому же я мог предложить эту книгу? Я вспомнил о своем старом знакомом гамбургском издателе Ровольте, с которым сразу же связался. Горячо одобрив мой замысел, он предложил мне в свой ближайший приезд в Мюнхен встретиться для обстоятельного обсуждения моих литературных планов.

Через месяц, когда Ровольт оказался в "баварской метрополии", мы подробно оговорили взаимные обязательства и заключили договор.

Ободренный этим удачным началом, я с удвоенным рвением принялся писать книгу под названием "Борьба за метры и секунды".

Ошибка или цель?

В первый день рождества среди доставленной мне корреспонденции я обнаружил приглашение на зимние спортивные игры в Оберхоф.

Оберхоф?..

Я внимательно пригляделся к марке на конверте, к бланку письма, несколько раз перечитал подпись: Фред Мюллер, председатель Германского спортивного комитета.

Я не знал никакого Фреда Мюллера, а про Оберхоф мне было известно, что этот городок находится "там", в той части Германии, где правят "красные" и где, по сообщениям западногерманских газет, царят не только голод и нищета, но и страх. Почему же вдруг это почетное приглашение? И какое я мог иметь отношение к зимним спортивным соревнованиям в Оберхофе? Я никогда не прыгал на лыжах с трамплина, а в качестве любителя-слаломиста едва ли мог бы привлечь чье-либо внимание. За все время моей спортивной карьеры зима всегда была для меня временем отдыха, и только.

Жена отнеслась к приглашению скептически. Что же до друзей, то одни недоуменно разводили руками, другие советовали воздержаться от поездки. Я снова столкнулся с

бюргерской непримиримостью к малейшим знакам симпатии к Восточной Германии.

Вдруг я вспомнил свою подпись под Стокгольмским воззванием. Вероятно, этим все и объяснялось, видимо, именно поэтому Спортивный комитет и прислал мне приглашение.

Мне было очень интересно посетить "другую Германию", и я решил не обращать внимания на всякие "охи" и "ахи", раздававшиеся вокруг меня. Да и чего мне было бояться, я давно привык рисковать. Прежде всего меня разбирало любопытство: как ведут себя "тамошние" немцы? Тоже громко воспевают немецкое прошлое?..

На берегах Штарнбергского озера лежал глубокий снег, когда мы уселись в машину и двинулись по тщательно разработанному маршруту на Оберхоф.

Очутившись по ту сторону западногерманского шлагбаума, мы с трудом подавляли охватившее нас беспокойство. Мы ехали по "ничейной земле" и вскоре остановились у другого шлагбаума. Солдаты-пограничники отнеслись ко мне без особой симпатии и сверлили мои документы более чем критическими взглядами.

Первые деревни, поплывшие нам навстречу, казались серыми, словно оправдывая заявления наших газет, утверждавших, что именно серый цвет и определяет сущность всей "Восточной зоны". Но это, конечно, не могло побудить меня повернуть обратно. Подумаешь, серые деревни! Разве их вид отражает дух этой части Германии?!

Наконец Оберхоф — заснеженное уютное местечко, кишевшее бесконечным количеством чрезвычайно подвижных и деловитых людей, ничуть не похожих на ленивых курортников. Я спросил, куда бы мне обратиться, и меня направили в Оргбюро.

Вскоре я пристроился в хвост очереди терпеливо ожидающих молодых людей, одетых, на мой "западногерманский взгляд", скажем прямо, не слишком шикарно. Через какое-то время я оказался у стола, за которым сидела девушка. "Тебе куда?" — спросила она так просто и неофициально, что я почему-то испугался. Вместо ответа я протянул ей свое приглашение, и тогда она велела мне "доложиться" коменданту какого-то общежития, как мне послышалось "имени Строганова", а в действительности имени Стаханова. Мне было знакомо пикантное мясное блюдо, названное в честь русского графа Строганова, но про Стаханова я не знал ничего.

Прежде всего меня неприятно поразило, что девушка за столом фамильярно обратилась ко мне на "ты". Вообще здесь каждый казался каким-то "ты" — и ничем больше. Расскажи я это моей матери, она онемела бы от шокинга. А штарнбергские

кумушки, узнав об этом, наверняка злорадно сказали бы мне: "Так тебе и надо! Ведь мы тебе все предсказали, только ты не хотел нас слушать".

Но мы с женой договорились не расстраиваться, сколько бы к нам ни обращались на "ты", и бодро зашагали по свежему снегу — ведь в конце концов нас пригласили приехать на зимний чемпионат! Объясняя нам дорогу к трамплину, какой-то прохожий с нескрываемым уважением разглядывал мое бежевое пальто из толстой верблюжьей шерсти. Во всяком случае, он обращался ко мне на "вы", и это несколько успокоило меня...

Потом нас накормили простым, но сытным обедом, и, позабыв о мелких неурядицах, мы поддались общему радостному настроению.

На всех были лыжные брюки одного фасона (примерно десятилетней давности), но это никому не мешало. Время от времени на несколько часов выключался свет, но тогда во всех домах загорались свечи, и никто по этому поводу не нервничал.

Наконец настал момент "разговора", ради которого нас, в сущности, и пригласили сюда. В переполненном зале собралось около двухсот представителей всех районов Германии. Нас, естественно, весьма интересовал высокопоставленный господин из правительства, чей приход ожидался. Незадолго до начала в зал вошел одетый в лыжный костюм человек, которого все сердечно приветствовали. Нам, западногерманским гостям, сказали, что это Вальтер Ульбрихт, и корректности ради мы тоже захлопали. Энергичным шагом он непринужденно прошел через зал и подсел к нашему столику. Я наклонился к соседу, владельцу отеля из Фрейбурга, и шепнул: "Странно, глава правительства находит время для встречи со спортсменами, заботится о делах и нуждах лыжников. У нас, в Федеративной республике, такого не бывает. Я действительно никак не предполагал, что сюда явится столь важная "шишка", думал, что все это одни разговоры".

До этого дня все мои представления о Вальтере Ульбрихте я черпал из злобных карикатур в мюнхенских газетах. И вдруг он сидит со мной за одним столом. Сразу бросалась в глаза его естественность и умение находить общий язык с людьми. Отвечая на множество вопросов, он обнаружил большую и разностороннюю осведомленность и деловитость. Оживленная беседа длилась более трех часов, и я все думал, думал... Ульбрихт оживленно участвовал в разговоре, внимательно выслушивал всех и только потом высказывал собственное мнение. В его лыжном костюме едва ли можно было бы показаться, скажем, в фешенебельном Сант-Морице, но, судя по всему, он носил его не для вида. Я спросил, ходит ли он сам на лыжах. Ульбрихт просто

ответил, что всякий день, который ему удается выкроить, он проводит в зимнем лесу. "Спорт сохраняет молодость и гибкость, к тому же он помогает укреплять отношения с молодежью", — сказал он. Вполне разумная точка зрения, подумал я, ведь ему как-никак под шестьдесят!

В последующие дни я не раз видел, как он вместе со своей женой Лоттой катался на лыжах в лесу, съезжал со склонов. Спортсмены, собравшиеся в Оберхофе, видимо, хорошо знали их, запросто, как со старыми знакомыми, разговаривали с ними.

При прежних встречах с государственными деятелями мне никогда не удавалось преодолеть искусственный "барьер неприступности", воздвигнутый между мною и ними. Я не видел ничего человеческого в их зачастую претенциозных, я сказал бы даже "нечеловеческих", одеяниях. Уж такова была привилегия этих господ: представать перед рядовыми людьми этакими "надмирными" существами, персонажами из сказки, на которых только лишь дозволено изумленно пялить глаза.

Ульбрихт оказался на редкость жизнерадостным человеком с молодым сердцем, к тому же явно начитанным собеседником. Его известный призыв: "Немцы — за один стол!" — теперь звучал для меня неподдельно искренне...

После ужина вокруг нас, гостей из ФРГ, столпились любители подискутировать. Мы охотно согласились поговорить с ними, полагая про себя, что в предстоящей дискуссии сумеем без труда и убедительно одержать верх.

Но это оказалось ошибкой. Честно говоря, до того мне редко приходилось бывать в кругу столь информированных молодых людей. Правда, иные из них говорили каким-то суконным и невразумительным языком, но в своем большинстве они блестяще разбирались во всем и вели спор на таком уровне, что слушать их было одно удовольствие. При этом в их высказываниях слышалась такая терпимость к мнению собеседника, какой я не встречал нигде и никогда. Мне хорошо помнилось, как у нас разговаривали с "красными" — с помощью дубинок и пистолетов. Здесь же шел честный, жаркий спор, все были полны доброй воли, никто не пытался навязывать противнику свои взгляды.

Ни я, ни моя жена не понимали той страсти, с которой они отстаивали свои концепции. У них было мало очевидных для меня доказательств в пользу превосходства их общественного строя. Правда, все рабочие, находившиеся тогда в Оберхофе, проводили там свой отпуск за весьма небольшие деньги, но это само по себе нисколько не убеждало меня в том, что социализм — наилучшая социальная система для всех людей.

Итак, своими аргументами они меня ни в чем не убедили, но

их пыл, их неподдельный энтузиазм заставляли задуматься. И ведь все это были еще совсем молодые люди.

Позже, когда уже настала ночь, они поставили нас в несколько затруднительное положение. Речь зашла о фашизме в Западной Германии, о ее перевооружении, то есть о действительно актуальных событиях тех дней. И хотя в душе я был с ними вполне согласен, я, помнится, все-таки возражал им. Я начисто отрицал все, уверял их, что они напрасно верят словам, не соответствующим действительности, а про себя думал: "Знали бы эти ребята, как они абсолютно, как бесконечно правы!" Их твердая вера в полную невозможность возрождения фашизма в Германской Демократической Республике произвела на меня огромное впечатление.

Затем я допустил ошибку, заявив, что в ГДР есть концентрационные лагери. Все расхохотались, и кто-то предложил утром же съездить в Бухенвальд. Я насторожился: как отнесутся другие к этому предложению. Тогда, в феврале 1951 года, миллионы граждан ФРГ — и я в том числе — твердо верили, что Бухенвальдский лагерь снова переполнен заключенными. Вероятно, утром они забудут о своем обещании, подумал я, но снова ошибся. Едва мы успели позавтракать, как за нами заехал шофер, чтобы отвезти нас в Бухенвальд. Мы уселись в микроавтобус и отправились к этому страшному месту позора нацистского режима, которое нам подробно показал один из его бывших узников.

Три часа, не пропуская ничего, мы посвятили знакомству с Бухенвальдом и вопреки западногерманским утверждениям убедились, что в лагере не осталось никого. Все было заброшено и пришло в запустение, и было совершенно ясно, что уже годами здесь не содержался в заключении ни один человек. Впервые в жизни я увидел фашистский карательный лагерь и слушал рассказ соотечественника, которому удалось выйти из этого ада живым. Вместе с нами были шесть иностранцев, и мне все время хотелось, чтобы они не понимали пояснения нашего гида. Ведь все это творили немцы! Они тысячекратно совершали убийства, за каждое из которых по германским законам полагалась смертная казнь.

И вдруг меня словно хватило обухом по голове: ведь, собственно говоря, я все это уже знал, но для успокоения совести пытался убедить себя, будто это только слухи. Я вспомнил слова Эрнста Удета о подвалах гестапо, когда на рассвете, выйдя из Дома летчиков, проходил с ним по овеянной жуткими слухами Принц-Альбрехтштрассе. Все мы знали про чудовищный разгул "тевтонского террора" и молчали. Мы слишком хорошо жили, и

каждый из нас, сам того не желая, на свой манер служил преступному нацистскому режиму. Что сказали бы несчастные узники Бухенвальда, если бы услышали про некоего Манфреда фон Браухича, который мчится на своих машинах от победы к победе и добывает гитлеровской свастике "славу и честь"?

Глядя на моих двух друзей из ГДР, я почувствовал что-то вроде зависти. Оба они жили в новой Германии, где подобные злодеяния над мирными людьми были просто немыслимы. С непоколебимой убежденностью они могли сказать: "Да, так было! Но больше этому не бывать никогда!"

Глубоко взволнованные, мы вернулись в Оберхоф. В пути меня не покидали тревожные думы о том, что западногерманское население может быть вовлечено в новую катастрофу, в новые концлагери, что наконец необходимо раз и навсегда обезвредить всех этих старых преступников.

За время нашего пребывания в этом затонувшем в снегах лыжном раю Тюрингии мы были предметом большого внимания и забот наших хозяев и даже успели привыкнуть к небольшим "сенсациям". Как иначе назвать, например, приглашение президента Германской Демократической Республики Вильгельма Пика прибыть в отель имени Тельмана для беседы в самом узком кругу, включая Вальтера Ульбрихта. Имя Вильгельма Пика я время от времени встречал в газетах, помнил, что в свое время он был одним из самых видных депутатов рейхстага. Этот почтенный господин, убеленный сединами и с необыкновенно живыми глазами, проявил к нам большой интерес (всего приглашенных из ФРГ было восемь человек). Он пожелал узнать, откуда мы, что нас сюда привело, каковы наши первые впечатления. Своим присутствием он вновь подчеркнул тесную связь правительства рабоче-крестьянского государства со спортсменами.

Обуреваемые непривычными мыслями, мы возвращались в Западную Германию. Нам было что рассказать. Когда кто-то спросил меня о победителях зимних игр, я, к своему стыду, не знал, кого назвать, "Ага, значит, в Оберхофе речь шла отнюдь не о спорте!" — торжествующе заявил мне один знакомый, и мне стало его жаль. Этот человек действительно не понял, ради чего нас туда пригласили...

Всемирный фестиваль молодежи

Часть 1

Теперь я стал читать мюнхенские газеты совершенно другими

глазами и с ужасом убедился, что они беспримерно лживы. Мое возмущение было тем более велико, что я не видел никакого смысла в распространении подобных врак насчет "Восточной зоны". Правда, многое в ней еще было в зачаточном состоянии, и внутренне я еще как-то мог оправдать превознесение экономических преимуществ нашего капиталистического строя. Не скрою, в изобилии кофе и полных витринах, в неоновых вывесках и виски я и сам усматривал доказательство этого превосходства и силы.

Но этих дезинформаторов заботило совсем другое. Любой ценой они стремились воспрепятствовать малейшему намеку на взаимопонимание между обеими Германиями, а ведь только оно — и в этом я был твердо убежден — могло стать первой ступенькой лестницы, ведущей к мирному будущему моей родины. Ведь все мы — немцы, рассуждал я. Всех нас волнует одно и то же: будущее Германии. И что же в этой ситуации может быть разумнее и плодотворнее откровенного разговора, обмена мнениями?..

В своем доме у Штарнбергского озера я продолжал работать над книгой "Борьба за метры и секунды". Газеты все больше раздражали меня. Но мало того: я разочаровался в "моем мире". Что же все-таки вынуждало его выяснять свои разногласия с "красными" на столь недостойном уровне? Неужели это могло бы привести в конечном счете к чему-нибудь путному? Только переговоры, только взаимопонимание сулили какой-то успех, в этом я не сомневался. Что, если бы в Оберхоф, кроме меня, поехали, скажем, два боннских министра? Я разделял далеко не все мнения Вальтера Ульбрихта. И эти боннские министры, разумеется, тоже не согласились бы с ним по всем пунктам. Но благодаря такому визиту что-то сдвинулось бы с мертвой точки.

Цели "красных" были не так уж неразумны, и Бонн не мог не знать этого. Значит, Запад намеренно хотел видеть так называемую "Восточную зону" только в черном свете и встречал любой ее шаг в штыки.

Однажды ко мне явился элегантно одетый молодой человек, некто Рольф Калер, представившийся как студент Университета имени Гумбольдта. Он попросил уделить ему немного времени для разговора о Всемирном фестивале молодежи в Восточном Берлине. Я обрадовался своему юному гостю и пригласил его в дом. Мы закурили, и он приятным голосом изложил свою просьбу: "В связи с предстоящим у нас Всемирным фестивалем молодежи и студентов мы желаем основать соответствующий комитет в Западной Германии, и я позволю себе спросить, есть ли у вас желание и время сотрудничать с нами?"

Всемирный фестиваль молодежи и студентов? Я понятия не имел, что это такое. Кроме того, мне казалось неуместным вдруг ни с того ни с сего начать так называемое сотрудничество с "ними". Все же я решил дослушать его до конца. Ведь все-таки обратились они именно ко мне, а не к кому попало, а это что-нибудь да значило. Однако я молчал. Мой визави показал жестом, что уловил мой скепсис.

"К нам съедется молодежь всего мира, чтобы играть, танцевать, соревноваться в спорте, — продолжал он. — Около ста стран пришлют свои делегации в Берлин, это уже известно. Молодые люди всех цветов кожи, всяческих религиозных верований будут знакомиться, беседовать, плясать, петь, будут учиться уважать друг друга. Разве это плохая идея? Разве она не служит делу мира?"

"Значит, вы не собираетесь конкурировать с Олимпийскими играми?" — недоверчиво спросил я.

"В сущности, этот наш социалистический праздник венчает собой самую идею Олимпийских игр, ибо он устанавливает контакты между отдельными народами не только на спортивной площадке, где ведется честная и корректная борьба. Ведь дружба народов, к которой мы стремимся, касается не одних только мускулов. Обмен духовными ценностями значительно углубляет взаимное уважение между юношами и девушками, помогает сближению молодежи".

Все это было вполне понятно и убедительно.

"Но, пожалуйста, ответьте мне на два вопроса, — сказал я после небольшой паузы. — Во-первых: почему вы обратились именно ко мне? И во-вторых: какое мне дело до всего этого?"

Я служил в огнеметном подразделении добровольческого корпуса, служил в рейхсвере, был одной из звезд всемирно известной "конюшни" фирмы "Мерседес", играл главную роль в кинофильме "Борьба", устраивал мотоциклетные гонки, писал книги и пьесы для радио. Но я никак не мог понять, что мне делать в этом комитете. Выступать с докладами? Перед кем? Может быть, заказывать билеты для поездки в Берлин?.. Не без недоверия я ждал ответа моего собеседника.

"Мысль обратиться к вам возникла в нашем университете. Многие студенты видели вас в Оберхофе, там же слушали высказывания во время "общегерманского разговора". И думается, у вас хватит мужества бороться и здесь, в Западной Германии, за самое дорогое, что есть на земле, — за мир. Теперь по поводу вашего второго вопроса. Не согласитесь ли вы обратиться с открытым письмом к молодежи или, скажем, популяризировать идею Всемирного фестиваля на небольших собраниях?"

Я попросил дать мне время на размышление, а сам подумал: "Чего это вдруг я стану писать какие-то открытые письма, я, Манфред фон Браухич? Я преспокойно сижу себе на берегу Штарнбергского озера и в конце каждого месяца получаю дивиденды по своим акциям. В кармане у меня лежит договор с издателем Ровольтом, который обещал мне выплатить немалую сумму в день сдачи рукописи. Так с какой же это радости я выступлю с открытым письмом, которое, несомненно, вызовет много совершенно ненужных мне толков?"

Господин Калер ни на чем не настаивал. Гизела принесла нам кофе, и мы мирно беседовали о его планах после окончания университета, и я с плохо скрытым изумлением слушал о перспективах, открывающихся в Германской Демократической Республике перед этим сыном простого мастера-электрика. Я сказал ему:

"Видите ли, у вас никого не смущает происхождение человека, всем дают возможность учиться. А здесь все иначе, то есть так, как было всегда. Привилегии некоторых сословий остались в силе, и это проявляется даже в студенческих корпорациях. У вас, в Восточной Германии, иные порядки. Именно это, хотя, впрочем, и многое другое, очень понравилось мне во время моего пребывания в Оберхофе. На меня также произвела сильное впечатление ваша постоянная готовность к взаимопониманию. Мне и самому кажется, что всем людям на земле хочется говорить друг с другом, и я всей душой за то, чтобы наша молодежь своими глазами увидела, что происходит у вас. Это должен знать каждый. И в общем, я готов посодействовать этому. Правда, у нас такие вещи не очень популярны. Но в конце концов я живу в демократическом государстве, где и плохое и хорошее встречается на каждом шагу. Самое лучшее для Германии — это, по-моему, взаимопонимание. Я стою за него и хотел бы что-то сделать в этом смысле".

Отказать Рольфу Калеру я не мог, это было бы просто трусостью. А мне никогда и ничто не было так отвратительно, как трусость и трусы. Какие только беды я не навлек на себя, уйдя из рейхсвера! Моя семья едва не предала меня анафеме... Или взять мою профессию. Сколько сотен молодых мужчин, кроме меня, страстно желали стать хорошими, а затем и знаменитыми автогонщиками! Это мало кому удалось. А вот у меня хватило мужества и упорства, и я добился чего хотел. Так мог ли я отречься от мужества, этого столь дорогого мне человеческого качества, лишь потому, что распрощался с рулем гоночного автомобиля! В нацистские времена все были тише воды, ниже травы. Вот почему так беспрепятственно распространилось

страшное зло. Помня об этом, я отбросил все сомнения и решил написать открытое письмо.

Так как на фестиваль приглашались и студенты, то я впервые в жизни обратился к западногерманской студенческой молодежи, которую вновь пытались толкнуть на путь старых корпоративных бесчинств[35]. Я писал:

"На будущих представителей немецкой науки возложен высокий долг — способствовать утверждению длительного мира и нерушимой дружбы между народами. Истинная научная работа, призванная содействовать счастью человечества, может развиваться только в условиях мира. Только благодаря сохранению мира немецкая наука сможет вступить в эпоху нового расцвета".

Кто еще мог бы подписать это письмо? Я стал собирать подписи. Заехав в Лампертхайм, я посетил знаменитого Вильгельма Герца, мирового чемпиона по мотоциклетному спорту. Он подписал. Я разыскал боксера Эдгара Базеля, которому прочили большое будущее. И он поставил свою подпись. Через год этот спортсмен завоевал в Хельсинки серебряную медаль. В Раштадте мой документ подписал Гейнц Фюттерер.

Затем я направился в Фридрихсгафен, где явился к доктору Гуго Экенеру[36]. Двадцать одним годом раньше я был в числе участников полета дирижабля "Граф Цеппелин" над Германией. Дирижаблем командовал д-р Экенер. Помнил ли он меня? Оказалось, не забыл. Когда я заговорил с ним о цели моего прихода, Экенер меня приятно удивил. Он уже слышал о Всемирном фестивале в Берлине и считал его блестящей возможностью сближения молодежи различных народов. Он не только подписал мое письмо, но и немедленно выразил готовность быть почетным председателем Западногерманского подготовительного комитета. "Наш долг перед молодым поколением — сделать что-то для его будущего, ибо мы завещали ему не так уж много", — сказал на прощание этот седовласый пионер воздухоплавания на дирижаблях.

Мое письмо подписали еще 49 профессоров и доцентов университетов и других высших учебных заведений. Я в нем призывал всех студентов участвовать в III Всемирном фестивале молодежи.

Вскоре мне сообщили, что это открытое письмо конфисковано властями. Все чаще полиция вмешивалась в деятельность нашего комитета.

В моей прежней жизни полиция причиняла мне неприятности только по поводу превышения скорости или из-за каких-нибудь

невинных шалостей. Теперь эти "контакты" стали иными, хотя на первых порах они скорее забавляли, чем огорчали меня. Обнаружив, что за мною стали следовать полицейские машины, я, конечно, запросто удирал от них. Но однажды я прибыл в Дортмунд, где мне предстояло прочитать доклад о Всемирном фестивале.

У входа в зал меня остановил полицейский офицер и церемонно отдал мне честь:

"Господин фон Браухич?"

"Да, что вам угодно?"

"Мне приказано передать вам, что ваше собрание полицией не санкционировано".

Не санкционировано! Какая величественная формулировка, подумал я.

"А почему, собственно, позвольте узнать?"

"Ввиду подозрения в коммунистической пропаганде!"

"Вы считаете меня коммунистическим оратором-пропагандистом?" — спросил я его.

Он подтянулся.

"Очень сожалею, но мне приказано воспрепятствовать вашему выступлению".

Вокруг меня столпились люди и настоятельно советовали мне отступить. Но они плохо знали меня. Я так же мало думал об отступлении, как не думал о нем во время какой-нибудь гонки, если, скажем, начинался дождь или даже когда выходили из строя сразу два баллона. Я не собирался делать ничего, что могло бы повредить государству, в котором я жил, и я прекрасно сознавал это.

В те дни мне приходилось удивляться буквально на каждом шагу. Посторонние люди наперебой давали мне "доброжелательные советы", предупреждали меня, даже угрожали. Получалась какая-то нелепость: я всем сердцем и умом ратовал за жизнь на земле, выступал против войны, а они пытались изобразить меня каким-то психопатом, сбившимся с праведного пути. Бывшие офицеры, чиновники, короче — "серьезные" люди, обычно едва бросавшие мне на ходу "здрасте", вдруг стали втягивать меня в политические разговоры и обращались со мной либо гневно, как с ренегатом, либо сочувственно, как с заблудшей овечкой. Они, разумеется, могли не соглашаться со мной, но напускать на меня полицейских?! Нет, это было слишком примитивно! И вообще, что это за "свободный мир", который сразу же поднимает по тревоге полицию, если кто-то написал открытое письмо, не встретившее одобрения правительственных инстанций? В одной из подобных дискуссий кто-то решил

обезоружить меня, заявив, что-де, мол, "там" мне тоже не дали бы выступить с открытым письмом, неугодным правительству. Но даже мне, человеку, куда лучше подготовленному для автомобильных гонок, чем для дискуссий, было нетрудно опровергнуть это. Во-первых, мы изо дня в день твердили, будто живем свободнее, чем "они", жители "зоны", а во-вторых, речь ведь шла о вполне конкретном содержании моего открытого письма. Если бы я призвал старых вояк из бригады нациста Эрхардта собраться на слет — пожалуйста, все газеты охотно напечатали бы мой призыв. Но вот призыв встретиться в Берлине с молодежью мира — это, видите ли, "очень опасно"!

По-настоящему меня заботил лишь следующий вопрос: сможет ли хоть один западногерманский молодой человек отправиться при этих сложных обстоятельствах в Берлин? Ведь все эти юноши и девушки зависели от своих работодателей, а те думали и действовали только согласно предписаниям Бонна.

Хотя за свою жизнь я немало попутешествовал, в поездку на III Всемирный фестиваль молодежи в Берлине я отправился в сопровождении моей жены со смешанными чувствами, ибо точно знал, что, когда вернусь в ФРГ, меня забросают грязью.

В Берлине я узнал, что большинство молодых делегатов из Западной Германии перешли границу поодиночке и доставлялись в столицу ГДР специальными поездами. Так как все вокзалы были забиты иностранными делегациями, эти поезда направлялись на товарную станцию Руммельсбург. Жарким летним днем я наблюдал, как из вагонов на платформу выходили ребята. Они были потные, усталые, но полные энтузиазма. Девушки были не бог весть как одеты, но мне они казались очаровательными. На юношах были мятые от долгой поездки брюки, но я восхищался этими парнями. Я впервые понял, что эта молодежь, а с нею тысячи и тысячи ее сверстников, не сумевших прибыть в Берлин, никогда не позволит людям, навек застрявшим во вчерашнем дне, помешать ее общению с молодежью ГДР и всего мира.

Чего же хотели юные участники фестиваля? Дружбы со всеми людьми мира! А тот, кто ради этой дружбы рискует потерять работу и хлеб, того не склонить к новой войне и убийствам.

Меня попросили обратиться к вновь прибывшим со словом приветствия. Я не сразу решился — товарная станция казалась мне неподходящим местом для речей. На платформе громоздились бочки со смолой и мешки с минеральными удобрениями... И вдруг в памяти замелькали картинки прошлого. Семейная встреча Браухичей в дворянском клубе близ рейхстага. Мундиры, ордена... Я вспомнил Триполи. Белоснежный, в мавританском стиле дворец маршала Бальбо[37]. В нишах и у

порталов застыли рослые часовые-арабы в красных бурнусах. В больших, красочно подсвеченных бассейнах, под аккомпанемент спрятанного за деревьями оркестра плавали прехорошенькие девицы... Я вспомнил, как вместе с Гансом Альберсом пил виски в княжеских апартаментах мюнхенского отеля "Регина"... Еще вспомнил, как во время одной гонки на Нюрбургринге, прибегнув к опаснейшему маневру, я обогнал Рудольфа Караччиолу...

А теперь? Я должен держать речь на товарной станции, среди бочек и мешков! Куда же это я попал? На какой встал путь?

Но едва возник этот вопрос, как я тут же понял, что стою на самом верном пути. Я видел сияющие молодые глаза, восхищенно глядевшие на меня. Смел ли я сравнить свой поступок с тем, что сделали они, поставив на карту так много? Впрочем, и я кое-чем рисковал. Теперь я сидел с ними в одной лодке. И не в такой, что плавно скользит по легким волнам, а в лодке, которая сквозь шторм пробивается к прекрасному берегу. Я взобрался на рампу и уже точно знал, что говорить. И вдруг, словно со стороны, я услышал собственный голос: "Я был автогонщиком, и ничто мне не было так необходимо, как мужество. В нем я никогда не испытывал недостатка. Но в этот час я низко снимаю шляпу перед вашим мужеством. Добро пожаловать в Берлин, от всего сердца приветствую вас!"

Они ответили мне таким радостным и шумным ликованием, что с минуту мне чудилось, будто повторяется незабываемая овация, устроенная мне многотысячной толпой после моей первой победы на треке АФУС...

Началась вереница светлых торжественных дней. В замечательной обстановке душевного подъема и веселья счастливые молодые люди с благодарностью пользовались возможностью запросто знакомиться друг с другом. Собрать на дружескую встречу молодежь из ста стран и тем самым показать ей, что невзирая на различие языков и мировоззрений, при наличии доброй воли взаимопонимание между людьми осуществимо всегда и везде — вот поистине величественный политический акт рабочего правительства ГДР!

Какое же это было волнующее переживание — стоять на трибуне и смотреть на нескончаемое торжественное шествие поющих и танцующих молодых людей! Уж здесь никто не посмел бы даже заикнуться о каком-то "принуждении", о чем без устали твердила западногерманская печать, в особенности газеты Западного Берлина, старавшиеся перещеголять друг друга в злобных выдумках и насквозь лживых описаниях хода фестиваля в демократическом Берлине. Вечером при свете прожекторов, восхищая многотысячную толпу, на эстраде сменяли друг друга

английские, японские, французские, китайские и советские группы артистов-любителей.

Надо было видеть сверкающие глаза юношей и девушек, чтобы понять, что их воодушевление было предельно искренним, порожденным неукротимым стремлением к счастью и миру.

Несмотря на большую занятость государственными делами, Вальтер Ульбрихт нашел время для участия в большом разговоре между спортсменами и молодыми деятелями искусств. Пользуясь случаем, он горячо призвал всех активно содействовать делу всеобщего мира.

Я все больше удивлялся, встречая на Берлинском фестивале одного за другим многих давно знакомых мне немцев и иностранцев. Я особенно обрадовался, когда неожиданно столкнулся с уважаемой мной фрау фон Штенгель, моей давней знакомой из Западного Берлина. Наша встреча была как нельзя более сердечной, и мы поведали друг другу подробности обо всем главном, что пережили за прошедшие годы. Она уже оправилась от тяжелых последствий своего заключения в концлагере Терезиенштадт и теперь прямо-таки светилась жизнерадостностью и оптимизмом. Ее присутствие в Берлине, как я понимал, свидетельствовало о ее одобрении этого фестиваля. Я не сомневался, что глубоко прочувствованная ненависть к нацизму сделала из этой женщины убежденную антифашистку. Годы разлуки не подточили нашей былой крепкой дружбы. С удовольствием я принял ее предложение прокатиться вдвоем в Западный Берлин.

В наилучшем настроении мы поехали в ее автомобиле мимо многих памятных нам мест, в большинстве еще носивших на себе следы разрушений. Вечером, после подробного осмотра ее отличной квартиры, фрау фон Штенгель предложила нанести визит каким-то ее друзьям. По прежним годам я хорошо помнил, что эта женщина общается только с действительно интересными людьми и что большинство ее друзей становились и моими. Поэтому я без колебаний поехал с ней в Далем, на Клейаллее. Здесь, в комфортабельном особняке, нас встретили три господина, радушно приветствовавшие фрау фон Штенгель. Узнав, что передо мной американцы, я насторожился и решил быть начеку. Однако за ужином шел довольно поверхностный разговор и мне не удалось понять, каковы намерения этих джентльменов, которые в прошлом, безусловно, не были в числе постоянных знакомых фрау фон Штенгель. Зародившееся во мне поначалу еще неопределенное подозрение усилилось, когда моя спутница внезапно пожаловалась на плохое самочувствие и попросила одного из этих трех мужчин доставить ее домой. Извинившись в самых очаровательных выражениях, она посоветовала мне остаться.

Я, конечно, так и сделал, ибо меня уже стало разбирать любопытство. Мы подняли полные бокалы и выпили "за хорошую жизнь в Берлине". Постепенно я заметил, что оба джентльмена явно спаивают меня. Одновременно все более конкретными становились их вопросы о моем пребывании в Восточном Берлине, о моем отношении к Германской Демократической Республике, о моей жизни в Штарнберге. Потом один из них принес со второго этажа какую-то папку, долго листал в ней и наконец нашел нужную страницу.

"А вот и вы! Вероятно, вы удивитесь, но ваше имя уже внесено в списки лиц, опасных для государства".

Я действительно онемел от удивления.

"Еще не поздно, господин фон Браухич, — продолжал он. — Вы еще можете свернуть с этого пагубного пути. Ваша приятельница поможет вам. Собственно, ради этого она и привела вас сюда. В дальнейшем можете обращаться в любой орган Си-Ай-Си[38] за советом и помощью!"

Вот именно так открыто, ехидно ухмыляясь, мои "любезные хозяева" дали мне понять, что я-де, мол, добровольно явился в их шпионское гнездо.

Затем пошли откровенные разговоры про "коммунистический фестиваль" и попытки нагнать на меня страх и ужас перед "коммунистическими методами".

"По происхождению и воспитанию вы наш человек, однако мы, конечно, не намерены оказывать на вас давление. Просто хотим вас серьезно предупредить и помочь вам".

В какую же идиотскую историю вовлекла меня фон Штенгель, подумал я, и в знак окончания разговора попросил вызвать мне такси. Вскоре у подъезда раздался гудок, вежливо и подчеркнуто официально я простился с этими туповатыми типами.

На обратном пути я, естественно, попытался разобраться в происшедшем. Значит, теперь меня преследовала уже не только полиция — я попал в картотеку американской разведки... Вот как все обернулось!

И снова передо мной встал тревожный вопрос: не повернуть ли назад? На Востоке я не взял на себя никаких обязательств и не получил ни единого пфеннига. Так почему бы мне не возвратиться на Штарнбергское озеро, уйти в свой домашний мирок. Там я не стану принимать никого, и через полгода все позабудется...

На следующее утро я первым долгом отправился в Западный Берлин к фрау фон Штенгель. Я во что бы то ни стало хотел узнать, что побудило ее вовлечь меня в этот нелепый эпизод.

После почти двухчасового разговора я понял, что, несмотря

на все пережитое, эта умная женщина пересмотрела свое отношение к прошлому и вновь потянулась к наживе. На раздутых парусах она устремилась к американцам, хотя прекрасно видела, как они подсаживают в седло те самые элементы, которые еще несколько лет назад едва не погубили ее как еврейку. Опечаленный и разочарованный, я расстался с ней.

Часть 2

По возвращении домой я с сожалением убедился в том, что предвидел: газеты и иллюстрированные журналы подняли форменную свистопляску вокруг меня и других западногерманских участников Всемирного фестиваля. Еженедельник "Мюнхенер иллюстрирте", еще недавно оказавший мне честь, выпустив свой первый послевоенный номер с моим портретом на обложке, теперь поспешно исправил свою "ошибку", назвав меня "врагом государства номер один". Долго и внимательно я вглядывался в этот броский заголовок. На протяжении многих лет мой брат аккуратно собирал все, что сообщалось обо мне в прессе. Кроме газетных вырезок, в его архиве было немало почетных грамот, выданных мне в связи с теми или иными моими пожертвованиями. И вдруг — "враг государства номер один"! Вот, значит, как все быстро меняется в этом мире! Если ты перестал шагать в ногу, тебе мгновенно дают коленкой под зад и спихивают на обочину. Разница лишь в том, что при Гитлере человека сразу хватали и волокли в гестапо, а в нашем государстве этого уже делать нельзя...

Издаваемая американцами "Нойе цайтунг" поручила одному из своих ведущих журналистов, некоему Отто Штольцу, раздраконить меня со всех сторон. "Сверчок, забывший о своем шестке" — так озаглавил он свою статью. Господин Штольц мастерски владел языком угроз: "И если, пользуясь славой своего имени, он побудил хотя бы сотню молодых людей Федеративной республики участвовать в этой демонстрации в качестве статистов, все равно он виновен. В будущем, заклейменный, он будет растерянно блуждать среди людей, которые не считают свободу чем-то относительным...

Вместе с "серебряными стрелами", исчезнувшими с гоночных автотрасс мира, исчезло покровительство семьи и того общественного круга, которое позволяло такому человеку, как Манфред фон Браухич, воспринимать жизнь только со спортивной стороны".

Если бы в тот вечер на Клейаллее, выпив рюмку виски, я поставил бы ее на стол и спросил: "Сколько вы мне заплатите, джентльмены?" — этот Отто Штольц немедленно извлек бы из архива первый послевоенный номер "Мюнхенер иллюстрирте" и раздобыл из-под земли материалы о самых сенсационных моментах моей карьеры. Он написал бы вдохновенную поэму в прозе об автогонщике, который ориентируется в жизни с той же уверенностью, что и на гоночном маршруте... Для этого мне только понадобилось бы поставить рюмку на стол и спросить о сумме...

Далее Отто Штольц пророчествовал: "Но теперь московский режиссер всего этого спектакля не предложит Браухичу новый ангажемент. Браухич уже не в спросе — выяснилось, что его притягательная сила совсем не так уж велика".

Однако Штольц проглядел главное: ведь именно эта "притягательная сила" и побудила его и его хозяев по-святить мне целую тысячу слов в политическом разделе "Нойе цайтунг". А сколько слов они уделили бы мне в спортивном отделе в случае моей победы на треке АФУС?..

Я вырезал эту статью, приложил ее к коллекции моего брата и подумал, что ведь и он, в сущности, не в особенном восторге от моих дел. Я решил сам собирать отклики прессы на тогдашний период моей жизни.

Моя мать и Гаральд не обращали внимания на всю эту фабрикацию общественного мнения вокруг меня, видимо полагая, что со временем я сам избавлюсь от своих "заблуждений". Иногда мать очень мягко и с большой доброжелательностью спрашивала меня: "Веришь ли ты, дорогой мой, что поступаешь правильно, отдавая столько времени и сил этим пролетариям? Славу богу, твой отец не дожил до дня, когда его сын стал якшаться с "красными". Пусть тебя не удивляет, что порядочные люди отвернулись от тебя и от твоей жены".

Мы и в самом деле попали в какую-то изоляцию, и часто это угнетало нас. Еще в армии я в одиночку восстал против сытого и самовлюбленного мещанства и теперь в своем внутреннем мятеже против всякого реакционного старья опять оказался один.

Через некоторое время ко мне пришли спортсмены-мотоциклисты и попросили совета, как получить право участвовать в соревнованиях, проводимых в ГДР. Тогда спортивные встречи между Востоком и Западом были более чем редки, хотя спортсмены обеих сторон проявляли к ним огромный интерес.

Еще 27 мая 1951 года Германский спортивный союз и его секции постановили допускать "спортивные контакты с

"Восточной зоной" в каждом отдельном случае по особому разрешению". Соответствующие заявления просто клались под сукно, и поэтому такие контакты почти не практиковались.

Я серьезно задумался, как помочь делу. В итоге многих разговоров на эту тему у меня сложилось твердое мнение о целесообразности создания специального Комитета по межгерманским спортивным связям. Хоть я и предвидел несомненные и немалые трудности, все же при поддержке друзей я учредил такой комитет.

Призыв к спортсменам обеих Германий встретил широкий отклик. Метатели копья, спринтеры, скороходы, легкоатлеты всякого рода, велосипедисты, футболисты, боксеры, мотоциклисты, автомобилисты, пловцы, гребцы — все присылали своих представителей на созванное в Мангейме учредительное заседание нашего комитета.

Этот день ознаменовался большим успехом. Свыше четырехсот молодых людей съехались для того, чтобы заявить о своей активной поддержке идеи широкого взаимопонимания между немецкими спортсменами и расширения всевозможных связей между ними. Все они изъявили готовность подписаться под основными требованиями комитета. Они гласили:

За единство немецкого спорта.

2. За свободу немецкого спорта.

3. За обеспечение мирного развития немецкого спорта.

И поскольку по логике вещей заниматься спортом можно только в мирных условиях, мы и решили активно бороться за мир. Истинные спортсмены всегда стремятся к миру со всеми народами и безоговорочно выступают против сторонников новой войны.

Наш призыв ко всем спортсменам и спортсменкам Федеративной республики гласил: "Добивайтесь единства и свободы в германском спорте!"

Таким образом, мы как бы автоматически вступили в полнейшее противоречие с планами боннского государственного аппарата.

Наш комитет быстро завоевал себе широкую популярность, и мы едва успевали отвечать на все вопросы и просьбы. Мы посредничали в устройстве множества спортивных встреч в Германии, и никто не посмел бы отрицать наше горячее желание деятельно способствовать взаимопониманию между немцами. Но, как и следовало ожидать, число наших врагов росло, а против меня лично образовался прямо-таки необозримый фронт.

Вскоре после учреждения комитета — это было 22 ноября 1951 года — я устроил в Дюссельдорфе пресс-конференцию с

целью ориентации общественности. На ней присутствовало сорок пять представителей различных газет, пожелавших ознакомиться с целями комитета.

Журналисты довольно лояльно слушали все мои заявления, но никак не могли взять в толк, как это потомок фон Браухичей отстаивает дело, затеянное "красными". После пресс-конференции несколько газетчиков отвели меня в угол зала и наперебой стали меня предостерегать и заклинать. Еще сегодня я слышу их слова: "Красные встретят вас у Бранденбургских ворот триумфально, с музыкой, гирляндами и расфранченными девушками. Они, конечно, будут в полном восторге от вашего политического недомыслия, но — запомните! — настанет день, и вы вместе с ними потонете в "красном болоте"! Не забывайте: вы были и остаетесь господином фон Браухичем! И поэтому в своих же интересах поскорее отойдите подальше от всего этого!"

Политические слепцы, они не могли оценить обстановку по-иному. А ведь все было совсем наоборот! Ведь именно в Западной Германии меня хотели связать по рукам и по ногам, чтобы "обезвредить". Яснее, чем когда-либо, я понял: обратись я к рыцарям ордена иоганнитов, членом которого являюсь пожизненно, с призывом начать крестовый поход, например, за возвращение в вотчину моих предков близ Лигница, меня бы шумно приветствовали, снабдили деньгами и даже не стали бы спрашивать, на что я их расходую. Меня бы вознесли уже хотя бы потому, что вот, мол, нашелся все-таки почетный рыцарь древнего ордена крестоносцев, воззвавший к "совести Запада"...

А так моим постоянным спутником был полицейский автомобиль. Едва я выходил из дому, чтобы направиться в гараж, как где-то рядом кто-то уже нажимал на стартер. Сколько раз я это слышал! Из близрасположенной больницы в Кемпфенгаузене два поселившихся там агента уголовной полиции подсматривали в бинокли, кто меня посещает. Группа других шпиков, замаскированных под больных, патрулировала вдоль моего забора. Наконец, третья группа развернула свой наблюдательный пункт за поленницей на участке моего соседа. Куда бы я ни ехал, полиция следовала за мной по пятам. Иногда я ради забавы здорово их дурачил. Это было нетрудно. Так, однажды, направляясь в Мюнхен, где в гостинице меня ожидал гамбургский издатель Ровольт, я действительно лихо обвел вокруг пальца свой "почетный эскорт". Очутившись в Форстенридском парке под Мюнхеном и идя на бешеной скорости, я свернул в сторону, совершил объезд в обратном направлении и вышел своим четырем преследователям в тыл. Следуя за ними на почтительном расстоянии, я с наслаждением наблюдал, как они

тщетно силились обнаружить мою словно сквозь землю провалившуюся машину...

Мой обычно жизнерадостный издатель на сей раз был мрачен. Он сказал, что у него были чиновники Ведомства но охране конституции и предложили ему в его же интересах расторгнуть подписанный со мной договор. "Я начал кричать на них, — продолжал Ровольт. — Неужели мы опять докатились до того, что не имеем права поступать так, как хотим? Но эти типы не стали пускаться в споры, а только сказали, что хотят предупредить меня по-хорошему... Таков курс наших акций, дорогой друг, — заметил он в заключение. — Вы как будто немного сочувствуете коммунистам, и поэтому они хотят помешать выходу вашей книги".

Через несколько месяцев Ровольта тоже изобличили в "симпатиях к Востоку" и, строго соблюдая табель о рангах, нарекли "врагом государства номер два".

В сентябре 1952 года престиж нашего комитета значительно возрос. Западногерманский спортивный союз прервал всякие отношения с Германским спортивным комитетом и строго запретил всем западногерманским спортивным объединениям поддерживать межгерманские контакты в области спорта. Этот шаг лишний раз подчеркнул необходимость существования нашего комитета.

Разрыв официально объяснялся некой анкетой, якобы предъявляемой всем западноберлинским спортсменам, направляющимся на спортивные мероприятия в ГДР. Утверждалось, будто анкета содержала вопросы о политических взглядах данного спортсмена, месте его работы и размере заработка.

Но никто такой анкеты не видел, ее просто не существовало. Недоразумение могло бы выясниться за несколько часов, однако Западногерманский спортивный союз, не разобравшись, в чем дело, поспешно решил прервать все спортивные связи, основываясь только на ложных показаниях какого-то западноберлинского чиновника.

Телефон в моем доме трезвонил с утра до ночи. Незадолго до того в Хельсинки окончились Олимпийские игры, прошедшие без участия спортсменов ГДР. Непризнание Национального олимпийского комитета Германской Демократической Республики мотивировалось положением Устава Международного олимпийского комитета, согласно которому каждая страна может быть представлена только одним Олимпийским комитетом. Однако же соответствующий комитет Саарской области был признан, между прочим, при активной поддержке Западной

Германии. В действительности недопущение спортсменов ГДР к участию в этой Олимпиаде имело чисто политический смысл и преследовало цель изоляции этой страны и в области спорта. Спортивные организации Германской Демократической Республики последовательно и настойчиво боролись за право на признание, и я считал своим долгом поддерживать их в этом.

Решение о прекращении межгерманских спортивных контактов действовало недолго. За считанные недели популярность нашего комитета стала настолько большой, что 12 декабря Вилли Даумэ пришлось поехать в Западный Берлин и письменно удостоверить, что решение о разрыве было принято "по ошибке". (В этой связи замечу в скобках следующую подробность: 16 августа 1961 года межгерманские спортивные контакты были прерваны вторично, но выпущенная по этому поводу "Белая книга" не содержала упоминания об этой "ошибке". Ее стыдливо заменили тремя точками...)

Когда спортивные организации Востока и Запада договорились впредь активизировать все спортивные контакты, мне захотелось вернуться к работе над моей книгой. Ровольту, в самом деле, пришлось расторгнуть наш договор. В частности, он вполне обоснованно предвидел, что в ФРГ сбыту моих мемуаров будут чиниться всевозможные препятствия. Но, к счастью для меня, берлинское издательство "Ферлаг дер национ" изъявило готовность напечатать мою работу. Ровольт отнесся к этому с полным пониманием.

Продолжать мои литературные занятия я мог только в спокойной обстановке. У меня же ее не было, ибо я затеял капитальную реконструкцию своего дома и строительные работы шли полным ходом. Поэтому я решил подыскать себе какой-нибудь спокойный пансион или отель недалеко от Штарнбергского озера. Случайно мне сообщили адрес католического дома отдыха, стоящего одиноко на западном берегу, близ Фельдафинга. То была большая, с хорошим вкусом выстроенная вилла, расположенная среди роскошного старого парка. Вдали мерцала водная гладь Штарнбергского озера, а перед красивой террасой среди ухоженных клумб и кустарника находился огромный плавательный бассейн. Лучшего я и желать не мог!

Старый седовласый пастор провел меня по вверенным ему владениям, с гордостью подробно ознакомил меня с виллой и домашней часовней, рассказал о прежнем владельце — каком-то русском князе, который с 1910 по 1914 год проводил здесь летние месяцы. Несколько лет назад это владение было приобретено католической церковью. Работы по кухне и обслуживанию 15—20

гостей выполнялись четырьмя монахами. Все вместе взятое буквально очаровало меня, особенно абсолютная тишина и покой. Я уложил чемоданы и переселился. Здесь мне никто не мешал писать и — что было для меня особенно важно — принимать своих сотрудников по комитету. В конце концов мне стало казаться, будто я живу в заколдованном замке с привидениями. Услужливые и молчаливые монахи в черных одеяниях придавали всему еще больше таинственности.

В первую же ночь я проснулся от сильного грохота: в дымоходе за изголовьем моей кровати что-то застучало, и я отчетливо услышал, как с шумом посыпались кирпичи. Наутро выяснилось, что в бездействующем, но незамурованном камине поселились вороны. Тогда я перебрался в каморку под самой крышей. По вечерам в ней сновали летучие мыши, но это не мешало.

Мне было не так-то легко привыкнуть к своей новой обители, и я обрадовался, когда узнал о прибытии на виллу некоего Манфреда — францисканского патера. Я решил познакомиться с моим тезкой и постучался к нему. Вскоре у нас завязался серьезный разговор о множестве различных проблем. Этот человек быстро расположил меня к себе приятной непринужденностью манер, спокойствием и несомненным умом. Он пользовался полным доверием своего ордена и в полном одиночестве разъезжал по странам Европы, выполняя поручения религиозной организации "Пакс Кристи" и вербуя для нее новых приверженцев. Одетый в сутану, он производил впечатление существа, навек отрешенного от всего земного. И все же я чувствовал его реальную и прочную связь с жизнью людей.

Патера Манфреда глубоко интересовали социальные проблемы современного индустриального общества, его тревожило отчуждение рабочих масс от церкви, и он искал способов противодействия этому. Священники, говорил он, должны прежде всего быть до конца откровенны с людьми. Уж если они настоящие пастыри, то не смеют бросать свое стадо.

Церковь пыталась укрепить связи духовенства с действительностью. "Идея института священников-рабочих, — говорил патер Манфред, — пожалуй, неплоха. Но Ватикан почти не поддерживает ее. Дело теперь в том, чтобы молодые представители христианской веры отправились в шахты, на фабрики и заводы, где благодаря своему производительному труду они станут близки и понятны рабочим. Живя среди них, они, несомненно, найдут почву для проповеди христианства, а участвуя в борьбе рабочих за существование, сумеют вернуть неверующих в лоно Христово. Однако, — добавил он, — и здесь

опыт показывает, что дьявол вмешивается буквально во все". На мой изумленный вопрос, при чем тут дьявол, он ответил: "Мы пришли к выводу, что эти священники заразились определенными общественными идеями. И хотя эти идеи и не поколебали их веру в бога, они все же поставили перед ними вопросы, ответ на которые они так и не могут найти. Понимаете, они как-то внезапно окунулись в борьбу за жизнь, приобщились к тяжелому труду, близко столкнулись с каждодневными проявлениями людской слабости и силы, и все это вводит их в опасные искушения".

Слушая рассуждения патера Манфреда, я не сомневался в его доброй воле. Мне нравилось, с каким упорством он стремился найти живую связь своего учения с нашим временем. Благословение, которое он от имени своего бога давал бедным, слабым и страждущим, не имело ничего общего с благословением смертоносного оружия, даваемого церковью во всем капиталистическом мире.

Однажды, когда мы с ним сумерничали на террасе, он мне сказал: "В будущем католическая церковь и вообще учение бога ни в коем случае не должно опираться на страх, нужду и человеческую слабость. Это учение необходимо внедрить в подлинную жизнь, только тогда оно пребудет в веках. А буржуазный мир часто пользуется верой лишь для того, чтобы ханжески прикрывать ею дурные дела. Все свои усилия мы должны сосредоточить на простых людях, на народе, стремиться охватить всех до одного. Первый шаг в этом смысле должны были сделать священники-рабочие. К сожалению, им это не удалось. Жизнь оказалась сильнее!"

Потом я много раз вспоминал его слова и удивлялся, как ясно рассуждал этот человек, несмотря на свою религиозную ограниченность. Через несколько дней патер Манфред покинул наш лес и отправился на несколько дней во францисканский монастырь под Мюнхеном, чтобы там, в тишине своей кельи, собраться с мыслями...

Я от души радовался, когда время от времени мое уединение нарушалось визитами друзей, которые непрерывно поддерживали спортивные контакты с ГДР и устраивали общегерманские соревнования.

Именно здесь, в этом пристанище "духовных отцов", под "сенью церкви", мне казалось вполне правильным и уместным много говорить о мире. Приглашая в этот дом людей, стремившихся только к хорошему, я, разумеется, нисколько не злоупотреблял доверием моих хозяев. Правда, гости мои были далеки от церковной жизни, но все они тоже жили и работали для

блага людей. Я дорожил каждым их приездом. Но главным моим занятием была работа над книгой.

Наконец осенью пришла пора вернуться в наш дом в Кемпфенхаузене, где меня ждала Гизела.

Тем временем Ведомство по охране конституции учинило обыск в мюнхенском бюро нашего комитета. Они не нашли того, что хотели найти, чтобы запретить нашу деятельность. Самой "криминальной" уликой оказалась газета "Шпортэхо", которая была конфискована. Покопавшись в наших бумагах добрых два часа, обнюхав все углы, шпики не могли скрыть своего разочарования незначительностью "добычи". В общем, подступиться к нам с этой стороны им не удалось. Да нам и нечего было скрывать. Обилие корреспонденции с различными спортивными союзами не давало повода к каким-либо придиркам. Поэтому через короткий срок наши противники изменили тактику.

Вскоре после описанного эпизода, в одно воскресное утро, наш делопроизводитель Вилли Хаас из города Заульгау, в прошлом известный метатель копья, попросил меня о встрече в кафе. Поздоровавшись с ним, я сразу обратил внимание на его взволнованный вид и беспокойные движения. С момента основания комитета мы с ним нашли общий язык, подружились и доверяли друг другу. И вдруг он заговорил так, что я усомнился, в своем ли он уме. "Требую с сегодняшнего дня удвоить мой оклад и увеличить командировочные, — сказал он. — Если ты против, то я провалю весь комитет и не посчитаюсь даже с тобой!"

"У тебя что — не все дома, Вилли?" — невольно воскликнул я.

"Я прекрасно понимаю, что говорю. Прошу дать мне ответ завтра, не позже полудня",— отрезал он, встал и, не простившись, ушел.

Мне очень не хотелось поверить, что кому-то удалось подкупить моего сотрудника, который с таким неподдельным энтузиазмом занимался своей деятельностью. Но никакое другое предположение не приходило мне в голову. Поставить такое бесстыдное требование по собственной инициативе он, конечно, не мог. Уж он-то лучше всякого другого знал о полной невозможности удовлетворить подобную претензию. Наш комитет существовал на пожертвования, регулярно поступавшие от частных лиц из спортивных союзов и даже от некоторых промышленников.

На следующий день все мои сомнения рассеялись. Вилли Хаас говорил какими-то неясными намеками, болтал о якобы существующих "замаскированных денежных источниках" и грозил скандалом. Я дал ему вволю выговориться и посоветовал

поступить в точности так, как ему приказали. При этом я полагал, что он действует по указке Ведомства по охране конституции.

Хаас действительно пошел в полицию и бесстыдно оклеветал нашу честную работу. Желая извлечь из своего предательства побольше выгоды, он попытался продать Западногерманскому спортивному союзу вымышленную им "информацию" о нашей посреднической деятельности. Г-ну Риттеру фон Хальту, тогдашнему председателю Олимпийского комитета ФРГ, он вручил какие-то документы нашего комитета, которые, однако, были настолько несущественны, что за них ему не заплатили и пфеннига. Но этот подлец все-таки выцарапал свои тридцать сребреников, когда выступил главным свидетелем по фальсифицированному обвинению, выдвинутому против комитета.

В тот же период ко мне в Кемпфенхаузен как-то приехал мой старый приятель Джеймс Льюин. Его появление было для меня как нельзя кстати, ибо, полагаясь на его осведомленность, я ожидал от него разъяснений по ряду политических вопросов. Казалось, и он обрадован встречей.

"Ну, как вам жилось в Южной Америке? — начал он разговор. — Когда мы виделись в последний раз, я никак не думал, что и ты и твоя жена так скоро отвернетесь от нашей прекрасной старой Европы. Но, как вижу, ты удивительно быстро вернулся обратно. Впрочем, я читал про тебя в газетах и все понимаю. Но каковы же, позволь спросить, более глубокие причины!"

"Аргентина ужасная страна, — откровенно сказала Гизела, — и я бы там ни за что не хотела жить, даже в лучших условиях!"

"Я на собственном опыте убедился, как на чужбине трудно начать все сначала,— заметил Джеймс и после короткой паузы добавил: — Особенно когда тебе уже не двадцать!"

"В том-то и все дело. Кроме того, мы с Гизелой представляли себе все по-иному. И самое худшее — это тамошняя весьма многочисленная немецкая колония, которая с первого же дня взялась за нашу обработку, да еще как! Это нас не устраивало ни с какой стороны. Во всяком случае, мы снова здесь и должны попытаться найти какую-то правильную дорожку".

Мы разговорились. Джеймс не скрывал, что при поддержке американцев многие старые нацисты опять оказались на влиятельных постах. Желая оправдать это, он сказал: "Учитывая американские интересы в деле защиты Европы, нам необходимо слегка повернуть колесо истории вспять".

"Тебя я, конечно, не могу заподозрить в сообщничестве с нацистами, — заметил я. — Ты еврей, и в свое время они вынудили тебя покинуть родину. Значит, любить их ты никак не

можешь. И вдруг ты мне чуть ли не с одобрением рассказываешь, как нацистские преступники с помощью американцев опять всплывают на поверхность".

"Ты совершенно прав, — ответил он, — и с тобой я могу говорить обо всем без лишних слов. Мне все это так же не по душе, как и тебе, но... западный мир не может придерживаться Потсдамского соглашения. Нашим политикам приходится опираться на старые силы... а это почти всегда нацисты, тут ничего не поделаешь. В сравнении с коммунистами они кажутся нам меньшим злом. Вот почему и тебе не удастся плыть против течения, Я принадлежу к числу хорошо информированных журналистов и, конечно, слышал о многих крайне резких статьях по твоему адресу. Некоторые читал сам. Знаю также про твой комитет. Готов допустить, что ты не разобрался в обстановке и, будучи идеалистом, стремишься к объединению Германии хотя бы в области спорта. Однако нам объединение с этим восточногерманским государством представляется опасным".

"Но как же так! — возразил я. — Ведь и Общий договор, и Парижские соглашения, по сути, налагают на их участников обязательства, откровенно нацеленные на новую войну. Я уже однажды был свидетелем медленной и тайной подготовки к войне. Она происходила буквально на моих глазах, и теперь я отлично знаю, как ее ведут. Так вот — против этого я буду бороться всеми силами! Я слишком хорошо помню гитлеровские времена, помню, как с наших глаз упала пелена, когда уже было поздно. А ты разве не помнишь? Может, тебе это все безразлично, вернешься в свою Америку и забудешь про Германию. Но ведь расхлебывать кашу снова придется нам. Правда, ты сам не участвовал в недавней войне, что, возможно, отчасти оправдывает тебя, но ведь ты еврей и поэтому, казалось бы, должен относиться к нацизму с последовательной непримиримостью".

"Ты стопроцентно прав, — признался мой старый друг, — но у нас боязнь коммунистической опасности куда сильнее страха перед нацизмом".

Я напомнил ему, что Томас Манн, один из величайших и умнейших представителей нашего народа, назвал антикоммунизм главной глупостью нашего столетия. "Здесь, в Германии, вопрос стоит так: "Война или мир". И хоть мне это и неприятно, но скажу тебе прямо: мир никак не может быть гарантирован людьми, которые сегодня блокируются с американцами. Ведь нельзя же, в самом деле, утверждать всерьез, будто те же люди в области экономики, те же судьи в области юстиции, те же офицеры во вновь создаваемой боннской армии, те же газетные врали, то есть вся старая нацистская сволочь, вдруг изменили свои взгляды и

установки и преследуют какую-то новую цель, противоречащую устремлениям Адольфа Гитлера. Знай, дорогой друг: корабль, который сейчас мастерят эти типы, несомненно, военный корабль, и по доброй воле я наверняка не сяду на него, ибо знаю, что раньше или позже он пойдет ко дну. Точно так же в свое время я не пожелал забраться в гитлеровский танк, когда перестал ездить на гоночной машине. И вообще — ради этих людей я ничего делать не стану! Ни за что!"

"Если ты так решительно придерживаешься этой позиции, — сказал Джеймс, — то тебе, как и мне в свое время, придется эмигрировать".

"Это верно, два года назад я уже было подался в Южную Америку, но попал из огня да в полымя. Сегодня я знаю, что здесь, на Западе, солнце заходит не только в прямом, но и в переносном смысле".

Мы долго молчали и смотрели друг на друга. Так вот, значит, ради чего несколько лет назад, рискуя своей безопасностью, я помог этому человеку исчезнуть из нацистского "рая", подумал я. Сегодня, вернувшись сюда в облике "ами"[39], он активно помогает бандитам и убийцам, из лап которых он с таким трудом вырвался, снова выйти на арену, получить права и власть на погибель немецкому народу!

"В общем, дорогой Манфред, давай выбросим все наши разногласия на помойку, — смеясь, сказал он. — Поедем-ка лучше в Западный Берлин. Это отличный плацдарм для деятельности! Невероятные перспективы! Сортировочная станция с множеством стрелок! Туда я теперь и направляюсь с особой журналистской миссией".

"Где-нибудь когда-нибудь мы встретимся снова и, несмотря на наши разногласия, надеюсь, останемся друзьями", — сказал я ему на прощание.

Не всегда утро вечера мудренее

В начале марта 1953 года ко мне заявились два господина, назвавшие себя налоговыми инспекторами. С чистой совестью я впустил этих людей к себе, полагая, что их приход вызван каким-то недоразумением. Я всегда точно указывал свои доходы и сполна платил казначейству причитавшиеся с меня налоги. Но чиновники заявили мне, что речь не идет о деньгах, заработанных мною в ФРГ, но о гонораре за публикацию моей книги в "зоне". Этот предлог показался им достаточным для того, чтобы перерыть все мои рукописи, книги и папки. Попутно они бесцеремонно курили мои сигареты и прикладывались к моему коньяку. Снова и снова они болтали о каких-то моих "крупных

доходах", якобы скрытых мною от налоговых инстанций ФРГ.

Через несколько часов мои "друзья" расстались со мной и перетащили в ожидавшее их такси перевязанные пачки "обнаруженных материалов" для дальнейшего просмотра.

Согласно заключенным между обеими Германиями соглашениям, все доходы, налоги по которым взысканы в Германской Демократической Республике, не подлежат вторичному налогообложению в ФРГ. Поэтому мои незваные гости, казалось бы, должны были понять абсолютную неправомерность своего визита. Но по старому гестаповскому обычаю это был лишь первый шаг к подрыву моего материального положения. Поэтому я не удивился, когда через неделю ранним утром у моей двери позвонили представители уголовной полиции. Очень громким голосом они потребовали впустить их в дом. Прежде чем открыть им, я поспешил к еще спавшей Гизеле и разбудил ее возгласом: "Визитеры из крипо!"[40]

"Что бы ни было, Манфред, оставайся спокойным и сильным!" — сказала она мне вдогонку.

Едва я открыл дверь, как главный из четырех полицейских объявил мне, что я арестован, и, грубо оттолкнув меня в сторону, проследовал в гостиную. Здесь без всяких стеснений, с истинно прусской основательностью они принялись шарить в комодах и шкафах. На мое замечание, что их действия напоминают "методы Дикого Запада", кто-то из них пробормотал что-то насчет "долга службы". Когда я попросил предъявить ордер на арест и обыск, мне ответили, что эти документы будут представлены дополнительно. Тогда я тут же позвонил своему мюнхенскому адвокату д-ру Рудольфу и сообщил ему об этом скандальном инциденте. Он указал на полную противозаконность действий чиновников и добавил, что без надлежаще оформленного ордера на арест я не обязан следовать за ними. После этого телефонного разговора они явно растерялись, быстро изменили тон, несколько раз подчеркнув, что речь идет лишь о кратком допросе по поводу ряда порочащих меня поступков и что своей строптивостью я ненужным образом осложняю все дело. Хоть я и не верил им, но все же счел благоразумным одеться и поехать с ними в Мюнхен. Моя совесть была настолько чиста, что я просто не мог отнестись ко всему этому серьезно. Ведь кому, как не мне, было лучше известно, что я сделал и чего не делал.

Поэтому я спокойно простился с Гизелой, настоятельно убеждая ее не волноваться и ждать моего скорого возвращения.

Итак, без всяких эмоций я уселся с этими господами в их "БМВ", в котором они меня и доставили в полицейское управление Мюнхена. Там меня немедленно проводили к

чиновнику, заверившему меня, что он намерен задать мне "только несколько вопросов".

Допрос начался в подчеркнуто дружелюбном тоне. Единственный его "дефект" я усматривал лишь в необычайно раннем часе, к которому его приурочили. Полицейский чиновник заявил, что в свое время был завзятым болельщиком автоспорта и не раз, стоя у обочины гоночной трассы, восторженно приветствовал меня. Потом он раскрыл лежавшую перед ним папку. По выражению его физиономии я мог прочитать примерно следующее: "Да, к сожалению, на вас действительно заведено довольно неприятное дело, но два джентльмена всегда легко могут найти общий язык и уладить все за полчаса". До этой минуты он казался мне достаточно разумным человеком. Всем своим обликом и поведением он словно опровергал мнение пессимистов, которые пугали меня полицией и в один голос пророчили мне "плохой конец", когда я взял на себя председательство в Комитете за единство и мир в немецком спорте.

"От вас требуется только краткое заявление о том, что средства для комитета поступают к вам с Востока. У нас уже есть соответствующие свидетельские показания, и теперь требуется лишь ваше подтверждение". "Какие еще средства с Востока?" — спросил я. "Ну, хорошо...— Он натянуто улыбнулся.— У вас были связи с Востоком?"

"Конечно, были! Ведь мы только и делаем, что заботимся о спортивных связях между Западом и Востоком", Мои слова удовлетворили его. Задав мне еще несколько вопросов в том же роде, он приказал отвести меня в комнату ожидания. "Подождите, пока будет готов протокол,— сказал он. — Помещение, скажем прямо, не идеальное, особенно для господина фон Браухича, но другого в моем распоряжении, к сожалению, нет. Надеюсь, вас не обидит кратковременное нахождение за решеткой и вы не затаите на нас зла".

За окнами просыпался Мюнхен, я слышал звонки трамваев, гудки автобусов... Прошло полчаса. Мысленно я был снова в Кемпфенхаузене и думал о делах, которые успел бы сделать в первую половину дня. Мои размышления прервал дежурный, позвавший меня к тому же чиновнику. Тот положил передо мной протокол и показал мне, где расписаться. Читая протокол, я обнаружил изменения и прямые искажения моих показаний. Особенно меня изумили слова: "Фон Браухич подтверждает свои связи с, Востоком, в частности в том, что касается денежных средств для комитета".

Я отказался подписать это вранье, и тогда моего следователя

точно подменили. Исчезла его "слабость к автогонщикам", исчезла вежливость, с которой он извинялся по поводу временного помещения меня за решетку. Теперь в его глазах сверкала ярость:

"Вот это интересно! Этот господин фон Браухич прошел блестящую коммунистическую школу. Выучил все на отлично!"

"О чем это вы?"

"Бросьте свои глупые вопросы! Вы же сами разоблачили себя. Ведь это коммунисты научили вас не подписывать протокол. Так поступают только коммунисты".

"Может, они еще вдобавок завтракают младенцами?" — пошутил я, в последний раз пытаясь вернуть разговор в нормальное русло. Но куда там! Теперь он уже только кричал.

"Оставьте ваши дурацкие шутки при себе! Вы думаете, ваше имя производит на нас большое впечатление? Для нас вы просто грязный коммунист, и мы с вами разделаемся, можете не сомневаться! Не с такими справлялись!" Он вскочил и заорал: "Отвести!"

Согласно формальностям приемного отделения полицейской тюрьмы, надзиратель поднялся со мной на четвертый этаж. В конце длинного коридора он открыл передо мной дверь. Впервые в жизни я вошел в помещение длиной пять шагов и шириной три шага, именуемое камерой. Несмотря на очевидную неприятность моего положения, я все-таки никак не мог настроиться на серьезный лад. Ошибка, и все тут, говорил я себе. Надзиратель вежливо пропустил меня вперед и, заметив, как я изумился, увидев четыре койки, с подчеркнутым добродушием проговорил: "Ваша судьба печальна, но вы не огорчайтесь! В этой камере бывало много знаменитых политических заключенных. Еще до Гитлера тут сидели самые лучшие господа. Это было в веймарские времена. Впоследствии Гитлер сажал сюда своих политических противников. Поверьте, за этим столом кушали высшие офицеры, бароны, духовные особы. Правда, сомневаюсь, остались ли они в живых. Но здесь проходил их первый, в общем-то безопасный, период. Сегодня сюда вселяетесь вы. Еще один благородный жилец!.. Не волнуйтесь, и вы со временем выйдете отсюда. Между прочим, это далеко не худший из наших апартаментов!"

С этими словами он вышел, запер дверь на замок и щелкнул задвижкой.

В ранней молодости я не раз выкидывал фортели, не дозволяемые полицией. Узнавая о моих проделках, друзья и знакомые от души хохотали. И если в этих случаях у какого-нибудь бюрократа-чиновника не хватало чувства юмора, то всегда

находился более высокий начальник, приказывавший "замять дело". Даже президенты городской полиции и те иной раз вызволяли меня из беды. Теперь, очутившись в камере, я вспомнил об одном совсем недавнем случае.

После утомительной ночной поездки я остановился у края шоссе, чтобы немного поспать. Вдруг меня будит полицейский, и я, не разобравшись, кто передо мной, спросонья пробормотал, куда именно ему надлежит поцеловать меня. Он сильно рассердился, и в конце концов мне пришлось уплатить штраф. Но теперь все выглядело совсем иначе. В камере сидел не гонщик компании "Мерседес", а человек, подозреваемый в попытке улучшить взаимопонимание между восточными и западными немцами!

До сих пор чиновники уголовной полиции порой приходили в замешательство, выясняя, что этот человек и знаменитый автомобильный гонщик из "лучших кругов общества" — одно и то же лицо и что репрессии против пего могут оказаться крайне непопулярными. Или, может быть, рассуждал я, будучи немцем и общаясь с "теми" немцами, я уже настолько изолировал себя от "хорошего общества", что со мной станут поступать, "как со всяким нежелательным человеком", и возьмут под полицейский надзор? В сущности, так оно и вышло — я уже фактически "сидел", хотя все еще пытался посмеиваться над случившимся и "не допускал", что это произошло со мной. "Спокойно, Манфред, не волнуйся, ошибку должны исправить, — утешал себя я. — Через несколько часов следователь все выяснит, и во второй половине дня ты наверстаешь все, что не смог сделать утром". Мне не приходило в голову, да я бы и не мог поверить, что правители Западной Германии хотят расправиться со мной, чтобы запугать других. Но проходил час за часом, и ничто не изменялось! Я оставался под арестом. Когда откуда-то издалека доносились шаги или позвякивание ключей, я настораживался. Но никто не приходил ко мне. Днем принесли жиденькую похлебку, а потом хлеб с маргарином. Настал долгий вечер, а за ним потянулась еще более долгая ночь. Я живо представлял себе мою убитую горем мать, повергнутую в отчаяние сенсационными сообщениями газет о моем аресте. Мой заботливый надзиратель сунул мне мюнхенскую "Абендцайтунг" за 8 мая. Над пятью столбцами на первой полосе горела ярко-красная шапка в две строки: "Автогонщик фон Браухич арестован как государственный изменник!" Репортаж заканчивался следующей недвусмысленной фразой: "По-видимому, федеральный суд возбудит против Манфреда фон Браухича дело по обвинению в государственной измене".

Государственная измена? Что это, собственно, значит? Я спросил надзирателя, но он только пожал плечами. Вскоре он принес мне том Уголовного кодекса, и я прочитал: "Государственная измена — это преступное посягательство на внутреннюю целостность государства. Она налицо, когда кто-либо предпринимает попытку насильственного изменения Конституции или пытается насильственно присоединить имперскую территорию, частично или полностью, к какому-либо иностранному государству или отторгнуть часть от целого".

Неужели все эти люди с ума посходили? Насильственно изменить Конституцию?! Отторгнуть часть империи?! Видимо, я имел дело с дураками, чтобы не сказать с полными идиотами.

Но я хорошо знал своих братьев по классу. Ведь я действительно начал действовать вразрез с интересами моей общественной группы. Она сочла это опасным для себя и обвинила меня в предательстве...

Я попытался поудобнее улечься на койке и собраться с мыслями. Ночью в тюремной камере очень тихо, куда тише, чем где бы то ни было. Даже твои мысли и те, кажется, не могут улететь за пределы плотно закрытого и зарешеченного окна.

Я думал о Гаральде, который, конечно, никогда бы не попал в подобное положение. Я спросил себя: как он может отнестись ко всему этому? Его родной брат, потомок Браухичей, обвинен в государственной измене! Невероятно! Видимо, даже со своей женой он говорит об этом неприятном происшествии только шепотом, а с сыном и вовсе не обсуждает его. Другое дело мой скандал с Бальдуром фон Ширахом — тогда Гаральд был всецело на моей стороне. Теперь же он, скорее всего, скажет примерно так: "Дорогой Манфред, как же это ты так сбился с пути? Я не могу поддержать тебя! Ты покинул родное гнездо, чтобы вступить в тайный сговор с маленькими людьми, с чернью против нашей благородной касты... Нет! Ты поступил очень плохо!" И он отвернется от меня... Что ж, значит, еще один человек не понимает, что в этом случае разговор идет о глубоко принципиальном конфликте...

"Государственная измена"! Эти два слова не давали мне покоя. И вдруг в памяти возникло имя, вспомнилось грубое и заурядное, плоское лицо: Фрайслер! Я видел его в ресторане "Тэпфер" вместе с другими столь же отвратительными господами, которые в панике сорвались с мест, когда раздалась сирена воздушной тревоги. Именно Фрайслер непрестанно толковал о государственной измене как о чем-то массовом, обычном, повседневном. Но я вспомнил и графа Штауффенберга, который пожертвовал собой, подложив бомбу под стол Гитлера. Своим

мужеством этот человек завоевал себе всеобщее уважение. И я подумал: неужели, очутившись в камере мюнхенской тюрьмы, ты станешь малодушничать и дрожать перед какими-то жалкими горлопанами? Нет, ты продолжишь свою борьбу за дело, которое считаешь справедливым. Спорт должен не только объединять людей вообще, но и прежде всего служить моему народу связующим звеном... Таково было мое твердое убеждение, и убогая мышиная возня мюнхенской полиции, разумеется, не могла поколебать его.

На следующий день меня вывели из камеры, поставили перед фотоаппаратом и быстро сняли в профиль и анфас для альбома полицейского архива, облегчающего розыск карманных воришек и взломщиков. Затем у меня сняли отпечатки пальцев, дополняющие эти фотографии, вроде того как специальный ключ "дополняет" замок наручников.

Я простился с моей камерой и моим надзирателем-оптимистом, но, как выяснилось, лишь для того, чтобы сесть в "зеленую Минну"[41] и в обществе нескольких уголовников-рецидивистов, которых до того знал только по анекдотам, перекочевать в тюрьму "Мария Хильф", расположенную в Нойдэке под Мюнхеном.

Первая встреча с моим адвокатом прошла довольно драматично: со слезами на глазах он заявил мне, что ведение моего дела может иметь для него весьма тяжелые финансовые последствия и что его жена, ожидающая ребенка, в полном отчаянии. Уже рано утром ему звонили какие-то его клиенты, в частности представитель крупной фирмы, которую он обслуживал как юрисконсульт, и сокрушенно упрекали его за намерение выступить в роли защитника на процессе "с коммунистическим налетом". Его призывали не пятнать свое адвокатское имя. Мне пришлось успокоить беднягу, прежде чем перейти к собственным делам. Меня особенно волновал день, на который была назначена проверка обоснованности моего содержания под стражей.

Прошло три недели, и ко мне прибыл прокурор Вагнер из федерального суда в Карлсруэ. Чиновник мюнхенского полицейского управления буквально задыхался от возбуждения и рядом со сдержанным федеральным прокурором выглядел невероятно глупо.

"Мы знаем про вас все, преступник вы этакий! — зарычал он на меня. — Мы перерезали ваши туго натянутые нити. Нам известно, чего именно вы добиваетесь с вашими коммунистами!"

"Перестаньте орать! — резко ответил я. — Никакой закон не позволяет вам так кричать. Не говорю уже о ваших подозрениях".

"Ах, скажите на милость, вы же еще и обиделись! Только вам

и говорить о законах!" — продолжал он шуметь...

Судья, сидевший между нами, пытался придать разговору хотя бы подобие спокойной деловитости. Прокурор потребовал продления моего заключения. Судья вышел и вскоре вернулся с решением освободить меня.

"Ну что ж, могу вас поздравить, герр фон Браухич", — злобно ухмыльнулся прокурор Вагнер и захлопнул свою папку.

Я собрал свои вещи и, не теряя времени, покинул старое, затхлое здание тюрьмы. Значит, все-таки есть еще право и справедливость, подумал я. Все-таки судья не послушался прокурора и принял другое решение.

Не стану описывать радость Гизелы, когда я вернулся домой. Немного успокоившись, она рассказала мне довольно странную историю. К ней пришел какой-то незнакомый нам декоратор из Мюнхена и рассказал, что, работая в особняке министра внутренних дел Хэгнера (Баварии. — *Ред.*), он оказался невольным свидетелем разговора о "деле Браухича" между министром и кардиналом Фа-Ульхабером.

"Арестовав столь известного человека, мы специально сфабрикуем процесс, чтобы, таким образом, запугать всех остальных. По сути, Браухич ничего наказуемого не совершил, но он стал нам неудобен и надобно заткнуть ему рот", — сказал министр своему собеседнику.

Декоратор — видимо, человек с добрым сердцем — встревожился и сразу же поспешил к моей жене, чтобы рассказать ей об услышанном.

До этого дня я предполагал, что людей подвергают тюремному заключению только лишь за те или иные правонарушения...

Моя жена — уроженка Рейнской области, и, когда мы оказывались в Мюнхене, я охотно заходил с ней в большой трактир поблизости от Фельдхернхалле[42], чтобы выпить по бокалу рейнского вина. Эта ресторация была устроена в бывшей конюшне при резиденции баварского принца-регента и называлась "Пфэльцер вайнштубэ". Высота потолка достигала здесь почти семи метров, и, сколько бы посетители ни курили, воздух в помещении всегда был чист. Когда все места бывали заняты, чопорные завсегдатаи разрешали нам подсесть к их столику, и мы поневоле подслушивали разговоры бывших высокопоставленных офицеров. С каждым годом эти господа высказывались все более откровенно, а со временем начали без всяких стеснений говорить вещи, за которые оккупационные власти совсем недавно могли бы привлечь их к судебной

ответственности.

Обстоятельства по-прежнему вынуждали их оставаться пассивными, но они твердо надеялись вскоре активно включиться в дело создания новой, на этот раз западногерманской армии. Я сидел около них, пил вино и не уставал изумляться. Они открыто хвастали, что в один прекрасный день пойдут походным маршем на Вроцлав и не задерживаясь в нем, с ходу начнут теснить "большевиков" и отбросят их до... Урала. Гитлер, утверждали они, допускал ошибки, и теперь, мол, все дело в том, чтобы не повторять их и на сей раз "продвинуться подальше".

Мне казалось непостижимым, как эти люди, пережившие поражение в первой мировой войне, не говоря ужо о катастрофе 1945 года, которая застала их на ответственных постах, не научились ровным счетом ничему. По их прусско-милитаристским представлениям, весь смысл жизни сводился только к генеральским звездам, погонам и лампасам. Этим авантюристам, видимо, было все равно, кому служить. Завтра они бы с удовольствием продолжили свою службу в американских мундирах и вообще, не задумываясь, встали бы под любое другое знамя, кроме красного разумеется.

Они пропускали мимо ушей мои слова о необходимости дружественных отношений между народами или о разоружении. Они не желали считаться с чьим бы то ни было мнением, кроме своего. И уж наверняка не с мнением Манфреда фон Браухича, который в силу своего "прославленного традицией" имени, несомненно, принадлежал к их кругу и, следовательно, был просто обязан разделять подобные взгляды.

С раскрасневшимися от выпитого вина физиономиями они все громче разглагольствовали с прежних шовинистических позиций и, умильно глядя друг на друга, вспоминали былые "геройские дела", грохот орудий и экстренные сообщения о победах.

Напоминаю, что все это происходило уже в 1953 году, в период, когда разговоры о намерении ФРГ ввести всеобщую воинскую повинность выдавались за "лживые выдумки Востока".

Вновь и вновь подтверждались мои худшие опасения: они хотели повторить то, что мы уже пережили дважды. Ради "торжества идеи" эти вояки без малейших колебаний снова открыли бы огонь. И "во имя идеи" такие люди без малейших колебаний откроют огонь. В этом я совершенно не сомневался.

2 сентября 1953 года в пятом часу утра агенты политической полиции подняли трех моих сотрудников с постели и арестовали. (Замечу, что, поскольку наш комитет не был запрещен властями, мы и не думали прекращать свою работу по установлению

межгерманских спортивных связей.)

Через час полиция прибыла и ко мне, причем теперь ордер на арест был мне предъявлен прямо у садовой калитки. Документ этот был более чем конкретен. Он гласил, что наш комитет является замаскированной коммунистической организацией, а все мы подозреваемся в государственной измене, подрывной деятельности и тайном сговоре.

На сей раз агенты не стали производить обыска, но зато предложили мне немедленно одеться и поехать с ними. При этом они ни на минуту не спускали с меня глаз. Один чиновник уселся около меня в спальне, другой пошел в кухню, где пристально наблюдал за моей женой, готовившей мне чай, который мне разрешили выпить, стоя в коридоре. Гизела страшно разволновалась и рассталась со мной так, будто мы с ней прощались на веки вечные.

Меня повезли не в полицейское управление, как в первый раз, а прямехонько в каторжную тюрьму Штадельхайм. В комнате ожидания, где тюремщик отнял у меня все, что я по наивности уложил в небольшой чемодан, двое пожилых ворюг дали мне несколько добрых наставлений, чем слегка подняли мое довольно подавленное настроение. Бывалые уголовники, они сразу распознали во мне новичка.

Наконец за мной явился дежурный и, пройдя со мной через три внутренних двора, привел меня на второй этаж "особого отделения". Дежурный — его звали Ляйтенбергер — был явно удивлен тому, что меня направили сюда, и, прежде чем отпереть дверь, несколько раз прочитал сопроводительную бумажку. До сих пор он, видимо, считал, что политических не содержат в отделении для убийц. Ляйтенбергер ведал двадцатью тремя "одиночками". Четыре из них пустовали, в остальных сидели убийцы или подозреваемые в убийстве.

Моя камера была еще уже и примитивнее, чем в Нойдэке. Заключенный не мог самостоятельно открыть окно, а от параши невыносимо несло хлорной известью.

С этой минуты все мои иллюзии кончились. Меня хотели запугать и нейтрализовать. Либо я должен был прекратить борьбу и подписать какое-нибудь фантастическое заявление, например о том; что Вальтер Ульбрихт дал мне сто тысяч марок и за это потребовал убить Конрада Аденауэра, либо приготовиться к тяжелым дням.

Я решил выбрать второе, и, видит бог, это была нелегко. От прославленного героя-автомобилиста до затравленного политзаключенного — долгий и тернистый путь.

Все-таки очень странно, как быстро руководящая: группа,

завладев всеми средствами государственной власти, объявляет неугодных ей людей представителями иного общественного строя и на этом основании присваивает себе право беспощадно преследовать их. Твой прежний мир стал окончательно враждебен тебе, подумал я. Теперь ты должен сделать еще один шаг вперед, чтобы снова почувствовать почву под ногами. И самое сложное: в сущности говоря, ты абсолютно не знаешь, что тебя ждет. Ибо этот другой, социалистический мир, столь ненавистный властителям Федеративной республики, совершенно тебе неведом. Поистине книга за семью печатями...

Тогда я еще не усвоил толком, что антикоммунизм — это основной принцип всей политики ФРГ. Что же до коммунизма, то о нем я знал слишком мало.

Опираясь на старых офицеров, эти люди хотят воссоздать свою вдребезги разбитую военную мощь, говорил я себе. В этих головах неискоренимо засели нацистские фразы о "Великогермапской империи", о "народе без пространства", они не могут забыть лозунг "Хайль Гитлер, мы победим!". Иногда я даже радовался, что у меня столько времени для размышлений по этому поводу. С каждым днем я все яснее понимал опасность своего положения. Теперь уже не могло быть речи о "ведомственной ошибке", как мне думалось прежде. Все оказалось крайне серьезно. Бонн твердо решил заставить замолчать всех, кто сопротивлялся его политике ремилитаризации.

Тревога за жену не давала мне покоя. До сих пор Гизела мужественно сопутствовала мне. Она любила меня не меньше, чем я ее, но сомневалась, надо ли мне продолжать эту, как ей казалось, бесперспективную борьбу.

Знай я в этот час про события, происшедшие у меня дома, я бы еще крепче стиснул зубы. В интригу, которой меня опутали, весьма хитро вовлекли и мою доведенную до отчаяния жену. Ровно через час после моего ареста к Гизеле явился судебный исполнитель и потребовал уплаты какой-то вымышленной налоговой недоимки в несколько тысяч марок. Она, естественно, отказалась вручить ему эту сумму, даже если бы и могла. Вопреки всем ее разъяснениям и заверениям, что такого долга вообще не существует, судебный исполнитель оказался неумолим и описал всю мебель. Его приход был, несомненно, связан с моим арестом.

Гизела окончательно растерялась и не знала, куда кинуться. Лишь через несколько недель ей разрешили свидание со мной, да и то всего на 10 минут. Мы разговаривали в маленькой камере через плотную проволочную сетку и в присутствии двух надзирателей. Гизела храбрилась, как могла, но, хорошо зная ее, я понимал, чего ей это стоит. Они настойчиво добивались своего

— любыми способами деморализовать нас.

Вернувшись после свидания в свою камеру, я впервые ощутил прилив неведомой мне ненависти, и она превозмогла во мне и душевную боль, и чувство одиночества.

Когда, изолированный от всего на свете, ты сидишь в тюрьме, твой адвокат — единственный мостик к вожделенной свободе. Именно о нем, об этом мостике, ты и думаешь большую часть суток. После моего первого ареста адвокат Рудольф повел себя как самый трусливый бюргер и предпочел не защищать меня. В тот период, заботясь о своем реноме, адвокаты вообще всячески уклонялись от дел вроде моего. Поэтому передо мной встал важный вопрос: кем заменить Рудольфа, где найти достаточно смелого защитника, готового мне помочь. Гизеле удалось разыскать такого человека. Им оказался д-р Свобода, заботившийся обо мне в течение нескольких месяцев...

Газеты вновь запестрели жирными шапками. В частности, не поскупилась на красную краску нюрнбергская "8-ур блатт". Напечатанную на первой странице информацию о моем вторичном аресте она озаглавила: "Слухи о шпионской деятельности Браухича в пользу одной восточноевропейской державы пока ниоткуда не подтверждаются".

Сорокапятиминутные утренние прогулки были для меня единственной возможностью видеть людей, точнее, моих "коллег" по отделению строжайшего режима. Вместе с ними я становился в строй и выходил во двор. Здесь меня отделяли от них, отводили в дальний угол, где под надзором специально приставленного ко мне тюремщика я в полном одиночестве ходил по кругу. Как "особо опасного преступника" меня держали в отдалении от "просто опасных" преступников, которые совершали свою утреннюю прогулку гуськом, двигаясь через интервалы в три метра друг от друга.

По истечении месяца моего одиночного заключения надзиратель как-то спросил меня, не желаю ли я гулять еще и после обеда. Я, конечно, обрадовался этому неожиданному предложению, хотя и не понимал, откуда вдруг такая забота. Мое удивление стало еще большим, когда в первую же такую прогулку я встретил во дворе другого заключенного, с которым мне разрешалось гулять 45 минут без всякого присмотра. Как выяснилось, мой спутник был в прошлом эсэсовским офицером высокого ранга из личного штаба Гиммлера. Он сам сказал мне об этом. Уже давно он содержался в предварительном заключении по обвинению в убийстве: после капитуляции он из-за пустяка приказал расстрелять какого-то солдата.

Вот так история, подумал я. "Красный" Браухич и отпетый

эсэсовец худшего толка гуляют вдвоем по тюремному двору. В этой ситуации было что-то трагикомическое, и создали ее, безусловно, намеренно, преследуя вполне определенную цель. Итак, утром я описывал свои круги, так сказать, индивидуально, но под недреманным оком надзирателя, а после обеда, напротив, "вполне свободно", да еще в обществе офицера войск СС.

Общих тем у нас, конечно, почти не было. Он знал, кто я такой, слышал о причинах моего заключения и не скрывал своего презрения к моим идеалам. Когда мы заговаривали о жизни в тюрьме, он откровенно заявлял, что наверняка выйдет из нее гораздо раньше меня. Он твердо рассчитывал на скорое возобновление своей воинской службы в рядах новой западногерманской армии и мечтал лишь об одном: "Вновь пойти на Москву, но теперь уже обязательно добиться успеха!"

Почему же тюремная администрация решила создать такую своеобразную "пару"? Вероятно, там предположили, что общение с "истым солдатом" поможет мне заново проникнуться старыми взглядами и представлениями, особенно "понятиями о чести". Подобный "психологический массаж", по их мнению, видимо, должен был способствовать возвращению заблудшей овечки в ряды "фюрерской элиты", призванной править народом.

Подослав ко мне эсэсовца, они, как я полагаю, хотели намекнуть мне на следующее: уж ежели человек типа Браухича восстает против существующего общественного строя, то пусть выходит на правый фланг! Оттуда все пути ведут назад, к добропорядочной буржуазной жизни. Но зачем же, мол, выходить на левый фланг?

Не знаю, конечно, как в точности гласило задание, полученное офицером-эсэсовцем. Да это меня и не интересовало. Но, во всяком случае, надо было видеть, как мы, словно два оживленных оловянных солдатика, не жалея ног, вышагивали вокруг тюремного двора. Ради сохранения спортивной формы я задавал рекордный темп ходьбы. Даже пестрый дрозд, избравший себе в качестве резиденции все три тюремных двора, и тот редко отвлекал нас от несения нашей "службы". Эта птаха, носившаяся в тюремном воздухе, казалась мне такой же непонятной, как пассажирские самолеты, пролетавшие над нашими головами с точностью до минуты. Задирая голову и поглядывая на них, я с горькой иронией бормотал "Цюрих" или "Берлин", а он с ожесточением добавлял: "Рим". Старая история — вечная, мучительная тоска человека по свободе...

В конце октября некий господин фон Райхлин, прибыв к моей жене в Кемпфенхаузен, принялся расписывать ей свои широкие

связи с мюнхенской прокуратурой. Он заявил, что с помощью своего друга прокурора без труда добьется снятия с меня обвинения в государственной измене, после чего максимум через две недели я буду освобожден. Местом вручения влиятельному прокурору гонорара в размере 2 тысяч марок он назначил вход на черную лестницу мюнхенского Дворца юстиции. Перспектива вызволить меня из тюрьмы, естественно, показалась моей жене крайне заманчивой. Но уже назавтра она заподозрила неладное и известила обо всем уголовную полицию. В назначенный день, сопровождаемая двумя полицейскими агентами, она пришла по адресу, указанному господином фон Райхлином. Он пришел на место минута в минуту и потребовал условленную сумму. Моя осторожная жена предложила сделать это в приемной прокурора, который якобы должен был освободить меня через две недели. Райхлин согласился. Однако, к удивлению Гизелы, он направился не во Дворец юстиции на Карлсплатц, а к расположенному неподалеку районному суду американской администрации на Софиенштрассе. "Мой друг прокурор служит в американском суде", — пояснил он. Гизела насторожилась. Она не понимала, как это прокурор американского суда вытащит меня из лап федерального суда в Карлсруэ.

Вскоре оба оказались в здании американского районного суда и прошли в приемную прокурора США Оскара Хайцлера. Моя жена замедлила шаг, чтобы полицейские агенты подошли поближе, и не спеша стала извлекать из сумочки банкноты. Войдя с Райхлином в приемную прокурора Хайцлера, она принялась отсчитывать одну банкноту за другой и класть их на протянутую ладонь моего "благодетеля". Тут перед Райхлином выросли оба агента и арестовали его. В тот же момент через противоположную дверь в приемную вошел прокурор США Хайцлер. "Пожалуйста, объясните этим господам, что вы назначили: мне здесь встречу, чтобы переговорить с госпожой фон Браухич, которую я записал к вам на прием", — наигранно приятельским тоном обратился Райхлин к Хайцлеру. Однако американский прокурор не пожелал подтвердить это заявление, и полицейские увели глубоко разочарованного и возмущенно протестующего Райхлина. Во время его допроса в управлении мюнхенской полиции там, ко всеобщему удивлению, неожиданно появился прокурор Хайцлер, и не один, а вместе со своим немецким коллегой Гейнцем Нойбертом, тоже служившим у американцев. Оба потребовали освобождения Райхлина, но не добились своего.

В дальнейшем Райхлин вновь заверил прокурора участкового суда Гофмана, что вопрос о получении денег от г-жи фон Браухич был полностью согласован с прокурором США Оскаром

Хайцлером. Тогда прокурор Гофман передал это дело в Верховный суд США во Франкфурте-на-Майне. Там оно и заглохло. В итоге этого эпизода у меня были все основания полагать, что заинтересованные инстанции решили окольными путями спровоцировать мою жену на вручение взятки, чтобы на этом основании арестовать и ее.

Треволнения, пережитые Гизелой, оказались выше ее сил. Под влиянием сильнейшего нервного потрясения она попыталась покончить с собой. На это не рассчитывали даже наши злейшие враги.

В то утро мою камеру открыли в необычно ранний час. Дежурный повел меня в здание администрации. Начальник тюрьмы сказал мне: "Должен вам сообщить, что сегодня пополудни ваша жена отравилась соляной кислотой". И, обращаясь к дежурному: "Уведите заключенного!"

Последующие часы я провел в своей камере в состоянии, близком к помешательству. Под вечер под охраной конвойного и в сопровождении моего адвоката я был доставлен в штарнбергскую больницу.

С помощью искусственного легкого врачи старались спасти Гизелу. Еще было не ясно, к чему приведут их усилия, но меня довольно скоро отвезли обратно в тюрьму.

Лишь во второй половине следующего дня мне сочли нужным сообщить, что она еще жива. Эти страшные события настолько подорвали мое здоровье, что тюремная администрация решила поместить меня в больничное отделение. Я оказался в палате для послеоперационных больных.

Заключенные, отбывавшие длительные сроки, нередко в припадке "тюремного психоза" сами калечили себя. Они глотали гвозди, ножи, куски проволоки, сломанные ложки или даже бритвенные лезвия.

В моей палате находилось 14 легкобольных, включая меня. Нам поручили заботу о пациентах, поступавших из операционной. Когда они пробуждались от наркоза, мы обеспечивали их всем необходимым и ни в коем случае не разрешали им пить. Санитар приходил только дважды в день. Мне сразу бросился в глаза симпатичный с виду и весьма любезный пожилой господин, проявлявший прямо-таки трогательное внимание к нашим подопечным. Одетый, как и все, в тюремную одежду, он резко отличался от остальных. Изящные движения и жестикуляция выдавали в нем почти светского человека, а седина и добродушное выражение лица вполне подходили к образу благообразного джентльмена. Во всяком случае, в нем никак

нельзя было заподозрить преступника. Тяжело вздыхая, он жаловался на "трагизм" своего положения: его без конца обвиняли во взломе сейфов, тогда как он, по его словам, лично этим никогда не занимался.

От нашего санитара, некоего Кирилла Графа, приговоренного к семи годам заключения за подделку денежных знаков, я узнал, что мой новый седовласый "друг" Манек Бутц, он же Гольденбаум, возглавлял международную банду, специализировавшуюся исключительно на взломах несгораемых шкафов.

Слушать рассказы Манека о множестве разных стран было весьма интересно. Его особое искусство состояло в том, что, находясь в своем родном городе, он направлял своих людей в подходящие "места работы", выбирая их в соответствии с экономической конъюнктурой. Он научился ловко играть на цикле "конъюнктура — кризис — война" и сам называл себя сложным термином "выгодоприобретатель". Больше всего фортуна ему улыбалась в период кризисов или в смутные времена, автоматически следовавшие за ними.

Особенно ему везло в Германии после обеих мировых войн. И вдруг такая незадача! "Понимаете, банально влип и попал за решетку", — медленно проговорил он и устремил на меня взгляд, полный смертной тоски.

"В этой жизни все вертится вокруг денег, дорогой друг, — авторитетно заявил он и незаметным движением передал мне сложенный газетный лист. — Газету я получил утром от старого знакомого, имеющего большие связи с внешним миром".

Я развернул полосу и прочитал заголовок: "Американский прокурор поручил мне связаться с Гизелой фон Браухич, заявляет мошенник Райхлин".

"Видите ли, — сказал мне Манек, — все это мелкие людишки, любители, недотепы! Идиоты! Они решили пошантажировать вашу жену! Но, боже мой, какой примитив! Я и мои люди ни за что не связались бы с такими дешевыми обманщиками. — И многозначительно кивнул головой: — Между прочим, я довольно успешно сотрудничал с прокурором Нойбертом и его другом прокурором Мишке..."

"Не может быть!" — прервал я его.

"Напротив, это вполне возможно. До недавних пор здесь действовали американские участковые суды, которые рассматривали дела в ускоренном порядке. У них заведено заслушивать обвиняемого как свидетеля по собственному делу. Перед судебным разбирательством Нойберт и Мишке разыскивали друзей обвиняемых, в том числе и меня, и предлагали им свидетелей, готовых давать любые выгодные для

подсудимого показания, и, в частности, если это требовалось, устанавливать его алиби. Понятно, что подобных свидетелей защиты было совсем нетрудно найти среди моих сотрудников, ибо мы всегда были сторонниками взаимной выручки. До суда оба прокурора тщательно проверяли все показания, оправдывающие обвиняемого. Делалось это, конечно, в обмен на крупную взятку. Так, нам не раз удавалось превращать черное в белое. Теперь, как это явствует из истории с вашей Женой, Нойберт, видимо, переключился с иностранцев на немцев и довольствуется довольно дешевыми вымогательствами".

Манек тихонько добавил: "Я скажу вам так: все наше правосудие прогнило насквозь, и купить его можно оптом ив розницу. В вашем случае вы тоже наверняка смогли бы что-нибудь "состряпать". Когда нас с вами везли па допрос, вы мне что-то сказали про бриллиантовое кольцо, помните? Вы передали его через одного заключенного вашему адвокату в качестве аванса за гонорар. Значит, ваш адвокат "в порядке". Так что действуйте смелее... Берите пример с нашего санитара Кирилла Графа. Даже находясь в тюрьме, он продолжает свои махинации, правда уже не в таких масштабах, но все же. Прежде чем попасть сюда, он возглавлял центр фальшивомонетчиков и с помощью своего тестя прокурора Шредтера обтяпывал те еще делишки! А этот Шредтер оказался настоящим болваном: во время допроса в полицейском управлении, испугавшись двух-трех лет тюрьмы, он выбросился из окна третьего этажа. Разбился насмерть!.. Короче, ничего не бойтесь и попробуйте действовать через вашего адвоката. Авось получится!" — сказал он в заключение.

Общаясь в тюрьме с ворами, взломщиками и прочими уголовниками, человек быстро становится недоверчивым и бдительным. Поэтому к предложению Манека я отнесся очень осторожно. А что, если это была ловушка? Я ни за что не хотел пойти на сомнительную сделку, в которой ни с какой стороны не нуждался.

Приятными нарушениями моего нескончаемого тюремного одиночества были допросы во Дворце юстиции. Прелюдия к ним начиналась уже в 5 утра: мне вручали галстук, подтяжки, шляпу и пальто. Затем являлся заключенный-парикмахер и брил меня. Нас заталкивали в "зеленую Минну", и мы трогались. По пути к нам присоединялись заключенные из других тюрем. Как правило, машину забивали сверх всяких норм, арестанты ехали стоя, спрессованные как сельди в бочке. Потом начиналось долгое ожидание в крохотной камере, где, впрочем, можно было сидеть. Наконец, сопровождаемый конвойным и чувствуя себя почти на свободе, я шел по длинным коридорам до кабинета советника

суда первой инстанции д-ра Лорца. Чем-то мы были симпатичны друг другу, и часто мне казалось, что ему крайне неловко допрашивать меня по этому делу. Он, конечно, понимал всю несостоятельность обвинения — это было видно из его тона и характера задаваемых вопросов.

Снова и снова разговор шел об одном и том же: "Какого рода были ваши связи с восточными спортивными инстанциями? Получали ли вы задания? Если да, то от кого? Получали ли вы деньги от коммунистов? Есть ли посредники между "Восточной зоной" и вами? Какие личные причины побудили вас создать комитет?" — и так далее, и тому подобное.

Однажды ему показалось, будто он "напал на след", и его рвение мгновенно усилилось.

Речь шла о том, что во время Всемирного фестиваля молодежи я жил в доме для гостей правительства ГДР. Из этого, утверждал он, явствует моя теснейшая связь с этим правительством. Я понял, куда он клонит, и, усмехнувшись, ответил ему: "Знаете, это был совершенно особенный дом. Я говорю о системе звонков в комнатах для гостей. Кнопки для различных вызовов различались по цвету. Зеленая — горничная, черная — коридорный, желтая — официант. Кроме того, там была еще и красная кнопка, чуть побольше других и без надписи. И вот она-то и влекла меня неудержимо в этот дом. Нажмешь ее, и где-то далеко, в помещении дежурного, вспыхивала лампочка. Каждое загорание означало 100 граммов водки, которую вам сразу же доставляли в номер. А главное — бесплатно!"

Он рассмеялся и записал мое сообщение о "водочной кнопке" в протокол.

Однажды, войдя в его кабинет, я заметил в углу большой конторский шкаф, которого раньше не было. Оказалось, в нем хранилось множество поступавших из Восточной и Западной Германии писем с протестами против моего ареста. Со временем их число возросло с десятков до сотен, а затем и до тысяч.

"Весь ужас в том, — заметил д-р Лорц, — что по службе я обязан их прочитывать все без исключения".

Мне показывали лишь немногие из этих писем — боялись, что, узнав об этом массовом возмущении несправедливостью властей по отношению ко мне, я еще, чего доброго, воспряну духом.

Когда вечером, возвратясь к себе в камеру, я перебирал эту корреспонденцию, на память приходили долгие недели лежания в больнице после тяжелой аварии на Нюрбургринге. Как меня тогда трогали полные сочувствия послания незнакомых мне детей и взрослых любителей автоспорта! Теперь же я сидел в каторжной

тюрьме и порой предавался самым мрачным размышлениям о ближних. Мне казалось, будто я одинок в своей борьбе, которая требовала от меня отнюдь не меньше мужества, чем автогонки. И вдруг эти пачки писем! От них становилось тепло на сердце. Я понял, что я не одинок, что у "государственного изменника" не меньше друзей, чем у героя автотрека АФУС. Масса писем из Западной Германии пришла без обратного адреса. Никогда не забуду одного из них. Оно прибыло из какой-то угольной шахты Рурского бассейна и было написано немного корявым почерком рабочего человека. У меня навернулись слезы на глаза, когда я прочитал: "Вы были большим гонщиком, но в день, когда Вы перестали заниматься гонками, Вы не утратили свои боевые качества. Хоть Вы и "фон", но мы уважаем Вас. Вы мужественный человек и знайте — сегодня Вами восхищаются тысячи и тысячи людей. Мы уверены, что Вы дадите Вашим судьям отпор, как некогда давали его своим соперникам". Таков был текст этого письма, и я перечитывал его снова и снова...

Мне писали дети, еще не родившиеся на свет божий, когда я мчался по гоночным маршрутам. Выросшие в годы войны, они ничего об этом не знали. И все-таки они писали мне, желали мне всякого добра и удач, требовали моего освобождения.

И теперь всякий раз, входя к д-ру Лорцу, я первым долгом смотрел на канцелярский шкаф и не без удовольствия отмечал, что моему следователю не так-то легко запихнуть в него всю мою корреспонденцию.

Среди широкой общественности тоже все чаще раздавались голоса, требовавшие не затевать "процесса Браухича". И д-р Лорц, и я отлично понимали, насколько непопулярны враждебные мне действия полиции. В газетных статьях подчеркивалась "туманность" моего дела. Вот несколько характерных заголовков: "Ордер на арест Браухича шит белыми нитками!" (мюнхенская "Зюддойче цайтунг" от 11/11 1953 г.); "Тайны процессов над "ведьмами"! ("Байеришес фольксэхо" от 24/11 1953 г.); "Обвинение против "врага государства" построено на зыбкой почве" и "Процесс над "ведьмами" 1953 года — опасный выход из положения" ("Зюддойче цайтунг" от 21—22/11 1953 г., №270).

Федеральные судебные власти в Карлсруэ отлично знали, что процесс против меня и комитета неминуемо превратится в фарс. Но у них уже не было пути назад, и они искали выход. Однажды во время прогулки во дворе ко мне подошел некто Барт, инженер мюнхенской фирмы отопительных приборов "Риндфляйш". Он отбывал длительное тюремное наказание за нарушение закона о злоупотреблении наркотиками. Лишь за два дня до того этот тощий, совершенно опустившийся человек с желтоватым лицом и

искривленным позвоночником вернулся в Штадельхайм после длительного пребывания в клинике для нервнобольных в местечке Хаар, где его пытались лечить от пристрастия к наркотикам.

Во время прогулок заключенным строго запрещалось вступать в разговоры друг с другом, и поэтому он, воровато оглядываясь, быстро прошептал: "Будьте осторожны, господин фон Браухич, вас собираются отправить в сумасшедший дом. Я подслушал разговор двух санитаров. В Хааре уже предупреждены о вашем прибытии. Так что будьте крайне осторожны! Вы ведь понимаете, что это значит!" Он быстро отошел от меня, и я даже не успел поблагодарить его.

Вот каким подлым способом они решили сломить меня, поколебать мои политические убеждения. Через два дня меня повезли во Дворец юстиции, где меня ждал психиатр д-р Гервек. Он заявил, что ему поручено подвергнуть меня общему обследованию. Но, предупрежденный Бартом, зная, каковы намерения этих мерзавцев, я категорически потребовал вызвать моего адвоката в качестве свидетеля. Как только прибыл д-р Свобода, я тут же в присутствии врача сообщил ему, какие разговоры ведут санитары психиатрической лечебницы в Хааре.

Это мое сообщение глубоко возмутило психиатра, и он отменил обследование. При выходе из его кабинета д-р Свобода сказал мне: "Чудовищно! Просто невероятно! Старые нацистские методы: обезвредить неугодного противника с помощью 51-го параграфа. Очень хорошо, что вы сразу вызвали меня".

Еще в первый день моего заключения в Штадельхайме, едва за мной закрылась тяжелая железная дверь камеры, я понял, что только приличное физическое состояние поможет мне пережить все, что мне предстояло. Для этого я должен был жить предельно дисциплинированно, по строгому распорядку дня. Прежде всего надо было позаботиться о безупречной чистоте тела и побольше двигаться. Но не так-то просто хорошо помыться, когда на целые сутки тебе дают один небольшой кувшин с водой. Физически тренированному человеку, несомненно, легче переносить тяжелый режим пребывания в одиночке. Прекрасно сознавая это, я твердо решил ежедневно заниматься силовой гимнастикой не менее получаса...

Несколько раз мне разрешили в сопровождении надзирателя посетить мою жену, лежавшую в штарнбергской больнице. Каждый такой визит стоил мне огромных душевных мук. Ее попытка самоубийства, к счастью, но удалась, и физически она поправилась. Но болезненное, депрессивное состояние осталось. Не могу передать, как горько было мне возвращаться в свою

камеру, как тягостно ощущал я свое одиночество после этих встреч.

Затянув на долгий срок мое предварительное заключение, мои враги пытались таким образом подорвать мое здоровье, мою психику — словом, поставить меня на колени. Нескончаемое одиночество очень опасно не только для нервов — для всего организма. После долгих недель и месяцев подобной муки и тоски тебе может показаться, что твои силы и в самом деле подошли к концу. Но ведь я прошел суровую школу. В добровольческом корпусе со мной обращались без особой, мягко говоря, деликатности, служба в рейхсвере досталась мне тоже нелегко, а мой путь к славе и победам на гоночных маршрутах отнюдь не был усеян розами. В общем, мне пришлось проявить немало энергии и железной воли. Помимо физической тренировки, требовалась огромная внутренняя собранность.

О чем я только не думал в эти тюремные месяцы! Я перебирал в памяти прообразы волевых людей, чтобы подражать им. Вспоминая историю, представлял себе ранних христиан эпохи Нерона, отважно противостоявших своим врагам. Я попросил принести мне "Новый завет" и принялся внимательно читать его. В этой книге немало глубоких мыслей, но все же она возникла в период массового невежества, давным-давно отошедшего в прошлое. А что поддерживало дух коммунистов и социал-демократов, заключенных в лагеря смерти? Я не мог заказать себе ни одной книги Маркса — в тюремной библиотеке этот автор не был представлен. Поэтому я попытался самостоятельно упорядочить в памяти все, что слышал о марксизме, вспомнить все разговоры на эту тему. Разумеется, я был далеко не марксистом и если слыл за такового, то только благодаря стараниям моих преследователей, которые, добиваясь моей дискредитации, систематически представляли меня в роли приверженца и поборника марксизма.

Одна из немногих занятных подробностей моей жизни за решеткой заключалась в наблюдении за поведением надзирателей. Спозаранку и до ночи они сновали по тюрьме и были заключены в ней так же, как и мы. Иные казались мне робкими. Очень осторожно они прощупывали меня. Во мне они видели "особый случай", приятный контраст к привычному им миру уголовников. Но когда в тюрьму доставляли очередного убийцу, их интерес ко мне мгновенно пропадал. На допросах они затаив дыхание ловили каждое слово его показаний. Им хотелось знать, в чем он признается, а главное, как и чем он убил. Другие откровенно рассказывали о своем развеселом житье при нацизме. Старший надзиратель прямо-таки с дьявольским удовольствием показывал мне камеры смертников тех времен. Едва слышным голосом он бормотал: "Ничего, скоро все будет как прежде! Все

будет как прежде! Уж я-то знал, как насолить этим псам! Иной раз в утро казни я нарочно открывал двери многих камер, пока наконец не добирался до кого следовало. В общем, любил пострашать! Войдешь в камеру, а он вскакивает как ошалелый. А потом, узнав, что я будто бы ошибся, радуется, как малое дитя". И с гнусной улыбкой добавлял: "Надо уметь дарить людям радость!"

..."Приготовьтесь, к вам пришли!" — крикнул надзиратель в дверное окошко для передачи еды. Меня словно током ударило. В этот день посетителей не пускали. Не зная, чего ожидать, я спустился с надзирателем вниз и по длинному коридору прошел к камере свиданий.

Передо мной, одетый в сутану, стоял мой старый друг патер Манфред. Я онемел от изумления. Он сердечно поздоровался со мной, и мы уселись за стол. Два надзирателя сверлили нас взглядами, полными откровенного любопытства. К человеку, заподозренному в коммунизме, подрывной деятельности, тайном сговоре и подготовке государственной измены, вдруг явилось духовное лицо! Невероятно! Весь тюремный персонал всполошился. Визит францисканского патера никоим образом не подходил к версии моих преследователей.

Сначала патер Манфред извлек из кармана своей сутаны шоколад и апельсины и, часто моргая, положил их на стол.

В дни совместной жизни на католической вилле в Фельдафинге мы с ним сблизились и подружились. Вот ему и захотелось лично проверить, в каком я состоянии. И как же я удивился, когда он мне сказал: "Во все времена были люди, стремившиеся что-то познать. И отнюдь не в духе святого писания забрасывать таких правдоискателей камнями". Прощаясь со мной, он сказал: "Страдание облагораживает, а долготерпение — серьезнейшее жизненное испытание. Выше голову, мой друг! Все образуется!"

Неожиданный визит патера придал мне бодрости...

Когда же меня в следующий раз вызвали из камеры, снова в необычное время, мне предстояло пережить один из самых тяжелых часов моей жизни. В солнечный мартовский день в моей двери внезапно щелкнул замок, и мимо надзирателя в камеру вошел тюремный парикмахер.

"Вам предстоит поездка", — услышал я.

После стрижки и бритья меня перевели в камеру ожидания и сказали, что скоро за мной придут. Через два часа сюда явились два чиновника уголовной полиции и назвали мне конечный пункт предстоящего мне путешествия: Штутгарт. Там жила моя мать, и я сразу почуял неладное. Годом раньше она в добром здравии отметила свое 80-летие. Но потом из письма брата я узнал, что

весть о моем аресте вызвала у нее нервный шок. В том же письме брат писал о своей работе в страховой компании, о том, как трудно уговаривать людей страховать жизнь. В двух или трех фразах он коснулся "ошибки", приведшей меня за решетку, заметил, что, живя вдали от меня, мало что знает о моей жизни и, в сущности, не может составить себе верное представление о моем деле. Прочитав эти строчки, я подумал: "Значит, ты, мой родной брат, стоишь в стороне, Даже не пытаешься поддержать меня хотя бы морально". На душе стало горько, я пытался бороться с отчаянием одиночества, с возникавшими сомнениями в правильности всего, что я делал.

Я настойчиво попросил своих спутников сказать мне что-то более определенное. Им приказано, сказали они, доставить меня в одну штутгартскую больницу... Только к вечеру мы прибыли на место. На вопрос, где лежит фрау фон Браухич, швейцар равнодушно ответил, что ее труп уже в морге. Она умерла накануне. От брата я узнал, что десятью днями раньше с ней случился апоплексический удар. Видя неизбежность близкого конца, он попросил моего адвоката добиться доставки меня в Штутгарт. Но, несмотря на экстренность ситуации, официальные инстанции повели себя предельно бесчеловечно: сначала они дали моей матери умереть и лишь после этого распорядились отвезти меня к ней.

Эти часы и дни явились для меня серьезным испытанием. На лицах собравшихся здесь родственников было написано не только возмущение, но и омерзение: отпрыск рода фон Браухичей прибыл на погребение родной матери в качестве арестанта под охраной полицейских.

Как и прежде, я оставался на положении подследственного. Лишь судебный приговор мог установить мою виновность перед законом. Что давало моим врагам право помешать мне в последний раз поговорить с матерью перед ее смертью? И они еще громогласно утверждали, будто защищают "человечность", и упрекали других в посягательствах па нее! Моя ненависть к ним росла с каждым часом. Я всего лишь добивался установления общегерманских спортивных связей, хотел, чтобы все немецкие спортсмены участвовали в Олимпийских играх. И только потому, что это не устраивало правительство — ибо за то же самое выступали и коммунисты, — моей матери не дали в последний раз в жизни увидеть сына. И если я бы еще нуждался в каком-то окончательном доказательстве, с кем имею дело, я получил его.

Все это было для меня тем более трагично, что вплоть до нашей последней встречи мать неизменно относилась к моим поступкам с полным пониманием и ни разу не пыталась

настроить меня на другой лад.

"Я человек старого времени, и оно мне дорого. Это время было моим. Еще сегодня я поцеловала бы руку у принцессы, которая моложе меня на тридцать лет, ибо таково требование нашего этикета. Но я знаю — эта пора отошла в прошлое и началась другая. Я уверена — новое время надвигается неотвратимо, даже если многим оно не по сердцу, даже если им кажется, что его приход можно задержать", — говорила она мне.

Она уважала независимость моего поведения. Сколько раз в годы моей автомобильной карьеры она тревожилась за мою жизнь. Как от души обрадовалась, когда я бросил профессиональный автоспорт. Не в пример многим другим она не отвернулась от меня, когда я стал жертвой полицейских преследований. Она верила в искренность моих усилий и одобряла их...

Всякий, кто всем сердцем любил свою мать, поймет, что я пережил, провожая ее в последний путь…

Тем временем в ФРГ и ГДР и за рубежом ширилась волна протестов против нашего процесса. В конце марта 1954 года без всяких объяснений и комментариев меня выпустили на волю. Обвинительного заключения мне так и не предъявили. Видимо, этой внезапностью освобождения власти хотели утихомирить общественное мнение и предать мое дело забвению.

Остальным арестованным членам комитета тоже не предъявили официальных обвинений. Боннская юстиция не торопилась.

Когда около 9 часов вечера, словно охмелев от смешанного чувства горечи и счастья, я, пошатываясь, вышел из тюремных ворот и направился к ожидавшей меня машине, мне все еще не верилось, что я свободен.

Обвинители превращаются в обвиняемых

Мое возвращение в Кемпфенхаузен оказалось не столь уж радостным. Гизелу нельзя было узнать. Всегда веселая и жизнерадостная, она полностью преобразилась. Чувство глубокой душевной подавленности не покидало ее, все чаще сдавали нервы. Мой второй арест, опись имущества, эпизод с шарлатаном Райхлином — все это разбило ее душевно и физически. Она мучительно страдала от форменного бойкота, который ей давали чувствовать на каждом шагу. "Добрые старые знакомые" не кланялись ей на улице. Они избегали и меня, и мою жену, словно матерых преступников. Я старался подбодрить ее. Надеясь, что перемена обстановки пойдет ей на пользу, я увез ее в санаторий

"Шлосс Эльмау" близ Миттенвальда, где десятилетиями отдыхала аристократическая знать. Там мы хотели обрести хотя бы временный покой. В первые дни мы не раз слышали за спиной шепоток: "Он сидел в тюрьме". Но разговоры на эту тему довольно скоро прекратились, и, думаю, мы бы отлично провели отпуск, если бы не одно обстоятельство: я захватил с собой своеобразный "материал для чтения", отравивший мне не один час. Это было мое обвинительное заключение. Наконец-то я столкнулся вплотную с "изменником родины" Манфредом фон Браухичем, с "врагом государства номер один". Крупный красный штамп "арест", оттиснутый на первой странице, говорил о том, что моя свобода не продлится долго. Когда федеральный прокурор отправил мне эту толстую папку, я уже не был подследственным заключенным, однако какой-то чиновник все-таки поставил этот штамп. Может, хотел намекнуть, что мой уход из Штадельхайма не окончателен... В моей жизни я редко возвращался к уже прочитанному. Но это обвинительное заключение — одна из немногих книг, которые я читал неоднократно, причем всякий раз с совершенно новым чувством. При первом знакомстве с текстом я забавлялся несусветными враками, которыми он изобиловал. При втором чтении я призадумался: если все это может служить основанием для обвинения человека в государственной измене, значит, я живу в более чем опасном государстве. После третьего чтения мне стало окончательно ясно, что меня решили уничтожить любыми средствами. Я понял, что мои перспективы крайне мрачны. В одном из приговоров, вынесенных федеральным судом в апреле 1952 года, говорилось, что Социалистическая единая партия Германии и всякий, кто сотрудничает с ней, "подготовляют государственную измену". При переговорах о спортивных встречах между Востоком и Западом мне, естественно, приходилось беседовать со спортивными функционерами СЕПГ. Поэтому меня заподозрили в подготовке "насильственного переворота" в ФРГ и, следовательно, в "государственной измене". Наш Комитет за единство и свободу в германском спорте открыто провозгласил свое стремление бороться за мир и дружбу между народами, против милитаризма. В этом власти усмотрели "угрозу государству", намерение изменить "конституционный порядок". И хотя этот комитет никогда не был запрещен, органы юстиции объявили его антиконституционной "замаскированной" организацией, что оказалось достаточным для обвинения нас в "тайных сговорах".

Обвинительное заключение завершалось следующим перлом: "Важная роль обвиняемого видна из большого количества писем протеста, поступивших в связи с его арестом и во время

следствия, причем множество подобных писем, полученных из советской оккупационной зоны, позволяет сделать существенные выводы о значении комитета и деятельности обвиняемого для тамошних властителей".

Эта фраза показала мне поистине судорожные усилия моих обвинителей использовать против меня решительно все. Прибегая к изощренным выдумкам и подтасовкам, они хотели перевернуть все с ног на голову и, как говорят, "сотворить что-то из ничего".

Где встречать новый год?

В разгар подготовки к рождественским дням вдруг раздался таинственный телефонный звонок: "У меня для вас припасен небольшой праздничный подарок! Небольшое предостережение!"

На вопрос: "Кто говорит?" — я услышал: "Не имеет никакого значения! Я звоню вам из Сант-Адельхайма, и этого, пожалуй, достаточно!"

Я насторожился: вымышленный "Сант-Адельхайм", несомненно, означал хорошо мне известный Штадельхайм.

"Поговаривают, будто Браухич скоро опять прибудет к нам. Вас это, по-моему, должно заинтересовать. В общем, считайте, что я вам дал намек!"

Затем послышались частые гудки — мой собеседник повесил трубку.

Я, конечно, здорово разволновался, присел на стул я засвистел сквозь зубы. "Проклятие! Только этого не хватало! Неужели правда? Неужели опять в этот страшный дом?.. Но кто же мне позвонил?" Я молниеносно перебрал в памяти всех, кто мог бы это сделать. Голос казался мне незнакомым. Впрочем!.. Я вспомнил. Этого человека я едва знал. Да, именно таким хриплым голосом он скликал своих людей во время прогулки на тюремном дворе. Однако этот надзиратель никогда не проявлял какой-либо симпатии ко мне. И все же он мне позвонил. Бесспорно, он — я уже не сомневался. Но зачем и почему именно теперь? Обосновано ли его предупреждение? К сожалению, этого я не мог знать.

Как бы то ни было, но мой покой, ощущение относительной безопасности, предвкушение праздника — все это сразу улетучилось. Ни на минуту я не мог забыть об этом странном звонке и главное — не решался рассказать о нем жене. Он казался мне и дружеским предостережением, и вместе с тем зловещим сигналом.

Может, они мне только дали передышку, подумал я, чтобы успокоить людей, протестовавших против моего ареста, а теперь снова упрячут меня в каменный мешок, причем уже на

неопределенный срок.

Большая трудность заключалась в том, что в этой обстановке я не представлял себе, с кем посоветоваться, кому довериться. Состояние моей жены оставалось тяжелым, нервные припадки не прекращались, и я ни в коем случае не хотел преждевременно усугублять ее душевную депрессию. И все-таки что-то надо было предпринять. Не мог же я, в самом деле, пустить все на самотек.

Утром, перед сном, за столом, куда бы я ни ходил, где бы ни находился — везде меня преследовала тягостная неизвестность, тревога, страх. Что будет завтра? Через сколько дней они снова придут за мной?

Когда по утрам раздавался звонок почтальона, мне всякий раз чудилось, что это вовсе не почтальон. Теперь я всем своим существом прочувствовал все, что незадолго до войны переживал мой друг Джеймс Льюин, ежедневно ожидавший прихода гестаповцев.

Уже дважды эти "джентльмены" звонили у моей садовой калитки и уводили меня с собой. А что, если этот загадочный звонок был провокацией? Что, если меня просто хотят запугать, подавить морально, разрушить уют моего дома, вырвать меня из семейной обстановки? Я уже видел столько подлости со стороны властей, что был готов поверить во что угодно! Инстинкт, внутренний голос твердил: будь осторожен! Осторожность — главное!

Мне следовало на что-то решиться. Вот это-то и было труднее всего. Сначала я хотел дождаться конца рождественских праздников, а после них все-таки рассказать обо всем жене, полагая, что это не будет поздно.

После отравленных дней рождества я поехал в Мюнхен к моему старому другу автомеханику Герману Билеру. С ним я познакомился и подружился еще давно, когда он работал подмастерьем в одной лейпцигской ремонтной мастерской. Впоследствии он переехал в Мюнхен, где мы с ним часто встречались. Билер сердечно принял меня в своей уютной квартире, я и выложил ему все, чтобы было на душе. Рассказал о таинственном телефонном разговоре и сделанном мне предостережении. Он спокойно слушал, изредка поглядывая на меня добрым встревоженным взглядом, не вязавшимся с его обликом глубоко уверенного в себе и чуть сурового человека.

"Видишь ли, Манфред, — медленно проговорил он с характерным швабским акцентом, — я уже давно ожидал чего-то в этом роде. Так было при нацистах, так осталось и сейчас. Кто не с ними, того они преследуют — кто бы он ни был". Дружески положив ладонь на мою руку, Герман продолжал: "Давай-ка

подумаем вместе. Ты понимаешь, что они снова заберут тебя? И уже не на два-три месяца — на годы. Тебе надо убираться, это ясно как день. Но как? Куда? Обычный официальный путь с паспортом и визой не для тебя. То есть ты не сможешь уехать к Караччиоле в Швейцарию или к твоим бельгийским друзьям. Значит, остается только одно направление..."

"На Восток? В ГДР!"

"Конечно! Именно в ГДР! По-моему, Манфред, это единственный путь для тебя".

Еще около двух часов мы озабоченно обсуждали мои дела и решили, что мне необходимо еще раз спокойно все обдумать и переговорить с Гизелой. Герман предложил встретиться снова на следующий день.

По пути домой в моем измученном мозгу вертелась только одна мысль: как собраться с силами, какие найти слова, чтобы рассказать обо всем жене, как убедить ее сняться с якоря и навсегда покинуть наш обжитой дом.

Удар ошеломил ее больше, чем я предполагал. Я взывал к ее добрым чувствам ко мне, взывал к разуму, который должен был помочь нам найти единственно возможный выход. Через несколько часов она успокоилась и согласилась, что главное для меня — это улизнуть от полиции. Но вместе с тем она сказала, что не поедет со мной, а в надежде на недолгую разлуку станет ждать меня в нашем штарнбергском домике.

На другой день я снова приехал к Герману Билеру и сообщил ему о своем твердом решении возможно скорее покинуть "свободную" Федеративную республику. Герман кивнул и сказал: "Другого я и не ожидал. Я точно знаю, как тебе помочь. Есть у меня друг, с которым во время войны я сделал немало хороших дел. Неболтливый и стопроцентно надежный человек. Прежде он работал таксистом в Берлине, а в последние годы войны специализировался на ночных поездках со всяким высокопоставленным сбродом. В общем, свойский парень, ловкий пройдоха, которого, кстати, прозвали "плутом". Под конец войны он оказался в Мюнхене и занимается здесь своим прежним ремеслом, правда уже в дневное время. У него масса знакомых, широкие связи, так что вчера я с ним посоветовался. И, знаешь, не зря. Мы быстро договорились. Из Мюнхена он отвезет тебя в одно пограничное местечко. Все согласовано, и он ждет моего звонка по телефону. Через родителей его жены — а она как раз оттуда родом — он без труда организует твой дальнейший маршрут. Там, по его словам, немало проводников, знающих удобные и безопасные переходы. Короче, положись на "плута", он устроит все в лучшем виде".

Я с благодарностью пожал руку моего друга и сказал: "Что бы я стал делать без тебя? В такой трудный момент моей жизни ты направляешь меня по единственным рельсам, ведущим к спасению".

После моего освобождения из тюрьмы полиция установила строгое наблюдение за моим домом, следила, когда я прихожу и ухожу. Зная это, я решил больше не возвращаться к себе. Было бы глупо попасться в самую последнюю минуту. Я позвонил жене и попросил ее приехать ко мне в Мюнхен. Мы встретились в одном кабачке, пропахшем пивом и табачным дымом. Я ей коротко сообщил, что собираюсь в этот же вечер покинуть Федеративную республику и домой уже не поеду. Бедная Гизела! Как нелегко было ей в полном одиночестве вернуться в Кемпфенхаузен, уложить для меня два чемодана и привезти их обратно, в ту же ресторацию. Тем временем Герман занялся последними приготовлениями к моему отъезду.

Точно в назначенное время, в 20 часов, мы подъехали к началу автострады, где "плут" уже поджидал нас в своей машине. Я перегрузил в нее чемоданы и после горестного, поистине душераздирающего прощания с Гизелой двинулся в путь, к границе ГДР.

Много километров мы проехали молча. Наконец мой спутник обратился ко мне па приятном, чуть грубоватом берлинском диалекте. Желая отвлечь меня от мрачных дум, он поведал мне свои автомобильные заботы — мы ехали на старой машине "опель-капитан". Его простой и дружелюбный тон понравился мне, вскоре мы разговорились и вспомнили целую кучу знакомых нам берлинских ночных гуляк. Беседа с "плутом" немного рассеяла меня, слегка ослабила нервное напряжение после этого мучительного, жестокого дня.

Я совершенно не представлял себе толком, как все пойдет дальше. Но я сидел в машине и ехал к границе — это успокаивало. Еще в ту же ночь должно было решиться, удастся ли мне мой прыжок в мир безопасности и свободы. Невольно я выпрямился на сиденье, для успокоения взял предложенную мне сигарету. Словно угадав мои мысли, "плут" (его настоящего имени я так и не узнал) спросил меня: "А вы уже знаете, чем будете там заниматься? Или вас там ждут?" На оба эти вопроса я мог ответить только отрицательно. Все было покрыто мраком неизвестности, и во всем, что касалось моего ближайшего будущего — или, как я говорил себе, "переходного периода",— я, естественно, полагался только на самого себя...

Наконец мы прибыли на место. "Плут" отправился к родителям своей жены, и около часа я прождал его невдалеке от

их дома. "Вам здорово повезло! — сказал он, вернувшись ко мне. И шепотом добавил: — "Через полчаса мы доедем до развилки, где вас ожидает другая машина". Я молча пожал ему руку.

Мы медленно подъехали к месту встречи и в лучах фар увидели "незнакомца", стоявшего около автомобиля. Нам было достаточно нескольких слов, чтобы "опознать" друг друга. Я снова перегрузил чемоданы и быстро простился с "плутом". "Ну, значит, ни пуха вам ни пера", — вполголоса проговорил он и исчез в темноте.

Мой новый водитель, невысокий и крепкий с виду мужчина лет сорока, приветливо сказал мне: "Прежде всего садитесь и устройтесь поудобнее. До рассвета еще много времени. Главное, вести себя спокойно и не натворить глупостей. Если сделаем все правильно, дело выгорит. Сейчас проедем несколько километров до одного лесочка, а там я вам все объясню". Мы поехали. Сначала говорили о каких-то пустяках, потом он рассказал мне увлекательную историю о своей первой встрече с политическими эмигрантами. "Должен вам сказать, что переброской беженцев я занимаюсь в исключительных случаях и вовсе не ради заработка, — сказал он. — Но отказывать людям нельзя: очень уж у нас много всякой несправедливости и насилия, вот и помогаешь, когда можешь, Понимаете?"

Забравшись в глубь леса, он заглушил мотор и выключил подфарники. С этой минуты мы стали вести себя как два охотника в засаде: не курили и говорили только шепотом, хотя окна машины были закрыты. "С первым проблеском на горизонте мы тронемся, — сказал мой новый друг. — Ехать отсюда ровно семнадцать километров. Там ручей. Пока доедем, как раз уже будет достаточно светло, чтобы не свалиться в воду. Придется идти подлеском. Земля неровная, не паркет — сами понимаете. А тут у вас два чемодана — значит, не торопитесь, иначе вываляетесь в грязи. Так что твердо запомните: идти надо очень спокойно! Я еще немного подвезу вас, потом остановлюсь и поставлю чемоданы точно в нужном вам направлении. Через пятьдесят метров увидите одинокую ель, пойдете прямо на нее. Сразу за елью ручей. Повернете направо — и тридцать шагов вдоль берега. Тут увидите переход. Точно считайте шаги, а то еще промахнете мимо него и начнете нервничать. Перейдя ручей, сделаете опять-таки тридцать шагов в обратную сторону и снова выйдете на дорогу. Запомните — справа, в четырехстах метрах, домик западногерманского погранпоста. Поэтому держитесь левее и не выходите из низкого сосняка, пройти через него нетрудно. Еще примерно двести пятьдесят метров — и вы у контрольной полосы, вспаханной вдоль границы ГДР. Ну а

дальше действуйте самостоятельно. И главное, не бойтесь, этот ранний час — самый надежный для такого предприятия".

Когда мы наконец доехали и быстро, стараясь не производить никакого шума, выбрались из машины, мой водитель спокойно и уверенно подхватил мои чемоданы и поставил их, словно два указателя направления. Мое сердце здорово колотилось. Не тратя времени на торжественные прощальные слова — он еще в машине напутствовал меня добрыми пожеланиями, — я взял свой багаж, распрямился и как только мог тихо зашагал в сторону одинокой ели. Все получилось удачно, если не считать довольно трудный переход через ручей, разбухший от осеннего паводка.

Продолжая свой путь, я то и дело призывал себя к спокойствию и выдержке. Забитые вещами кожаные чемоданы оттягивали руки, точно свинцовые чушки, но я не решался поставить их на землю и передохнуть. Обливаясь потом, я вошел в густой лиственный лес. Судя по описанию моего проводника, это уже была территория Германской Демократической Республики, и я решил ненадолго остановиться и перевести дух.

Я не успел сделать и пяти вдохов, как в кустах что-то зашелестело и меня окликнули. Тут же передо мной выросли три пограничника ГДР. Никогда в жизни не забуду встречи с этими солдатами. Я был спасен!

Никогда еще я не ощущал с такой остротой различие между двумя мирами: преследуемый и затравленный, я вдруг оказался под защитой друзей. Это было ранним утром 31 декабря 1954 года. Я отказался от предложенного мне в знак приветствия глотка коньяку — боялся охмелеть и окончательно расчувствоваться.

Вскоре за мной приехала машина, доставившая меня в штаб, где мне любезно помогли продолжить путь в Берлин. Ожидать пришлось недолго, все делалось быстро я четко. Я переживал минуты какого-то большого, настоящего счастья, непередаваемую радость, охватывающую человека, которому удалось избежать большой опасности. Во время долгой автомобильной поездки я чувствовал то тревогу перед неизвестностью, то полную опустошенность. Страх, конечно, исчез, и я вновь свободно дышал, но ведь самые прочные корни моего бытия я пустил в Баварии, а здесь предстояло начать все сначала. Это будет очень и очень сложно, раздумывал я, здесь все другое — и условия жизни, и взгляды на нее. И все-таки я не сомневался, что сумею собственными силами преодолеть все трудности.

Прибыв в Берлин, я решил не останавливаться в отеле. Это значило бы выдать свое местонахождение и тем самым натравить на Гизелу полицию.

Передо мной встал вопрос: куда податься в 18 часов, в начале новогоднего вечера? Куда пойти незваным гостем? Наконец я разыскал по телефону одного хорошего друга, в чьем доме нашел приют. Мне даже удалось вполне достойно проводить этот решающий для меня год и с добрыми надеждами вступить в новый.

Я боялся, что жители Кемпфенхаузена заметят мое отсутствие уже в новогоднюю ночь. К сожалению, эти опасения подтвердились, о чем мне впоследствии рассказала жена. Она не стала скрывать факта моего отъезда, и сразу же ее со всех сторон обступили всякого рода "доброжелатели", уговаривая ни в коем случае не следовать за мной в Германскую Демократическую Республику.

И все-таки уже в январе она приехала ко мне в Берлин, и мы договорились о линии ее поведения на случай возможных расследований со стороны властей. С полным взаимопониманием мы беседовали о нашей дальнейшей жизни. Правда, вначале Гизела ни за что не хотела переселиться в ГДР. Она не могла примириться с мыслью о необходимости расстаться с нашим уютным домом, который она так любовно отделывала и обставляла. Ей казалось, что мое пребывание в ГДР может и должно быть кратковременным. В этой связи она придала особенное значение амнистии, которой ожидали в ФРГ. Там поговаривали о намерении бундестага принять закон о поголовном помиловании подданных республики, преследуемых по политическим мотивам. Она не только надеялась, но и твердо верила в это.

Я же, естественно, не мог стоять одной ногой в Западной, а другой в Восточной Германии. При прощании Гизела обещала часто навещать меня, чтобы хоть немного облегчить нашу разлуку.

Между прочим, очень скоро я убедился, что зловещее предостережение, которое я услышал на прогулке в тюремном дворе от наркомана Барта, было абсолютно обоснованным. Штутгартская газета "Зюдвестдойче вохенцайтунг" сообщила об одном судебном процессе, открывшемся уже в мое отсутствие. Вот что я прочел: "В понедельник 20 июня в Мюнхене прошли первые судебные заседания по делу Комитета за единство и свободу в германском спорте. Как известно, обвиняемые отказались предстать перед судом, который они объявили пристрастным. Процесс на время отложен. И все же стоит остановиться на некоторых подробностях первого дня. После открытия процесса сторонам был представлен в качестве медицинского эксперта д-р Гервек, старший советник медицины из Мюнхена. Журналисты за

столом прессы изумленно переглянулись. Один из них задал вопрос: "Кому же они собираются выписать "охотничье свидетельство"?"

Привлечение медицинского эксперта доказывает, что суд ставит под сомнение вменяемость кого-то из свидетелей или обвиняемых. Если кто-либо из участников процесса объявляется невменяемым, то, разумеется, его нельзя судить. Также нельзя признать действительными его показания. В таких случаях юристы говорят о выписке "охотничьего свидетельства".

"Не так уж трудно попять, — продолжала газета, — в чем состоял замысел суда. Видимо, он сводился к установлению невменяемости председателя Комитета за единство и свободу в германском спорте. И тогда вся работа, которую провел известный и всеми уважаемый бывший гонщик фирмы "Мерседес" в интересах объединения и раскрепощения немецкого спорта, была бы объявлена проявлением "духовной ненормальности". Едва ли можно придумать другую версию, объясняющую присутствие в зале суда психиатра..."

Итак, мне предстояло попытаться найти свое место в этом новом, совершенно непривычном для меня мире и добиться какого-то внутреннего удовлетворения.

Поэтому я искренне обрадовался предложению киностудии ДЕФА сотрудничать в создании фильма об автогонщиках. Предложение вскоре приняло форму договора, обязывавшего меня к серьезной работе. Договор предусматривал мое участие в разработке сценария. Кроме того, мне поручили техническую консультацию по натурным и павильонным съемкам. Таким образом, я был загружен сполна. В дружеской атмосфере большого творческого коллектива за год с небольшим был сделан фильм "Соперники за рулем", основанный на эпизодах моей жизни, особенно ее южноамериканского периода.

Но в течение этого года меня волновал и другой вопрос: я испытывал потребность лично поблагодарить тысячи людей, протестовавших против моего заключения перед участковым судом в Мюнхене и федеральным судом в Карлсруэ. На собственном примере я хотел им показать, что каждая их подпись, каждое имя и стоящая за ним человеческая личность не пустой звук, а нечто весомое, реальное.

Я использовал для этого каждую свободную минуту между съемками. Во множестве маленьких и средних городов, на фабриках и заводах я вновь и вновь убеждался, с каким интересом люди слушали мои рассказы о событиях, пережитых мною в Западной Германии.

В первое время я жил в отеле "Нева" — моя квартира еще не

была готова.

Однажды, на исходе воскресного дня лета 1954 года, я, как и во все предшествующие недели, работал над сценарием фильма. В комнату едва проникали лучи заходящего солнца, на дворе уже умолкло монотонное чириканье воробьев. Из моего окна на четвертом этаже открывался обычный для этого района вид: кусочек неба и трубы. Но меня угнетал узкий двор и близкие окна напротив. Часто я казался себе птицей в клетке. Я не привык к такой стесненности, а доносившиеся до меня звуки казались мне резкими и даже какими-то злобными.

Я старался не вспоминать мой пронизанный солнцем дом в Кемпфенхаузене, пышную зелень деревьев и всевозможные растения в саду.

Здесь, в Восточном Берлине, приходилось с бою брать такси, а там в моем гараже стоял мощный скоростной "порше". Эти мысли угнетали меня. Я все никак не мог "исправиться" и тосковал по привычным удобствам, мысленно то и дело видел себя рядом с женой, среди сотен мелочей, доставлявших мне столько радости.

И вот эти мои мысли, мое одиночество в отеле в такой чудесный летний день окончательно испортили мне настроение. В первые полгода было невероятно трудно приспособиться к новым условиям, немыслимо тяжело жить без жены, и я решил тем или иным способом доказать самому себе, что во мне еще жива несгибаемая воля. Остался ли ты прежним Манфредом фон Браухичем, "твердым как сталь", спрашивал я себя...

После долгих размышлений я решил разом бросить курение — просто чтобы утвердиться в собственных глазах. Правда, я никогда не был "злостным" курильщиком, но все же выкуривал по 15—20 сигарет в день.

В моем тогдашнем положении такой шаг означал жестокое нарушение моих привычек. Но только так я мог проверить свою волю. А именно этого я и хотел!

Как и во всех подобных случаях в моей жизни, это намерение — безусловно, вполне разумное — я осуществил немедленно. То есть буквально с той самой минуты я перестал курить и до сегодняшнего дня не возвращался к этой привычке. Все курильщики поймут, что дьявол-искуситель — особенно в часы моего одиночества — то и дело нашептывал мне: "Сделай одну или две затяжки! Ничего страшного, все равно никто не видит!" Но я был тверд. В свой следующий приезд ко мне Гизела крайне удивилась этой новости. Уж она-то хорошо понимала! как мне было трудно выполнить свое решение.

Ее сообщение о полицейском надзоре, под который ее

поставили, очень расстроило меня. За два месяца, прошедшие после моего ухода, власти перешли к форменной осаде нашего дома и участка. Казначейство требовало погашения каких-то вымышленных недоимок по налогам. Гизелу истерзали угрозами принудительной продажи имущества с торгов, и выглядела она какой-то затравленной и потерянной. И все-таки как утопающий за соломинку она цеплялась за Кемпфенхаузен, надеясь, что раньше или позже, но все-таки будет провозглашена амнистия.

Радостным просветом в мрачной жизни моей жены был приезд в Кемпфенхаузен моего английского друга Цента. Правда, он пробыл у нее меньше часа, но все-таки это были минуты какого-то ободрения и забвения. Цент совершал деловую поездку по нескольким городам Западной Германии. "Когда я рассказала ему о нашей нынешней разлуке, — говорила мне Гизела, — он улыбнулся, потер руки и сказал: "Я это уже давно предвидел. Но подождем немного. Манфред везучий, все у вас наладится. Я, конечно же, навещу его в Восточном Берлине".

Мне тоже очень захотелось встретиться с Центом, и, как выяснилось, ждать этой встречи пришлось не так уж долго. Услышав его голос по телефону, я просиял. Он уже находился в моем отеле и звонил от портье. "Черт возьми! В последний раз я никак не предполагал увидеть тебя именно здесь, — затараторил он, едва открыв дверь. — Скажи честно, старик, это было действительно необходимо? Надо ли было сразу же зайти так далеко? Я, между прочим, вовсе не уверен, что предстоящий процесс в Федеративной республике так уж опасен для тебя. Пресса отзывается о тебе совсем не дурно, а некоторые газеты даже сурово критиковали методы боннской полиции!"

Все это он выпалил с пулеметной быстротой, сделал глубокий вдох и опустился в кресло.

"Обещаю тебе, Руди, говорить обо всем совершенно точно, — смеясь, ответил я, — говорить только чистую правду, ничего, кроме правды, и ни о чем не умолчать! Но прежде чем начать, прошу тебя рассказать о твоих родных в Ливерпуле и о твоей фирме".

"К сожалению, мой отец умер еще три года назад, и мне пришлось взять па себя полную ответственность по руководству всеми довольно сложными экспортно-импортными делами. Это значительно изменило мою жизнь и, признаюсь тебе, во многих отношениях и мое мировоззрение. Ты ведь хорошо помнишь, как в свое время мы с тобой носились с идеями, казавшимися нам почти что революционными. Мы считали, что в общей картине жизни общества многое должно измениться, чтобы больше никогда не повторился такой ужас, как последняя война. Но

теперь, когда я впрягся в дело и тяну лямку, мне стало ясно, что куда легче жить по старинке, не изменяя старым привычкам. Прежде я был свободным и, как ты помнишь, очень подвижным человеком, теперь же я в оковах. Приходится приглядываться ко всему, приспосабливаться, жить с волками и по-волчьи выть".

Тем временем принесли заказанный мною советский коньяк и пильзенское пиво, что вызвало одобрительную улыбку на лице моего гостя. Мы выпили по первой, и он попросил меня приступить к рассказу.

"Значит, про мое сидение в тюрьме ты уже знаешь", — начал я.

"Да, — ответил он, — знаю, что за государственную измену, подрывную деятельность и тайный сговор тебя..."

"Совершенно точно, — весело перебил его я, — я решил взорвать боннский бундесхауз, для чего Вальтер Ульбрихт лично передал мне пять фунтов динамита... Ты не удивляйся, примерно в таком духе они и хотели пришить мне дело о подрыве основ государства".

"Одним словом, они испугались тебя, так, что ли?" — спросил он.

"Это верно, но лишь отчасти. Я призывал к борьбе с ними и стал им неугоден. Чтобы запугать других, они решили заткнуть мне рот. На дороге, по которой маршируют эти типы, не должны раздаваться голоса за мир".

"То есть покрепче прижать тебя, чтобы другим неповадно было", — сказал он.

"Вот именно", — подтвердил я.

"А про какую это дорогу ты только что говорил?" — спросил Цент.

"Я говорил о дороге военных приготовлений, по которой идут боннские хозяева. Вспомни наши встречи в Ноттингхэме в 1938 году. Тогда национал-социалистам удалось одурачить даже ваших государственных деятелей. Не говорю уже о Мюнхенском соглашении и роли вашего мистера Чемберлена, поощрившего Гитлера на еще больший бандитизм по отношению к народам Европы".

"Мы, англичане, трезвые люди, и нам трудно понять ваш склад ума. Видимо, немцам вечно нужен какой-то вожак, чтобы превозносить его в экстазе и покорно следовать за ним. Не обижайся на меня, дорогой Манфред, но все вы слишком дорожите наполнением своих желудков. Однако сам знаешь, когда брюхо набито, мозг становится ленив. То есть, вообще говоря, когда перегружена утроба, заметно ослабевает желание мыслить нормальными категориями. И если так будет

продолжаться, то вы, немцы, снова покатитесь под гору".

"К сожалению, нарисованная тобою картина в точности соответствует действительности, — тихо сказал я. — Поехал бы ты в Западную Германию, Руди, и поглядел, как прожженные нацисты снова замешивают свое затхлое тесто и начиняют его протухшим изюмом. Ты ужаснешься, уверяю тебя!"

"Да, ты прав, возразить нечего. Новая германская опасность, исходящая из Бонна, очень тревожит англичан. Федеративную республику открыто обвиняют в неонацизме и реваншизме. Мои соотечественники в ужасе от того, что нацисты вновь поднимают голову".

"Добро бы речь шла об одних мелких чиновниках, — ответил я. — Но дело не только в них. Вот тебе пример: когда я сидел в тюрьме, в Мюнхен из Карлсруэ приехал прокурор Вагнер — представитель федерального суда. В день проверки обоснованности моего содержания под стражей он орал на меня, словно имел дело с глухим, и несколько раз назвал меня "преступником". В прошлом этот человек — член нацистской партии и начальник отдела кадров прокуратуры города Бреслау, нынешнего Вроцлава. То есть от него всецело зависело распределение многих прокурорских должностей. Вагнер строго следил, чтобы все его ставленники "шли в ногу" и чтобы ни один из них, не дай бог, не пожалел польских патриотов или борцов Сопротивления. И именно этот самый Вагнер занимает сейчас пост прокурора в высшем конституционном суде! А ведь это совсем незначительный, почти невинный пример, если вспомнить о судьях, которые при Гитлере ежедневно выносили смертные приговоры, а сегодня вновь носят судейскую мантию. Единство Германии по рецепту этих господ мыслится как господство Бонна от Вислы до Рейна. Только так!"

Цент сильно разволновался. Он действительно не знал всего этого.

"Неужели, Манфред, дело зашло так далеко?

Мы еще долго разговаривали, и постепенно он понял, что путь в столицу ГДР оказался для меня единственно возможным.

"Но не тяжело ли тебе? — спросил Руди. — Не жалеешь ли ты иногда об этом шаге?"

"Многое было и остается для меня сложным. Но в своей борьбе я никогда не одинок. Ибо во всем мире ее ведут сотни тысяч, миллионы людей. Они поняли, что в интересах всего человечества старые порядки обязательно должны быть изменены и улучшены! Что же до твоего второго вопроса, то честно скажу тебе: да, часто мне приходилось стискивать зубы, но ни разу я не пожалел о том, что сделал. Я не мог иначе".

Чтобы спокойно продолжить разговор, мы заказала себе ужин в номер.

"Главная причина моих поступков, Руди, — это все, что я испытал и пережил во время последней войны, растормошившей мою совесть. Страшные разрушения, непередаваемые муки населения, вызванные воздушными налетами англичан и американцев, переполнили меня ненавистью к тем, кто развязал эту безумную войну. И еще тогда я поклялся: всякий, кто будет прямо или косвенно содействовать подготовке новой войны, — мой смертельный враг! Другим важным обстоятельством была моя деятельность в промышленности, благодаря которой я получил широкое представление об образе жизни главных виновников войны. Чем больше проливалось крови, тем больше они загребали денег. Посмотрел бы ты, как они жили! Словно какие-то паши, или магараджи! А меня от этого тошнило, и я решил раз и навсегда: "Никогда больше ты не станешь помогать им, как бы ничтожна пи была твоя помощь!"

"И правильно, Манфред, совершенно правильно! — с неожиданной горячностью воскликнул Руди. — Но все мы слишком косны, слишком флегматичны и поэтому поддерживаем как раз то, что сами осуждаем. Так было, так и останется".

"Вот на это-то и рассчитывают все, кто по сей день оглупляет население Западной Германии. Они играют на трусости и слабости так называемых "маленьких людей" и, пугая их страшными сказками, снова натравливают на инакомыслящих, прибегая к испытанным методам",

"Английское правительство тоже страсть как не любит, когда его подданные становятся разумными и начинают критиковать государственную политику. Здесь, в ГДР, это, видимо, не так. Здесь, как мне кажется, пытаются воспитывать мыслящих граждан", — сказал Цент.

"Да, и поэтому правители ФРГ относятся с такой ненавистью к новой германской республике, — ответил я. — Развитие человека в ГДР показывает, что этот общенародный духовный процесс знаменует собой начало конца господства германских милитаристов".

"Просто удивительно! Ты, выходец из клана первостатейных милитаристов с многовековыми военными традициями, стал непримиримым противником своей же собственной касты", — сказал Руди и поднял бокал.

"А по-моему, ничего удивительного в этом нет: именно точное знание желаний и целей этой касты помогло мне больше, чем все остальное, увидеть, как легкомысленно она размахивает факелом войны. И в интересах всех живых я обязан сделать все,

на что способен, чтобы эта порода лишилась какой бы то ни было власти".

Мы еще долго говорили, и, разумеется, не только о таких серьезных вещах. Цент интересовался подробностями моей жизни в Южной Америке, особенно причинами моего возвращения оттуда.

Прощаясь, Руди сказал:

"Скоро я к тебе снова приеду. Из чистого любопытства. Мне очень интересно, что с тобой будет дальше".

Однако встретиться с ним мне пришлось только через семь долгих лет, в начале сентября 1962 года. В эти дни я находился в Лейпциге, куда приехал по случаю традиционной осенней ярмарки. И вот в отеле "Астория" я неожиданно столкнулся с моим заметно постаревшим и располневшим приятелем Руди Центом. Весь его облик, манера держаться и говорить сразу выдавали в нем богатого бизнесмена, уже ставшего рабом своих денег.

"Я только второй раз у вас в Лейпциге, — сказал он мне. — Торговля с Востоком нужна нам как воздух, а Лейпциг — это ворота, через которые открываются широчайшие перспективы на будущее".

При этом он по старой привычке потирал руки и улыбался. Я понял, что он абсолютно удовлетворен заключенными здесь сделками. Расставаясь со мной в холле отеля, он дружески похлопал меня по плечу и заметил: "В общем, дорогой старик, что бы там ни говорить, а поступил ты очень правильно, очень здорово! И сидишь ты на верном коньке. Солнце действительно всходит на Востоке!" И, почему-то перейдя на шепот, склонившись ко мне, добавил: "Мы, англичане... уже усвоили это!"

... Небольшой отель "Нева", откуда до границы сектора было не больше четырехсот метров, привлекал многих иностранцев, приезжавших в столицу ГДР. В ресторане часто можно было увидеть завсегдатаев из Западного Берлина.

Как-то я познакомился с одной голландской супружеской парой, которая в свою очередь представила мне какого-то "бывшего автогонщика". Должен сказать, что моя горестная эпопея в Западной Германии научила меня быть постоянно начеку, видеть и слышать все, не привлекая к себе внимания. Я сразу же заметил, что представленный мне господин, говоривший на ломаном немецком языке и, между прочим, никогда не встречавшийся мне на гонках, очень подробно осведомлен о прошлом и настоящем международного автоспорта. Из его слов явствовало — и это особенно удивило меня, — что он лично знал многих знаменитых асов-водителей. С особенным удовольствием

он говорил о прошлом, расписывая его в самых радужных тонах. Вскоре за нашим столиком царила непринужденная и приятная атмосфера. Было уже довольно поздно, когда он вдруг предложил поехать в какой-нибудь другой бар, вначале не намекая, что имеет в виду Западный Берлин. Но потом он заявил: "Знаете что, такого избалованного знатока, как вы, можно удовлетворить только на Курфюрстендамм! После каждой новой рюмки водки он становился все более настойчивым. А когда этот человек предложил спрятать меня в машине при переезде в западный сектор, я понял, что он отлично осведомлен обо всем. Тут в разговор весьма деликатно включились супруги, намекнув, что при пограничном контроле их голландские паспорта гарантируют и мне полную неприкосновенность.

Сперва полуавантюрный характер такого маленького приключения показался мне заманчивым. Однако я уже не был настолько легкомыслен, чтобы пойти па глупость, и решил отказаться от этой "веселой эскапады". Убедившись в моем непреклонном нежелании ехать, мои соседи по столику не могли скрыть своего огромного разочарования. Впрочем, они сдались не сразу и еще несколько раз, приводя все новые и новые аргументы, пытались все-таки уговорить меня "заскочить" в Западный Берлин. Но все их усилия оказались напрасными!

Однажды, пообедав в полном одиночестве, я потягивал мокко. Вдруг к моему столику, одетый в штатское, подошел Джеймс Льюин. Он приветствовал меня с такой душевностью, точно в последний раз мы расстались с ним как закадычные друзья. Усевшись около меня, он сказал: "Уже несколько раз я безуспешно пытался связаться с тобой. Наконец в Кемпфенхаузене твоя милая жена подсказала мне, где тебя можно отыскать в твоем "восточном изгнании". Наш брат журналист должен быть вдобавок ко всему еще и хорошей ищейкой!"

"Значит, ты был у Гизелы! Представляю, как она обрадовалась тебе. А как она?"

"Видишь ли, — нетвердо проговорил он, — твоя Гизела не в лучшей форме. По ее просьбе я должен серьезно потолковать с тобой".

"Уж не собираешься ли ты взять у меня интервью для мюнхенской "Зюддойче цайтунг?" — не без иронии спросил я.

"Не ехидничай. Я привез тебе привет от твоей прежней родины, которую ты, надеюсь, не забыл".

Затем он предложил перейти ко мне и поговорить в спокойной обстановке.

"Разумеется", — сказал я и встал.

Войдя в мой номер, он по обыкновению очень внимательно

осмотрелся, потом присел.

"Пыльная роскошь! — резюмировал он. — Довольно старомодно, и долго этого, по-моему, выдержать нельзя! — И, покачав головой, неожиданно громко добавил: — Вот и расхлебывай кашу, которую сам заварил! Не я ли тебе говорил, что не к добру все это донкихотство. Торчишь здесь один, без жены. Разве это жизнь? А Гизела и не думает покинуть ваш дом и ехать за тобой сюда. Это факт, с которым ты не можешь не считаться. Что же будет с тобой дальше?"

"Разве ты не знаешь, что Бонн готовит амнистию для политзаключенных? — сказал я. — Она, безусловно, распространится и на меня, и тогда ничто не помешает мне вернуться".

Джеймс всплеснул руками и воскликнул:

"Абсолютное заблуждение! Что-то в этом роде действительно намечается, но ты тут ни при чем. В настоящий момент амнистия для политических выглядела бы довольно странно... Но пойми — с тобой говорит друг. Судьба дает мне случай отплатить тебе добром за добро. В свое время ты протянул мне спасительную руку, сегодня я протягиваю тебе обе руки и прошу — схватись за них!"

Мне стало любопытно, и, приготовясь слушать, я откинулся па спинку кресла.

"Дело в следующем, — начал он. — Твой идеалистический порыв занес тебя слишком далеко, и ты потерпел крах. Теперь тебе предоставляется возможность вернуться к жене. Вероятно, живя в восточной зоне, ты уже понял, что, несмотря на все твое пристрастие к этому рабочему государству, счастлив ты в нем не будешь. И для того, чтобы подготовить твердую почву для твоего возвращения назад, чтобы обеспечить тебя в финансовом отношении; нам нужно получить от тебя письменное заявление о том, что твое бегство на Восток было ошибкой. Мы вовсе не настаиваем, чтобы в этом документе ты охаивал коммунистов. Просто намекни, что, мол, все оказалось совсем иным, чем ты думал... А вернешься домой, я помогу тебе в чисто журналистском смысле, то есть пристрою твоя мемуары в немецкие и иностранные газеты и журналы. Короче, будешь обеспечен надолго. Если ты вручишь мне такое краткое заявление, а я передам его в свою инстанцию, то в Западной Германии можешь рассчитывать на полный иммунитет: никто не осмелится тронуть тебя. К тому же знай — за твою историю издатели заплатят несколько десятков тысяч долларов!"

Я остолбенел! Мой старый друг, играя на моей разлуке с женой, вздумал распродать меня в розницу и склонить меня к

подленькому предательству моих убеждений. У меня пересохло во рту, и я залпом выпил большую рюмку. Глубоко вдохнув, я сказал:

"Большое спасибо за заботу. Ты, видимо, говорил и от имени Гизелы. Но весь этот расчет ошибочен. Ты или вы оба просчитались. Отказываясь покинуть Кемпфенхаузен и приехать ко мне, Гизела не заставит меня повернуть обратно. Равным образом не соблазнят меня и предлагаемые тобою доллары. Жизнь в Западной Германии потеряла для меня всякий смысл. Да и что мне там делать? Снова пойти к промышленникам и помогать им производить оружие? Пассивно наблюдать за возрождением нашего кровавого прошлого? Неужели вы хотите, чтобы, насилуя таким образом свою совесть, я постепенно перестал быть человеком? Если Гизела не приедет сюда, значит, мне придется с этим примириться. Но тогда пусть и она обходится без моей помощи. И пусть не забывает, что живет в стране, где ей нельзя рассчитывать на снисхождение... Так что, дорогой мой, общего языка нам с тобой не найти. Передо мной определенная цель, определенная задача, и я верю — ты слышишь, я твердо верю, — что наконец понял, ради чего стоит жить".

Я немного помолчал, и вдруг что-то вскипело во мне: "И ты утверждаешь, что пришел ко мне как друг? Хорош друг, нечего сказать! Я, конечно, не жалею, что в свое время защитил тебя от охотников за людьми, которые нашили бы тебе на рукав желтую звезду, а потом бросили в концлагерь и сожгли в газовой печи. Но я желаю тебе вновь повстречаться с ними в серьезный час и чтобы в этот час ты понял, как глупо и опасно ради временных жизненных удобств действовать заодно с этими убийцами. И когда у тебя от страха похолодеет душа, вспомни меня, вспомни автогонщика Манфреда фон Браухича, который заблаговременно предупредил тебя! И давай кончим разговор, нам больше нечего сказать друг другу".

С этим я встал, чтобы проститься.

"И все-таки, несмотря ни на что, желаю тебе только добра!" — добавил я.

Пожав плечами, американец вышел из комнаты.

Мне не могло прийти в голову, что он нарочно солгал моей жене, будто ничто не препятствует моему возвращению на Запад, поскольку, мол, ожидавшаяся амнистия распространится и на меня.

После встречи со мной Льюин передал ей через третье лицо, что Западная Германия больше меня не интересует.

Видимо, это и доконало ее. Лишенная всякой опоры и

поддержки, Гизела потеряла почву под ногами. Вечером 1 сентября 1957 года, приняв непомерно большую дозу яда, она скончалась.

Ее смерть оказалась для меня невыразимо тяжелым ударом.

С тех пор прошло много лет, полных важных событий.

В Германской Демократической Республике я нашел добрую и ласковую Родину, а трагическая смерть Гизелы окончательно отбила у меня охоту поддерживать какие бы то ни было связи с Западной Германией. Поэтому я решил продать свой дом и участок в Штарнберг — Кемпфенхаузене, а не сдавать его в аренду. Этим я хотел подвести окончательную черту под всей моей прежней жизнью...

Моя новая Родина неузнаваемо преобразилась с того января 1951 года, когда я впервые посетил ее. Германская Демократическая Республика заняла шестое место в ряду ведущих промышленных стран Европы.

Во всех областях человеческой деятельности она обрела свой собственный облик, а "правила игры" в социалистическом обществе существенно отличаются от обычаев капиталистической боннской республики. Наше рабоче-крестьянское государство, возведшее политику мира на уровень государственной доктрины, открывает перед каждым гражданином такие многосторонние перспективы, что развитие его способностей всецело обеспечено, была бы личная инициатива. В этом государстве напряженно учатся все — от мала до велика. Каждому дана возможность трудиться на благо своей страны, а тем самым и для своего блага, своего будущего, своей безопасности. В центре общего внимания — человек, чье отношение к труду в условиях всеобъемлющего строительства социализма полностью изменилось. Оно совсем не то, что прежде. Нет счастья без труда, а объединяющее нас чувство общности — неисчерпаемый источник силы и энергии.

Из месяца в месяц, из года в год я все прочнее срастался с этой новью, все глубже проникался радостным чувством ответственности, чувством любви к нашей жизни, посвященной строительству социализма. В Германской Демократической Республике все так чудесно и молодо, проникнуто таким здоровым, мужественным и боевым духом! С каждым днем это понимают все больше людей. И они не сомневаются: игра стоит свеч!

Я снова женился, встретив милую и близкую мне по духу женщину, тоже покинувшую Западную Германию.

Как бывший гонщик, я, естественно, интересовался развитием социалистического автомотоспорта. В 1957 году при основании Всеобщего германского союза мотоспорта я был избран его

спортивным президентом.

В 1960 году меня избрали президентом Олимпийского общества Германской Демократической Республики, чья задача — распространять и углублять гуманистические идеи олимпийского движения, развивать дружеские связи между спортсменами всех стран, способствовать укреплению мира и взаимопонимания между народами. Не менее важно наше стремление активно помогать финансированию участия спортсменов ГДР в Олимпийских играх. Работа Олимпийского общества проходит под девизом: "Служить миру, уважать жизнь!"

Гонорар за мою книгу "Борьба за метры и секунды", которая разошлась тиражом в четверть миллиона экземпляров, позволил мне построить себе собственный дом, в котором я часто приветствую гостей со всех концов света. Ежедневно почтальон приносит мне множество писем. Их отправители — производственные бригадиры, коллективные письма от рабочих фабрик, сельскохозяйственных кооперативов и экипажей судов нашего торгового флота. Меня приглашают выступать на форумах, на праздниках совершеннолетия, на различных дискуссиях. В последние годы я встречался с тысячами граждан нашего государства, подолгу беседовал с ними, рассказывал им о своей жизни гонщика, особенно о годах преследований, которым я подвергался в Западной Германии. Всегда меня спрашивали, почему я переехал из Баварии в Германскую Демократическую Республику. И всякий раз на этот вопрос я давал один и тот же, единственно правильный ответ: чтобы продолжать борьбу за мир.

Часто мне советовали написать заметки о своей жизни. Я сомневался, стоит ли писать о ней. После долгих колебаний я все же пришел к выводу, что многое из моего личного опыта, из всего, что я пережил и осмыслил, быть может, послужит лучшему пониманию нашей эпохи. Поэтому в один прекрасный день я сел за письменный стол, начал рыться в старых газетах, перечитывать свои записи, вспоминать, и так, штрих за штрихом, нарисовал картину своей жизни.

Подводя итоги прожитого и пережитого, я заявляю: западногерманские милитаристы воплощают в себе огромную угрозу для нашего народа, куда более страшную, чем чума в худшие периоды средневековья. А ведь эта моровая язва унесла в могилу миллионы.

Последняя война уничтожила двадцать миллионов человек, и еще сегодня во многих немецких квартирах висят фотографии ее жертв. Нельзя предать забвению это роковое время. И с какой же стати должны мы попустительствовать преступникам, предать забвению прошлое и ради каких-то сомнительных поблажек

поставить на карту наше будущее, нашу жизнь? Расплата может оказаться чересчур дорогой.

Я счастлив, что живу в государстве, которое изо дня в день ведет священную борьбу за мир, и никогда не устану участвовать в ней. Врагов немецкого народа я знаю в лицо, знаю, что любой час ослабления этой борьбы — это проигранный час. Жизнь слишком прекрасна и драгоценна, чтобы отдать ее ни за что ни про что!

1 AVUS ("Automobilverkehr und Sport", "Автотранспорт и спорт")- название гоночного автотрека под Берлином.

2 Ганс Альберс - известный немецкий театральный и киноактер.

3 Чарльз Линдберг - американский летчик, перелетевший через Атлантику в 1927 году. Профашистские настроения Линдберга в решающей степени способствовали затуханию его популярности.

4 Звание курсанта военной школы в кайзеровской Германии.

5 Маттиас Эрцбергер (1875-1921) -германский политический Деятель, один из лидеров партии католического центра, в 1918 го-ду в качестве министра без портфеля вел с союзниками переговоры о перемирии, а после крушения империи подписал договор о перемирии от имени Германской республики.

6 Цвета кайзеровского флага.

7 "Черный рейхсвер" - тайные подразделения германской армии, рейхсвера, в которых особенно интенсивно готовились офицерские кадры для развертывания массовой армии, что и было использовано Гитлером.

8 Выпускник кадетского корпуса, кандидат в офицеры.

9 Фридрих II (1712-1786) - прусский король. Созданная при нем армия была основана на муштре и палочной дисциплине.

10 Бобслей - четырехместные гоночные санки с рулем.

11 Разновидность гармоники.

12 От немецкого "Ohr" - "ухо" и латинского "Pax" - "мир", буквально - "мир ушам".

13 Итальянская разновидность пельменей.

14 Эйфель - северо-западная часть Рейнских Сланцевых гор, высота 400-600 м.

15 ССК - "супер-спорт-компрессор", мощная гоночная модель фирмы "Мерседес".

16 Трехлучевая звезда - эмблема фирмы "Мерседес".

17 Название немецко-фашистских военно-воздушных сил.

18 Вассалами.

19 "Сила через радость" ("Крафт дурх фройде") - фашистская организация, созданная нацистскими главарями якобы с целью

приобщения народа к радостям жизни. Осуществляла туризм и другие мероприятия, которыми пользовалась верхушка огосударствленных профсоюзов и другие прихлебатели фашистского режима.

20 О Господи! Мамочка! (итал.)

21 Самая высокая двуглавая вершина Австрийских Альп (3798 м).

22 Двухместный полуспортивный автомобиль.

23 Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании, ярый враг СССР, сыгравший зловещую роль в политике поощрения гитлеровского фашизма, один из главных вдохновителей политики "умиротворения", которая способствовала развязыванию второй мировой войны.

24 Мюнхенское соглашение - сговор Невилла Чемберлена и французского премьер-министра Даладье с фашистскими диктаторами - Гитлером и Муссолини. Подписано 29-30 сентября 1938 года, привело к расчленению Чехословакии, способствовало развязыванию второй мировой войны.

25 Названия национальных флагов Англии и Франции.

26 В ночь с 8 на 9 ноября 1938 года по приказу гитлеровского правительства по всей Германии прошли еврейские погромы - так называемая "хрустальная ночь" ("кристалнахт"). Были сожжены почти все синагоги, еврейские магазины и лавки опустошены и разрушены, еврейские кварталы разграблены, евреев избивали и тысячами увозили в тюрьмы и концентрационные лагеря.

27 Веймарская конституция, принятая учредительным собранием, заседавшим в Веймаре 31 июля 1919 года. Действовала до захвата Гитлером власти.

28 Польский коридор - узкая полоса польской территории между нижним течением Вислы и бывшей прусской провинцией Померания. Был создан Антантой по Версальскому договору. Типичное порождение империалистической политики с целью поддержания очагов напряженности между государствами.

29 Запас военнообязанных второй очереди.

30 Морген - старинная немецкая земельная мера, 0, 25.

31 Умерщвление людей при помощи медикаментов. Гитлеровцы преступно злоупотребляли эвтаназией, производя опыты над людьми.

32 Цвета кайзеровского флага.

33 Пампа - название многих равнинных областей Южной Америки, главным образом Аргентины, с субтропическим климатом.

34 Терпение (исп.).

35 Автор имеет в виду безобразные традиции прусских

студенческих корпораций: попойки, драки, дуэли и т. д.

36 Гуго Экенер (1868-1954) - известный немецкий воздухоплаватель, специалист по дирижаблям. В 1931 г. совершил полет в Арктику в сотрудничестве с экипажем советского ледокола "Малыгин".

37 Командующий ВВС Италии при Муссолини.

38 CIC - Counter Intelligence Corps - служба контрразведки США.

39 "Ами" - американец.

40 Крипо - криминальная полиция, то есть уголовный розыск.

41 Распространенное название автофургона для перевозки заключенных.

42 Мемориальное сооружение на Одеонсплатц в Мюнхене.